

ЧЕТВЕРТОЕ

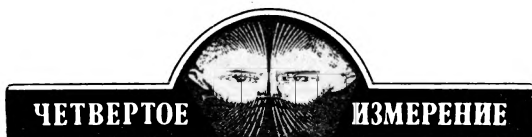


ИЗМЕРЕНИЕ

Александр  
ГРИН

# НОЧЬЮ И ДНЕМ





ЧЕТВЕРТОЕ

ИЗМЕРЕНИЕ

Александр  
ГРИН

---

# НОЧЬЮ И ДНЕМ



МОСКВА

«ТЕРРА» — «TERRA»

1994

ББК 84 Р7  
Г 82

Редактор-составитель  
*М. Латышев*

Художник  
*В. Гусейнов*

Серия издается при участии  
журнала фантастики «Четвертое измерение»

Г 4702010000-007 Без объявл.  
А30(03)-94

ISBN 5-85255-347-6

© Издательский центр «ТЕРРА», 1994

## СОСТЯЗАНИЕ В ЛИССЕ

### I

Небо потемнело, авиаторы, окончив осмотр машин, на которых должны были добиваться приза, сошлись в маленьком ресторане "Бель-Ами".

Кроме авиаторов, была в ресторане и другая публика, но так как вино само по себе есть не что иное, как прекрасный полет на месте, то особенного любопытства присутствие знаменитостей воздуха не возбуждало ни в ком, за исключением одного человека, сидевшего одиноко в стороне, но не так далеко от стола авиаторов, чтобы он не мог слышать их разговора. Казалось, он прислушивается к нему вполоборота, немного наклонив голову к блестящей компании.

Его наружность необходимо должна быть описана. В потертом, легком пальто, мягкой шляпе, с белым шарфом вокруг шеи, он имел вид незначительного корреспондента, каких много бывает в местах всяких публичных соревнований. Клок темных волос, падая из-под шляпы, темнил до переносья



высокий, сильно развитый лоб; черные длинного разреза глаза имели ту особенность выражения, что, казалось, смотрели всегда вдаль, хотя бы предмет зрения был не дальше двух футов. Прямой нос опирался на небольшие темные усы; рот был как бы сведен судорогой, так плотно сжимались губы. Вертикальная складка раздваивала острый подбородок от середины рта до предела лицевого очерка, так что прядь волос, нос и эта замечательная черта вместе походили на продольный разрез физиономии. Этому — что было уже странно — соответствовало различие профилей: левый профиль являлся в мягком, почти женственном выражении, правый — сосредоточенно хмурым.

За круглым столом сидело десять пилотов, среди которых нас интересует, собственно, только один, некто Картреф, самый отважный и наглый из всей компании. Лакейская физиономия, бледный, нездоровый цвет кожи, заносчивый тон голоса, прическа хулигана, взгляд упорно-ничтожный, пестрый костюм приказчика, пальцы в перстнях и удручающий, развратный запах помады составляли Картрефа.

Он был пьян, говорил громко, оглядывался вызывающе с ревниво-независимым видом и, так сказать, играл роль, играл самого себя в картинном противополжении будням. Он хвастался машиной, опытностью,

храбростью и удачливостью. Полет, разобранный по частям жалким мозгом этого человека, казался кучей хлама из бензиновых бидонов, проволоки, железа и дерева, болтающегося в пространстве. Обученный движению рычагами и нажиманию кнопок, почтенный ремесленник воздуха ликовал по множеству различных причин, в числе которых не последней было тщеславие калеки, получившего костыли.

— Все полетят, рано или поздно! — кричал Картреф. — А тогда вспомнят нас и поставят нам памятник! Тебе и... мне... и тебе! Поэтому, что мы пионеры!

— А я видел одного человека, который заплакал! — вскричал тщедушный пилот Кальо. — Я видел его. — И он вытер слезы платком. — Как сейчас помню. Подъехал с женой человек этот к аэродрому, увидел сверху Райта и стал развязывать галстук. "Ах, что?" — сказала ему жена или дама, что с ним сидела. "Ах, мне душно! — сказал он. — Волнение в горле... — и прослезился. — Смотри, — говорит, — Мари, на величие человека. Он победил воздух!" Фонтан.

Все приосанились. Общая самодовольная улыбка потонула в пиве и усах. Помолчав, пилоты чокнулись, значительно моргнули бровями, выпили и еще выпили. Образованный авиатор, Альфонс Жиго, студент политехникума, внушительно заявил:

— Победа разума над мертвой материей, инертной и враждебной цивилизации, идет гигантскими шагами вперед.

Затем стали обсуждать призы и шансы. Присутствующие не говорили ни о себе, ни о других присутствующих, но где-то, в тени слов, произносимых хмелеющим языком, заметно таился сам говорящий, с пальцем, указывающим на себя. Один Картреф, насупившись, сказал наконец за всех это же самое.

— Побью рекорд высоты — я! — заголосил он, нетвердо махая бутылкой над неполным стаканом. — Я — есть я! Кто я? Картреф. Я ничего не боюсь.

Такое заявление мгновенно вызвало тихую ненависть. Кое-кто хмыкнул, кое-кто преувеличенно громко и радостно выразил отсутствие малейших сомнений в том, что Картреф говорит правду; некоторые внимательно, ласково посматривали на хвастуна, как бы приглашая его не стесняться и говоря: "Спасибо на добром слове". Вдруг невидимый нож рассек призрачную близость этих людей, они стали врагами: далекая севера вражды — смерть подошла близко к столу, и каждый увидел ее в образе стрекозообразной машины, порхающей из облаков вниз для быстрого неудовлетворительного удара о пыльное поле.

Наступило молчание. Оно длилось недолго, его отравленное острие прочно засело

в душах. Настроение испортилось. Продолжался некоторое время кислый перебой голосов, твердивших различное, но без всякого воодушевления. Собутыльники вновь умолкли.

Тогда неизвестный, сидевший за столом, неожиданно и громко сказал:

— Так вы летаете!

## II

Это прозвучало, как апельсин в суп. Треснул стул, так резко повернулся Картреф. За ним и другие, сообразив, из какого угла грянул насмешливый возглас, обернулись и уставились на неизвестного глазами, полными раздраженной бессмыслицы.

— Что-с? — крикнул Картреф. Он сидел так: голова на руке, локоть на столе, корпус по кривой линии и ноги на отлет, в сторону. В позе было много презрения, но оно не действовало. — Что такое там, незнакомый? Что вы хотите сказать?

— Ничего особенного, — задумчиво ответил неизвестный. — Я слышал ваш разговор, и он произвел на меня гнусное впечатление. Получив это впечатление, я постарался закрепить его теми тремя словами, которые, если не ошибаюсь, встревожили ваше профессиональное самолюбие. Успокойтесь. Мое

мнение не принесет вам ни вреда, ни пользы, так как между вами и мной ничего нет общего.

Тогда, уразумев не смысл сказанного, а неотразимо презрительный тон короткой речи неизвестного человека, все авиаторы закричали:

— Черт вас побери, милостивый государь!

— Какое вам дело до того, что мы говорили между собой?

— Ваше оскорбительное замечание...

— Прощу нас оставить, вон!

— Прочь!

— Долой болтуна!

— Негодяй!

Неизвестный встал, поправил шарф и, опустив руки в карманы пальто, подошел к столу авиаторов. Зала насторожилась, глаза публики были устремлены на него; он чувствовал это, но не смутился.

— Я хочу, — заговорил неизвестный, — очень хочу хотя немного приблизить вас к полету в истинном смысле этого слова. Как хочется лететь? Как надо летать? Попробуем вызвать непережитое ощущение. Вы, допустим, грустите в толпе, на людной площади. День ясен. Небо вздыхает с вами, и вы хотите полететь, чтобы наконец засмеяться. Тот смех, о котором я говорю, близок нежному аромату и беззвучен, как страстно беззвучна душа.

Тогда человек делает то, что задумал: слегка топнув ногой, он устремляется вверх и плывет в таинственной вышине то тихо, то быстро, как хочет, то останавливается на месте, чтобы рассмотреть внизу город, еще большой, но уже видимый в целом, — более план, чем город, и более рисунок, чем план; горизонт поднялся чашей; он все время на высоте глаз. В летящем все сдвинуто, потеряно, вихрь в теле, звон в сердце, но это не страх, не восторг, а новая чистота — нет тяжести и точек опоры. Нет страха и утомления, сердцебиение похоже на то, каким сопровождается сладостный поцелуй.

Это купание без воды, плавание без усилий, шуточное падение с высоты тысяч метров, а затем остановка над шпилем собора, недостижимо тянущемся к вам из недр земли, — в то время как ветер струнит в ушах, а даль огромна, как океан, вставший стеной, — эти ощущения подобны гениальному оркестру, озаряющему душу ясным волнением. Вы повернулись к земле спиной; небо легло внизу, под вами, и вы падаете к нему, замирая от чистоты, счастья и прозрачности увлекающего пространства. Но никогда не упадете на облака, они станут туманом.

Снова обернитесь к земле. Она без усилия отталкивает, взмывает вас все выше и выше. С высоты этой ваш путь свободен ночью и

днем. Вы можете полететь в Австралию или Китай, опускаясь для отдыха и еды где хотите.

Хорошо лететь в сумерках над грустящим пахучим лугом, не касаясь травы, лететь тихо, как ход шагом, к недалекому лесу; над его черной громадой лежит красная половина уходящего солнца. Поднявшись выше, вы увидите весь солнечный круг, а в лесу гаснет алая ткань последних лучей.

Между тем тщательно охраняемое под крышей непрочное, безобразное сооружение, насквозь пропитанное потными испарениями мозга, сочинившими его подозрительную конструкцию, выкатывается рабочими на траву. Его крылья мертвы. Это — материя, распятая в воздухе; на нее садится человек с мыслями о бензине, треске винта, прочности гаек и проволоки и, еще не взлетев, думает, что упал. Перед ним целая кухня, в которой, на уже упомянутом бензине, готовится жаркое из пространства и неба. На глазах очки, на ушах — клапаны; в руках железные палки и — вот — в клетке из проволоки, с холщовой крышей над головой, подымается с разбега в пятнадцать сажен птичка божия, ошупывая бока.

О чем же думает славное порхающее создание, держащееся на воздухе в силу не иных причин, чем те, благодаря которым брошенный камень описывает дугу? Отрицание по-

лета скрыто уже в самой скорости, — бешеной скорости движения; лететь тихо, значит упасть.

Да, так о чем думает? О деньгах, о том, что разобьется и сгинет. И множество всякой дряни вертится в его голове, — технических папильоток, за которыми не видно прически. Где сесть, где опуститься? Ах, страшно улетать далеко от удобной площадки. Невозможно опуститься на крышу, телеграфную проволоку или вершину скалы. Летящего тянет назад, летящий спускается — спускается на землю с виноватым лицом, потому что остался жив, меж тем зрители уходят разочарованные, мечтая о катастрофе.

Поэтому вы не летали и летать никогда не будете. Знамение вороны, лениво пересекающей, махая крыльями, ваш судорожный бензиновый путь в синей стране, должно быть отчеканено на медалях и роздано вам на добрую память.

— Не хотите ли рюмочку коньяку? — сказал буфетчик, расположившийся к неизвестному. — Вот она, я налил.

Незнакомец, поблагодарив, выпил коньяк.

Его слова опередили туго закипавшую злобу летчиков. Наконец, некоторые ударили по столу кулаками, некоторые вскочили, опрокинув бутылки. Картреф, грозно согнувшись, комкая салфетки и пугая глазами, подступил к неизвестному.



— Долго вы будете еще мешать нам? — кричал он. — Дурацкая публика, критики, черт вас возьми! А вы летали? Знаете ли вы хоть одну систему? Умеете сделать короткий спуск? Смыслите что-нибудь в авиации? Нет? Так пошел к черту и не мешай!

Незнакомец, улыбаясь, рассматривал взбешенное лицо Картрефа, затем взглянул на свои часы.

— Да, мне пора, — сказал он спокойно, как дома. — Прощайте, или, вернее, до свидания; завтра я навещу вас, Картреф.

Он расплатился и вышел. Когда за ним хлопнула дверь, с гулкой лестницы не донеслось шума шагов, и летчику показалось, что нахал встал за дверью подслушивать. Он распахнул ее, но никого не увидел и вернулся к столу.

### III

”Воздух хорош”, — подумал Картреф на другой день, когда, описав круг над аэродромом, рассмотрел внизу солнечную пестроту трибун, полных зрителей. Его соперники гудели слева и справа; почти одновременно поднялось семь аэропланов. Смотря по тому, какое положение принимали они в воздухе, очерк их напоминал ящик, конверт или распущенный зонтик. Казалось,

что все они направляются в одну сторону, между тем летели в другую. Моторы гудели, вдали — как толстые струны или поющие волчки, вблизи — треском парусины, разрываемой над ухом. Стоял шум, как на фабрике. Внизу, у гаражей, двигались по зелени травы фигурки, словно вырезанные из белой бумаги; то выводили другие аэропланы. Играл духовой оркестр.

Картреф поднялся на высоту тысячи метров. Сильный ветер трепал его по лицу, бурное дыхание болезненно напрягало грудь, в ушах шумело. Земной пейзаж казался отсюда качающейся круглой площадью, усеянной пятнами и линиями; аэроплан как бы стоял на месте, в то время, как пространство и воздух неслись мимо, навстречу. Облака были так же далеки, как и с земли.

Вдруг он увидел фигуру, относительно которой не мог ни думать ничего, ни сообщать, ни рассмеяться, ни ужаснуться — так не было в а л о, вне всего земного, понятного и возможного воспрянула она слева, как бы мгновенно сотворенная воздухом. Это был неизвестный человек, вызвавший вчера вечером гнев пилота. Он несся в позе лежащего на боку, подперев рукой голову; новое, прекрасное и жуткое лицо увидел Картреф. Оно блестяло, иначе нельзя назвать гармонию странного воодушевления, плывшего в чертах этого человека. Напряженное

сияние глаз напоминало глаза птиц во время полета. Он был без шляпы, в обычном, средней руки костюме; его галстук, выбившись из-под жилета, бился о пуговицы. Но Картреф не видел его одежды. Так, встретив женщину, сразу поражающую огнем своей красоты, мы замечаем ее платье, но не видим его.

Картреф ничего не понял. Его душа, пораженная чувством, которое мы не можем представить, метнулась прочь; он повиновался ей, круто нажав руль, чтобы свернуть в сторону. Неизвестный, описав полукруг, мчался опять рядом. Мысль, что это галлюцинация, слабо шевельнулась у Картрефа; желая оживить ее, он закричал:

— Не надо. Не хочу. Бред.

— Нет, не бред, — сказал неизвестный. Он тоже кричал, но его слова были спокойны. — Восемь лет назад я посмотрел вверх и поверил, что могу летать, как хочу. С тех пор меня двигает в воздухе простое желание. Я подолгу оставался среди облаков и видел, как формируются капли дождя. Я знаю тайну образования шаровидной молнии. Художественный узор снежинок складывался на моих глазах из вздрагивающей сырости. Я опускался в пропасти, полные гниющих костей и золота, брошенного несчастьем с узких проходов. Я знаю все неизвестные острова и земли, я ем и сплю в воздухе, как в комнате.

Картреф молчал. В его груди росла тяжелая судорога. Воздух душил его. Незнакомый изменил положение. Он выпрямился и встал над Картрефом, немного впереди летчика, лицом к нему. Его волосы сбились по прямой линии впереди лица.

Ужас — то есть полная смерть сознания в живом теле — овладел Картрефом. Он нажал руль глубины, желая спуститься, но сделал это бессознательно, в направлении, противоположном желанию, и понял, что погибает. Аэроплан круто взлетел вверх. Затем последовал ряд неверных усилий, и машина, утратив воздушный рельс, раскачиваясь и перевертываясь, как брошенная игральная карта, понеслась вниз.

Картреф видел то небо, то всплывающую из глубины землю. То под ним, то сверху распластывались крылья падающего аэроплана. Сердце летчика задрожало, спутало удары и окаменело в невыносимой боли. Но несколько мгновений он слышал еще музыку, ставшую теперь ясной, словно она пела в ушах. Веселый перелив флейты, стон барабана, медный крик труб и несколько отдельных слов, кем-то сказанных на земле тоном взволнованного замечания, были последним восприятием летчика. Машина рванула землю и впилась в пыль грудой дымного хлама.

Неизвестный, перелетев залив, опустился в лесу и, не торопясь, отправился в город.

## РАССКАЗ 'БИРКА

Вначале разговор носил общий характер, а затем перешел на личность одного из присутствующих. Это был человек небольшого роста, крепкий и жилистый, с круглым бритым лицом и тонким голосом. Он сидел у стола в кресле. Красный абажур лампы бросал свет на всю его фигуру, за исключением головы, и от тени лицо этого человека казалось смуглым, хотя в действительности он был всегда бледен.

— Неужели, — сказал хозяин, глотая кофе из прозрачной фарфоровой чашечки, — неужели вы отрицаете жизнь? Вы самый удивительный человек, какого я когда-либо встречал. Надеюсь, вы не считаете нас призраками?

Маленький человек улыбнулся и охватил руками колени, легонько покачиваясь.

— Нет, — возразил он, принимая прежнее положение, — я говорил только о том, что все мои пять чувств причиняют мне постоянную, теперь уже привычную боль. И было такое время, когда я перенес сложную психологическую операцию. Мой хирург (если продолжать сравнения) остался мне неиз-

вестным. Но он пришел, во всяком случае, не из жизни.

— Но и не с того света? — вскричал журналист. — Позвольте вам сообщить, что я не верю в духов, и не трогайте наших милейших (потому что они уже умерли) родственников. Если же вам действительно повезло и вы удостоились интервью с дедушкой, тогда лучше покривите душой и соворите что-нибудь новенькое: у меня нет темы для фельетона.

Бирк (так звали маленького человека) медленно обвел общество серыми выпуклыми глазами. Напряженное ожидание, по-видимому, забавляло его. Он сказал:

— Я мог бы и не рассказывать ввиду почти полной безнадежности заслужить доверие слушателей. Я сам, если бы кто-нибудь рассказал мне то, что расскажу я, счел бы себя вправе усомниться. Но все же я хочу попытаться внушить вам к моему рассказу маленькое доверие; внушить не фактически, а логическими, косвенными доказательствами. Все знают, что я — человек, абсолютно лишенный так называемого "воображения", то есть способности интеллекта переживать и представлять мыслимое не абстрактными понятиями, а образами. Следовательно, я не мог бы, например, правдоподобно рассказать о кораблекрушении, не быв свидетелем этой катастрофы. Далее, каждый рас-

сказ убедителен лишь при наличии мелких фактов, подробностей, иногда неожиданных и редких, иногда простых, но всегда производящих впечатление большее, чем голый остов события. В газетном сообщении об убийстве мы можем прочесть так: "Сегодня утром неизвестным преступником убит господин N". Подобное сообщение может быть ложным и достоверным в одинаковой степени. Но заметка, ко всему остальному гласящая следующее: "Кровать сдвинута, у бюро испорчен замок", не только убеждает нас в действительности убийства, но и дает некоторый материал для картинного представления о самом факте. Надеюсь, вы понимаете, что я хочу этим сказать следующее: подробности убедят вас сильнее вашего доверия к моей личности.

Бирк остановился. Одна из дам воспользовалась этим, чтобы вернуть следующее замечание:

— Только не страшное!

— Страхное? — спросил Бирк, снисходительно улыбаясь, как будто бы говорил с ребенком. — Нет, это не страшное. Это то, что живет в душе многих людей. Я готов развернуть перед вами душу, и если вы поверите ей, — самый факт необычайного, о котором я расскажу и который, по-видимому, более всего вас интересует, потеряет, быть может, в глазах ваших всякое обаяние.

Он сказал это с оттенком печальной серьезности и глубокого убеждения. Все молчали. И сразу самым сложным, таинственным аппаратом человеческих восприятий я почувствовал сильнейшее нервное напряжение Бирка. Это был момент, когда настроение одного передается другим.

— Еще в молодости, — заговорил Бирк, — я чувствовал сильное отвращение к однообразию, в чем бы оно ни проявлялось. Со временем это превратилось в настоящую болезнь, которая мало-помалу сделалась преобладающим содержанием моего "я" и убила во мне всякую привязанность к жизни. Если я не умер, то лишь потому, что тело мое еще было здорово, молодо и инстинктивно стремилось существовать наперекор духу, тщательно замкнувшемуся в себе.

Употребив слово "однообразие", я не хочу сказать этим, что я сознавал с самого начала причину своей меланхолии и стремления к одиночеству. Долгое время мое болезненное состояние выражалось в неопределенной и, по-видимому, беспричинной тоске, так как я не был калекой и свободно располагал деньгами. Я чувствовал глухую полусознательную враждебность ко всему, что воспринимается пятью чувствами. Всякий из вас, конечно, испытывал то особенное, противное, как кислое вино, настроение вялости и томительной пустоты мысли, когда



все окружающее совершенно теряет смысл. Я переживал то же самое, с той лишь разницей, что светлые промежутки становились все реже и, наконец, постепенно исчезли, уступив место холодной мертвой прострации, когда человек живет машинально, как автомат, без радостей и страданий, смеха и слез, любопытства и сожаления; живет вне времени и пространства, путает дни, доходит до анекдотической рассеянности и, в редких случаях, даже теряет память.

Случай показал мне, что я достиг этого состояния тупа. На площади, на моих глазах, днем, огромный фургон, нагруженный мебелью, переехал одно из безобидных существ, бегающих с картонками, разнося шляпы и платья. Подойдя к месту катастрофы (не из любопытства, а потому, что нужно было перейти площадь) тем же ровным ленивым шагом, каким все время я шел,— я машинально остановился, задержанный оравой разного уличного сброда, толпившегося вокруг бледного, как известка, погонщика. Девочка лежала у его ног, лицо ее, густо запачканное грязью, было раздавлено. Я видел только багровое пятно с выскочившими от боли глазами и светлые вьющиеся волосы. Сбоку валялась опрокинутая картонка — причина несчастья. Как говорили в толпе, фургон ехал рысью; малютка уронила свою ношу под самые ноги лошадей, хо-

тела схватить, но упала, и в то же мгновение пара подков превратила ее невыспавшееся личико в кровавую массу.

Толпа страшно шумела, выражая свое негодование; трое полицейских с трудом удерживали дюжих мещан, желавших немедленно расправиться с погонщиком. Я видел слезы на глазах женщин, слышал их всхлипывания и, постояв секунд пять, двинулся дальше.

Повторяю: я все это видел и слышал, но мои нервы остались совершенно покойны. Я не чувствовал этих людей, как живых, страдающих, потрясенных, рассерженных, я видел одни формы людей, колеблющихся, размахивающих руками; черты лиц, меняющие выражение; слышал то громкие, то тихие восклицания; шумные вздохи прибежавших издалека; но это были только звуки и линии, формы и краски, неспособные дать мне малейшее представление о чувствах, волновавших толпу. Я был спокоен; через двадцать шагов началась улица, я зашел в табачную лавку и купил запонки.

Вечером, механически перелистывая книгу истекшего дня, я заинтересовался своим отношением к жизни как раз по поводу вышеописанного происшествия. Быть может, вы замечали, что зрелище поденщика, раскалывающего дрова под вашим окном, вызывает в вас настолько ясные представления

о мускульных усилиях дровокола, что вы сами испытываете некоторое внутреннее напряжение всякий раз, когда топор взвивается над поленом. Ритм жизни, кипевший вокруг меня, можно было сравнить именно с движениями человека, занятого трудной работой; но я лишь гальванически отражал ее. Такое состояние духа, вероятно, никогда не доставило бы мне малейшей тревоги, если бы не неимоверная скука, порождавшая раздражительность и тоску. Я не находил себе места; родственники с тревогой следили за моим поведением, так как я терял аппетит, худел и делался невыносим в общежитии, внося своей неуравновешенностью полный разлад в семью.

Разумеется, я много размышлял о себе и сделал ряд наблюдений, одно из которых явилось для меня фонарем, бросившим свет на темные, полусознательные пути моего духа. Так, я заметил, что чувствую некоторое удовлетворение, совершая загородные прогулки, вдаль от зданий. Надо сказать, что с самого детства зрительные ощущения являлись для меня преобладающими, комплекс их совершенно определял мое настроение. Эта особенность была настолько сильна, что часто любимые из моих мелодий, сыгранные в отталкивающей обстановке, производили на меня неприятное впечатление. Основываясь на этом, я постарался провести па-

раллель между зрительными восприятиями города и загородного пейзажа. Начав с ф о р м ы, я применил геометрию. Существенная разница линий бросалась в глаза. Прямые линии, горизонтальные плоскости, кубы, прямоугольные пирамиды, прямые углы являлись геометрическим выражением города; кривые же поверхности, так же, как и кривые контуры, были незначительной примесью, слабым узором фона, в основу которого была положена прямая линия. Наоборот, пейзаж, даже лесной, являлся противоположностью городу, воплощением кривых линий, кривых поверхностей, волнистости и спирали.

От этого определения я перешел к краскам. Здесь не было возможности точного обобщения, но все же я нашел, что в городе встречаются по преимуществу темные, однотонные, лишенные оттенков цвета, с резкими контурами. Лес, река, горы, наоборот, дают тона светлые и яркие, с бесчисленными оттенками и движением красок. Таким образом, в основу моих ощущений я положил следующее:

Кривая линия. Прямая линия. Впечатление т е н и, доставляемое городом. Впечатление с в е т а, доставляемое природой. Все возможные комбинации этих основных элементов зрительной жизни, очевидно, вызывали во мне то или другое настроение, колеб-

лющееся, подобно звукам оркестра, по мере того, как видимое сменялось передо мной, пока чрезмерно сильная впечатлительность, поражаемая то одними и теми же, то подобными друг другу формами, не притупилась и не атрофировалась. Что же касается загородных прогулок, то относительно благотворное действие их являлось чувством контраста, так как в городе я проводил большую часть времени.

Продолжая углубляться в себя, я пришел к убеждению, что именно однообразие, резко ощущаемое мной, является несомненной причиной моего угнетенного состояния. Желая проверить это, я перебрал прошлое. Там ничего не было такого, что не переживалось бы другими людьми, и, наоборот, не было ничего доступного человеческой душе, чего не испытал бы и я. Разница была только в форме, обстановке и интенсивности. Разлагая свою жизнь на составные ее элементы, я был поражен скудостью человеческих переживаний; все они не выходили за границы маленького, однообразного, несовершенного тела, двух-трех десятков основных чувств, главными из которых следовало признать удовлетворение голода, удовлетворение любви и удовлетворение любопытства. Последнее включало и страсть к знанию.

Мне было двадцать четыре года, а в молодости, как известно, человек склонен к

категорическим заключениям и выводам. Я произнес приговор самому себе. Одна из летних ночей застала меня полураздетым, с твердым решением в голове и стальной штукой в руках, заряженной на семь гнезд. Я не писал никаких записок: мне было совершенно все равно, как будут объяснять причину моей смерти. Взведя курок, я вытянулся, как солдат на параде, поднес дуло к виску и в тот же момент на стене, с левой стороны, увидел свою тень. Это было мое последнее воспоминание; тотчас же судорожное сокращение пальца передалось спуску, и я испытал нечто, не поддающееся описанию.

К сознанию меня возвратил резкий стук в дверь. Очнувшись, я мгновенно припомнил все происшедшее. Револьвер, хотя и давший осечку, возбуждал во мне невыразимое отвращение; обливаясь холодным потом, я отбросил его под стол ударом ноги и, шатаясь, открыл дверь. Горничная, вошедшая в комнату с кофейным прибором, взглянув на меня, выронила поднос. Я успокоил ее, как мог, сославшись на бессонницу. Был день, я пролежал без сознания семь часов.

Странно — но этот эпизод развлек меня и заставил сосредоточиться на только что пережитых ощущениях. Меня удивлял пароксизм ужаса перед моментом спуска курка. Инстинкт, не подвластный логике, цеплял-

ся за жизнь, которая от общих своих основ и до самых последних мелочей была мне противна, как хинин здоровому человеку. Терзаясь этим противоречием, я чувствовал себя связанным по рукам и ногам. И вне и внутри меня, соединенный через тоненькую преграду — человеческий разум, клубился океан сил, смысл и значение которых были понятны мне столько же, сколько нож вивисектора понятен для обезьяны. И я, подобно тряпке, опущенной на дно быстрой речки, плыл, колеблясь от малейшей струи течения, из темного в неизвестное. Я был не я, а то, что давали мне в продолжение тридцати лет глаз, ухо и осязание.

Последовавший затем период отчаяния достиг такой напряженности, что я шесть дней не выходил из дома. Не знаю, выпил ли кто-нибудь за такой промежуток времени столько, сколько, расхаживая по комнате, выпил я. Вино обращалось в пожар, сжигающий мозг и кровь то светлыми, то отвратительными видениями тоски. Это был пестрый танец в тумане; цветок вина, уродливый, как верблюд, и нежный, как заря в мае; увлечение отчаянием, молитва, составленная из богохульств; блаженный смех в пытке, покой и бешенство. Я громко рассуждал сам с собой, находя огромное наслаждение в звуках собственного голоса, или лежал часами с ощущением стремительного падения,

или сочинял мелодии, равных которым по красоте не было и не будет, и плакал от мучительного восторга, слушая их беззвучную, окрыляющую гармонию. Я был всем, что может представить человеческое сознание, — птицей и королем, нищим на паперти и таинственным лилипутом, строящим корабли в тарелку величиной.

Через шесть дней, в середине ночи, я проснулся от мгновенной тревоги, поднявшей волосы на голове дыбом, и тотчас же, дрожа от беспричинного страха, зажег огонь. Кроме меня, в комнате никого не было; только из большого туалетного зеркала смотрело лицо, воспаленное пьянством, страшное и жалкое. Это было мое лицо. С минуту я смотрел на него, не узнавая себя, потом встал, оделся, подгоняемый беспокойством и стремлением двигаться, и вышел на улицу.

Все спали, но ключ от входной двери был у меня, и я, не разбудив швейцара, покинул дом, направляясь к Новому мосту. Шел я без всякой цели, но быстро, как человек, боящийся опоздать, и помню, рассердился, когда какой-то прохожий, шедший впереди, то с левой, то с правой стороны тротуара, не сразу посторонился. Воздух был свеж и тих, я жадно глотал его и шел, все ускоряя шаги. У моста я остановился, свернул в боковую улицу и, проходя квартал за кварталом, достиг рынка. По мостовой,



скользкой от сырости овощного мусора, беззвучно перебежали собаки, прячась за тумбами. Почувствовав небольшую усталость, я присел на огромный дырявый ящик и стал курить.

Нервы мои были так напряжены, что я чувствовал движение времени, отмечая его малейшим сокращением мускулов, неровностью дыхания и тяжелым, бесформенным течением мысли. Я не существовал, как целое; казалось, разбитое и собранное вновь тысячами частиц тело мое страдало физическим страхом перед новой смутной опасностью. В это время два человека вышли из-за угла и тщательно осмотрелись, светя ручным фонариком.

Пространство, разделявшее нас, было не более двух шагов, и я мог достаточно хорошо рассмотреть обоих, оставаясь сам незамеченным, так как столб, подпиравший навес лавок, скрывал мою особу. Один, с оплывшим от спирта угрюмо-благообразным профилем, одетый в коротенькую жакетку с поднятым воротником и котелок, державшийся на затылке, проворно сыпал как будто бессмысленными, ничего не говорящими фразами, набором слов, где общие выражения сталкивались и мешались с лексиконом, подобным тарабарскому языку. Другой, маленький, нервный, в старом пальто, с лицом сморщенной обезьяны, то и дело хватался

за поля шляпы, двигая ее взад и вперед, как будто голова его испытывала нестерпимую боль от прикосновения головного убора. Он настойчиво возражал, иногда возвышая свой и без того тонкий гнусавый голос, и беспомощно мотал подбородком, выражая этим, по-видимому, сомнение. Фонарик он судорожно сжимал левой рукой, и тень от его большого пальца, опущенного на стекло, падала огромным пятном в освещенный угол земли, между ящиком и запертой дверью здания.

Я скоро бы разобрал, кто эти люди, ведущие спор ночью, в глухом месте — будь мое соображение несколько посвежее; но в тот момент я тупо смотрел на них, удивляясь лишь странной манере говорить. Оба они, появившиеся так внезапно и тихо, казались видениями яркого сна, навязчивыми образами, преследующими расстроенный мозг. Я, кажется, ожидал их исчезновения; по крайней мере ничуть бы не удивился, расплывись они в воздухе клубом дыма. Но оба, поговорив, сунули руки в карманы и мелким деловым шагом пошли в сторону.

Я безотчетно встал и пошел за ними, смутно догадываясь, что два вора выходят ночью не на пищеварительную прогулку, и втайне радуясь маленькому, слегка таинственному развлечению — видеть лоскут ночной жизни, так резко отличающейся от

дневной, но подчиненной смене одних и тех же законов, знакомых, как лицо родственника. Ночь, с ее кошками, скрытым от глаз пространством, ворами, бродягами, приближающимися в темноте странно блестящие глаза к вашему ожидающему лицу; с нарядно одетыми женщинами, дающими впечатление голых; с тишиной звука и звенящим молчанием — таинственна потому, что в недрах ее у бодрствующих начинает оживать все, убитое законами дня. И я, следуя по пятнам за крошечным пятном фонаря, скользившего медленными зигзагами с плиты на плиту, чувствовал себя глазом ночи, причастным ее секретам, хитростям, целям и ожиданиям. Я был соглядатаем, участником из любопытства, звеном между мраком и воровским замыслом. Стараясь шагать буззвучно, я инстинктивно опускал ноги краем подошв и шел бесшумно, как зверь.

Те, за кем я следил, шли безостановочно и уверенно; они, видимо, двигались прямо к цели. Миновав соборную площадь и завернув к реке, они остановились у каменного пятиэтажного дома с огромным подъездом и тотчас же, не теряя времени, приступили к делу.

Я спрятался за угол дома и мог видеть, как маленький завертел руками, пытаясь сломать замок. Должно быть, это оказалось нелегким, потому что сухой треск железа

повторялся раз пять, то слабее, то резче, а руки, опытные, проворные руки вора двигались с прежним усилием. Товарищ его то и дело совал ему что-то; маленький брал, кряхтя от нетерпеливой тревоги, и снова начинал взлом. Арсенал хитрых соображений и механических фокусов был пущен в ход перед моими глазами. И вдруг явилось желание попробовать счастья самому, стать вором на час, красться, таиться, разрушать без звука, ходить на цыпочках в незнакомой квартире, брать со страхом, рыться в столах и ящиках и бережно заглядывать в лица спящих светлой щелью фонарика.

Не раздумывая, я встал и твердым шагом пошел к подъезду. И тотчас же увидел мирных прохожих, слегка подвыпивших, но еще бодрых. Котелок сказал обезьяне:

— Позвольте попросить у вас закурить, я потерял спички.

— Пожалуйста, сударь, — ответил маленький, пристально окидывая меня взглядом.— Боюсь, не отсырели ли спички.

— Спички? — сказал я, поворачиваясь в их сторону, — спички есть у меня. Берите.

И я протянул ему спичечницу. Котелок взял ее, пожирая меня глазами. Маленький судорожно поклонился, пискнув:

— Вы очень вежливы!

— Да, по мере возможности! — Я улыбнулся как можно приятнее и раскланялся. —

Надеюсь, вас это не обманет? К тому же у меня всегда сухие спички.

— Вы чрезвычайно вежливы, — настойчиво повторил маленький.

— Да, это странно, — отозвался глухим басом другой. — Какая нынче прекрасная погода!

— Погода так хороша, — подхватил я, — что даже не хочется сидеть дома, не правда ли?

Он, не сморгнув, ответил:

— Не отсыреют ли ваши спички, сударь? Воздух немного влажен и не совсем годен для здоровья.

— Другими словами, — сказал я, потеряв терпение, — я вам мешаю? Дверь эта крепкой конструкции.

Они еще силились улыбнуться, но тут же отступили назад, тревожно оглядываясь. Я подошел к ним вплотную.

— Вас двое, — сказал я, — против одного, значит, бояться нечего, тем более, что я вам вредить не буду. Я человек любопытный, ночной шатун — человек, любящий приключения. Я хочу войти вместе с вами и украсть на память о сегодняшней ночи то, что придется мне по душе. Вероятнее всего я возьму какую-нибудь безделушку с камина, значит, вас не ограблю. Итак, вперед, Картуши, Ринальдини, коты в сапогах, валеты и жулики! Я войду с вами, как тень от вашего фонаря.

И только я закрыл рот, как оба повернулись и неторопливо пошли прочь, теряясь в сумраке. Они меня не боялись, это доказывал их презрительно-мерный шаг, но и не доверяли моей навязчивости. Шаги их звучали еще некоторое время, потом все стихло, и я остался один.

Тогда я подошел к двери и тщательно ее осмотрел. Это была большая дверь стильных домов, с бронзой и матовыми стеклами. Чиркнув спичкой, я осветил замочную скважину; она носила следы взлома, медный кружок был сбит, и, кроме того, рядом с дверной ручкой зияли два свежепросверленные отверстия. Машинально я протянул ручку; к величайшему моему удивлению, дверь раскрылась совершенно свободно, как днем.

С минуту я стоял неподвижно, так как не ожидал этого. Они сделали свое дело, и я помешал им войти на лестницу. Я мог теперь воспользоваться плодами чужих трудов и, если соображение и находчивость придут на помощь, войти в любую квартиру. Мысль эта привела меня в состояние сильнейшего возбуждения — я был уже в о р о м, испытывая страх, нетерпение и острую жажду неизвестного, лежащего за каждым порогом. Я чувствовал себя скрытным, ловким, бесшумным и осторожным.

Тщательно притворив за собой дверь, я медленно распахнул вторую, внутреннюю.

Было темно и тихо, толстый ковер площадки мягко уперся в мои подошвы, как бы приглашая идти смелее. С сильно бьющимся сердцем прошел я мимо каморки швейцара, поднялся по лестнице и остановился у первой двери.

И тотчас же мое напряжение сменилось чувством усталости, смешанным с тревожным разочарованием. Мне нечем было открыть дверь. Без инструментов и ключей — и, даже будь у меня орудия, без знания, как употребить их — я должен был неизбежно возвратиться назад с сознанием, что разыграл дурака. И, значит, все, что произошло ночью, было бесцельно; весь ряд случайностей, связанных одна с другой, — рынок, разговор двух, взлом двери и то, что я вошел сюда, в спящий дом, — все это произошло только затем, чтобы я мог уйти снова, бесшумно и незаметно.

Мысль эта показалась мне настолько абсурдной, что я громко расхохотался. Конечно, я не был простым вором, иначе я был бы уже в любой квартире и чувствовал себя там хозяином. Я не был даже вором в том смысле, что мною руководила корысть, связанная с риском преступления. Я не хотел ничего брать; я шел, увлекаемый тайной, предчувствием неизвестного, порогом чужой жизни, тревогой бессонницы и смутным предчувствием логического конца. И от

этого удовлетворения меня отделяла дверь, открыть которую я не мог.

— Если конец должен быть, дверь откроется.

Я машинально прошептал эти слова, но тотчас же смысл их вспыхнул, как порох от угля. В самом деле, я еще не пробовал открыть дверь! Тогда, замирая от ожидания, я отыскал ручку и тихо, медленно сокращая мускулы, потянул к себе дверь. Она была заперта.

Новый прилив возбуждения схлынул — я отошел и уселся на подоконнике, ноги мои дрожали. Растерявшись, не будучи в состоянии предпринять что-нибудь, я вытащил портсигар и стал курить.

Прошла минута, другая; табак постепенно оказывал свое действие. Волнение улеглось, мысль текла спокойнее, но так же напряженно и резко, с болезненной отчетливостью каждого слова, выступавшего, как напечатанное, всеми буквами. Какой мог быть к о н е ц ? Я представил себе, что дверь открыта, и я блуждаю по темным комнатам. Передняя, гостиная, зал, кабинет, спальня и кухня — вот пространство, которое я мог обойти и увидеть то, что знакомо, — обстановку средней руки; самое большее, лица спящих. Итак, постояв минут пять в потемках с риском быть пойманным, как грабитель, я должен уйти тихо и осторожно, как настоящий вор. Отсюда на-



прашивались два заключения: 1) входить незачем; 2) к о н ц а не будет.

И хотя была очевидна правильность моего рассуждения, глухое бешенство сбросило меня с подоконника, как ветер — клочок бумаги. Я подошел к двери с дерзостью отчаяния, с страстным желанием войти и убедиться, что н и ч е г о н е т. Логика приводила меня к бессилию, рассуждение — к отступлению, простое бессознательное движение мысли — к мертвому тупику. Я бросился на штурм своего собственного рассудка и поставил знамение желания там, где была очевидность. В несколько секунд я пережил столкновение сомнений и несомненности, иронии и экстаза, страха и ожидания; и когда, наконец, ясная твердая решимость остановила лихорадочную дрожь тела — почувствовал себя таким разбитым и ослабевшим, как будто по мне бежала толпа. Я — з н а л, что б у д е т.

Несомненным, действительно несомненным было для меня то, что ни квартиры, ни мебели, ни людей нет. Есть неизвестное. То, к чему невольно, непреодолимо, неизбежно пришел я ночью, не зная, что меня ждет. Я стоял на пороге чуда. Я стоял перед всем и перед ничем. Я стоял перед смыслом рынка, котелка, обезьяны, взломанной двери, коробки спичек и своего присутствия.

Тогда, против моей воли, скрытое стало приобретать зрительные образы, цвета воспаленной мысли. Симфония красок кружилась перед моими глазами, и переливы их были музыкальны, как оркестровая мелодия. Я видел пространство, границами которого были звуки, музыка воздуха, движение молекул. Я видел роскошь бесформенного; материю в ее наивысшей красоте сочетаний; движущиеся узоры линий; изящество, волнуемое до слез; свет, проникающий в кровь. Я был захвачен оргией представлений. И бессознательно, как хозяин, вынул из бокового кармана ключ.

Момент, когда мне показалось, что все это было, и я уже когда-то стоял так же на лестнице, был мал, как движение крыльев стрижа, порхающего над озером. Я с трудом уловил его. И, погрузившись в себя, замер от ожидания.

Ключ был в моих руках, маленький, медный ключ не от этой двери, но я уже знал, что войду. Уверенность моя была так велика, что я даже не удивился, когда, вложив его в скважину, услышал, как замок щелкнул мягким, странно знакомым звуком. Я волновался так сильно, что принужден был остановиться и переждать припадок сердцебиения. Затем отворил дверь и, шагнув, очутился в темном, нагретом воздухе.

Не помню в точности, что переживал я тогда. Прямо был коридор; я угадал это по особому ощущению тесноты, хотя и не прикасался к стенам. Я двигался по нему как во сне, не зажигая спички, руководимый инстинктом, и, когда сделал десять шагов, понял, что надо остановиться. Почему? Я сам не знал этого. Тело мое было неудержимо и как будто привычно стремилось направо, где, по смутно мелькнувшему убеждению, должна была находиться дверь.

Я шел на цыпочках, сдерживая дыхание... Прежде чем повернуть вправо, я невольно поколебался. Почему — дверь? Я протянул руку, ощупывая ее, и тут, второй раз, неуловимо, как тень от выстрела, скользнуло воспоминание, что этот момент был. Я так же, но неизвестно когда, стоял в темноте коридора, шупая дверь.

Отчаянный страх парализовал мои члены. Ясно, всем существом своим я чувствовал, что сейчас произойдет что-то невообразимое, абсурдное, невозможное. Трясущимися руками я достал спичку, зажег ее и, прежде чем осмотреться, невольно закрыл глаза. Сколько времени я простоял так — не помню, но когда огонь приблизился к пальцам и боль начинающегося ожога дала знать, что сейчас снова наступит тьма, — я взглянул, и в тот же момент спичка погасла, тлея кривой искрой. Но, несмотря на краткость момента,

я увидел, что в стене направо действительно была дверь и что я стою в коридоре. Тогда я распахнул дверь, вошел и снова зажег свет.

Это была моя комната; все, начиная с мебели и кончая безделушками на камине, — было мое: картины, оконные занавески, книги, посуда, пол, потолок, обои, письменные принадлежности — все это было известно мне более, чем свое собственное лицо. С тяжестью в сердце, беспомощный сообразить что-нибудь, я обошел все углы, и каждый предмет, который встречали глаза, был мой. Ни одной вещи, способной опрокинуть кошмар чудовищного сходства, не было. Я был у себя.

Тогда, хватаясь за последнюю, безумную в основе надежду, я подался к кровати, отдернул занавески и увидел спящего человека. Человек этот был — я.

Здесь Бирк остановился, как бы собираясь с воспоминаниями. Последние его слова заставили многих перегляднуться. Он продолжал:

— Я вышел на лестницу, спустился к швейцару, разбудил его и увидел заспанное, бритое, знакомое лицо. Овладев собой, я попросил его войти в мою комнату, осмотреть ее и вернуться. Он повиновался с некоторым удивлением; помню, шлепанье его туфель доставило мне огромное удовольствие. Через

минуту он возвратился, и между нами произошел следующий разговор:

— Вы осмотрели в с ю комнату?

— Да.

— В ней никого не было?

— Совершенно.

— Вы осмотрели кровать?

— Да.

— Кто лежал на этой кровати?

— О н а б ы л а п у с т а.

— Теперь, — сказал я, — будьте добры, взгляните на наружную дверь.

С изумлением, еще большим, чем прежде, он вышел на тротуар. Я слышал его возню, он нагибался, рассматривал и вдруг крикнул:

— Здесь были воры! Дверь сломана!

И он выпустил град ругательств.

Так как Бирк замолчал, я обратился к нему с вопросом.

— Потом вы вернулись к себе?

— Нет, — протянул он, полузакрывая глаза, — я ночевал в гостинице. Впрочем, это не имеет значения. Я мог бы, конечно, вернуться к себе, но чувствовал потребность успокоиться.

— А потом? — спросил журналист с тонкой улыбкой. — Потом с вами ничего не было?

— Ничего, — задумчиво сказал Бирк. Он был, видимо, утомлен и сидел, подпирая рукой голову. Больше ему не задавали вопро-

сов, но в общем молчании веяло неясное ожидание. Наконец, хозяин сказал:

— Ваша история, действительно, чрезвычайно интересна. В ней много стремительной напряженности, экспрессии и... и...

— И горя, — сказала женщина, просившая о нестрашном.

Р. С. Записав этот рассказ, я пришел к убеждению, что дама ошиблась, предположив в истории Бирка элемент г о р я. Этот человек был всем нам известен, как очень богатый землевладелец, путешественник и гурман. Правда, его никто ни разу не уличал во лжи. Но как поручиться, что ему не пришло в голову желание искусной и, по существу, невинной мистификации? Также странно, что он говорил о себе, как о человеке, лишенном воображения; по-моему, то место в его рассказе, где он грезит перед запертой дверью, доказывает противное. Не менее подозрительны его слова в самом начале: "Я готов развернуть перед вами душу, и если вы поверите ей, — самый факт необычайного, который, по-видимому, более всего вас интересует, потеряет в ваших глазах всякое обаяние. Впрочем, я не берусь утверждать что-нибудь определенное без доказательств в руках". В его пользу говорит только одно: он ни разу не улыбнулся.

## СИСТЕМА МНЕМОНИКИ АТЛЕЯ

### I

Грустное событие имеет то преимущество перед остальными событиями жизни, что кладет на однообразное существование человека неуловимую тень прекрасного, о котором начинают вздыхать все, тронутые печалью.

Случилось, что когда мы начали забывать о горе молодой женщины, носившей странное имя Зелла, вся эта история с исчезновением ее мужа после долгих лет получила в наших глазах неотразимое обаяние — впечатление, покоившееся в основах на воспоминании о том летнем вечере, когда Пленер пел в дубовой роще свою лучшую песню о "Графе в изгнании". Начальные слова песни были таковы:

Земля не принимает моих следов,  
Они слишком легки, небрежны  
и оскорбительны для нее,  
Привыкший к толстым сапогам поденщиков,  
К осязательным следам жизни,  
Ненужной для себя самой.

Когда он кончил, солнце садилось и ветер пошевелил листву, затканную сонным, очаровательным румянцем зари. После этого Пленер исчез. Может быть, это было для него так же неожиданно, как и для нас, потому что никто не успел заметить момент его исчезновения. В памяти всех, как сейчас, так и тогда, осталась его высокая, прямая фигура, с рукой, прикрывающей глаза. Он пел в этой позе, а затем его не стало. Через неделю, когда добровольные и полицейские розыски оказались безуспешными, Зелла перешла от острых припадков горя к тихому отчаянию.

Все, что ум человеческий может противопоставить роковому в виде вопросов и неуклюжих догадок, было сделано нами, пересмотрено, отвергнуто и забыто. Но от исчезновения человека осталось веяние таинственной прелести, жуткой и заманчивой глубины потрясения. Всех нас, бывших в тот вечер, связало нечто сильнее нашей воли в рассеянную жизнь, но плотно связанную одним и тем же чувством группы людей тоски.

## II

В и не прошлого года, ровно через десять лет после исчезновения Пленера, утром, когда я занимался в саду опытами с привив-



кой растениям некоторых невинных болезней, способных изменить их окраску, — Диббах, мой брат, вошел через боковую калитку в сопровождении неизвестного пожилого человека, остановившегося на некотором расстоянии от клумбы. Я не сразу обратил внимание на возбужденное лицо брата; помню, что только его нервный смех заставил меня пристально посмотреть на обоих. Я вытер запачканные землей руки и поклонился.

— Атлей, — сказал брат, оборачиваясь в сторону неизвестного, — это Пленер.

Должно быть, кровь ударила мне в голову при этих словах, потому что, не более как на один момент, ясное небо затуманилось и задрожало перед моими глазами. Помню, что, когда я заговорил, голос мой звучал слабо и глухо. Я сказал:

— Вот шутник. Подумайте, Пленер, что он говорит!! Возможно ли это? Как ваше здоровье?

Думаю, что эта чепуха внушила ему все же некоторое представление о моем состоянии. Пленер неопределенно улыбнулся, но не сказал ничего; может быть, он считал свое положение в некотором роде щекотливым и странным.

Я рассмотрел его трижды, пока он стоял на этом красноватом песке, освещенный солнцем и зелеными отблесками акаций.

Пленер изменился, как может измениться человек, перевернувший свою жизнь. В густых, темных волосах его пестрела седина, лицо утратило женственную нежность кожи; темное, осунувшееся, но с бодрыми складками вокруг глаз, оно напоминало портрет старинной живописи. В дорожном светлом костюме, могучий и статный, стоял он предо мной — все-таки он, Пленер.

Мы молчали. Удивляюсь, как я не забросал его обычными в таких случаях вопросами. Диббах сказал:

— Я ухожу, Атлей, Зелла смеется и плачет, нельзя оставлять ее одну. Сегодняшний день мы будем помнить всю жизнь.

Он направился к калитке, и я в первый раз в жизни увидел, как тучный, семейный человек может лететь вприпрыжку.

Тот миг чудесного напряжения, когда мы остались вдвоем, сели на скамейку и начали говорить, — кажется мне и теперь обвеянным зноем летнего утра; сказочные стада представлений бродили в моей голове, я мог только улыбаться и кивать головой. Пленер сказал:

— Не нужно вопросов, Атлей; они будут бесполезны в точном смысле этого слова. Я ничего не знаю, но все-таки попытаюсь рассказать вам начало истории.

Как вы помните, я пел в роще, неподалеку от железнодорожного моста, где проис-

ходил пикник. Собственно говоря, начало моих воспоминаний служит и концом их.

Мне кажется, что не было этих десяти лет, по крайней мере, в моей памяти не осталось от этого периода никаких следов. В следующий, доступный воспроизведению словами, момент я увидел себя пассажиром второго класса за двести миль отсюда; я возвращался домой.

Момент не был тревожен и поразителен, я удивился, и только. По временам мне казалось, что я уехал лишь вчера, по делу, о котором забыл.

Поезд мчался; томление духа сменилось глубокой рассеянностью и сонливостью; перед вечером я посмотрел в зеркало и обернулся, ища глазами другого пассажира, но я был один в купе. Неожиданность взволновала меня, я снова посмотрел в зеркало. Это был я, изменившийся, поседевший, тот самый, что сидит перед вами.

Пленер умолк и застенчиво улыбнулся. Взволнованный не меньше его, я мог только жестами выразить свое сочувствие и удивление.

— Встреча с Зеллой, — продолжал он, — неопровержимый факт долгого отсутствия, усвоенный, наконец, мною. Рассказать все это, значит снова пережить странную смесь радостного ужаса и тоски. Меня не хватит на это, я разрыдаюсь. Между прочим, вот уже три

дня, как я здесь. Меня мучит новое ощущение — болезненное желание вспомнить все, пережитое за те таинственные десять лет; желание, доходящее до галлюцинации, до грандиозной игры воображения. Вы знаете, мне кажется, что если это удастся, жизнь моя будет озарена таким светом, перед которым радость спасения жизни — то же, что блеск металлической пластинки перед солнцем. Это — ясное, устойчивое, музыкальное ощущение забытого прекрасного.

Он снова умолк, и я не осмелился прервать его тягостное молчание. Искренность его тона делала для меня излишними всякие сомнения. Необычайность положения почти раздавила меня; сад, знакомые аллеи, клумбы — все, что имело до сих пор будничные оттенки, казалось в тот час торжественным и странным, как этот человек, вернувшийся из позабытого мира.

— Я делал попытки вспомнить, — продолжал он, — но все оказалось неудачным. Дубовая роща и поезд, поезд и роща — вот все, что я знаю.

Не знаю почему — в этот момент я решил произвести попытку, которая показалась бы в другое время забавной, но тогда она имела в моих глазах решающее значение. Я сказал:

— Пленер, можете вы представить дубовую рощу в том виде, как это было вечером?

— Да, — сказал он, закрывая глаза, — я ясно вижу ее. Низкие ветви: сквозь них блестит река. Я стоял у большого дерева, лицом к воде.

— Вот так, — заметил я, вставая. — Правая ваша рука прикрывала глаза. Я попросил бы вас встать в этом положении.

Он пристально следил за моими движениями, сомнительно склонив голову, и вдруг, как бы внутренне соглашаясь со мной, встал посередине площадки. Правая его рука нерешительно приподнялась и прикрыла верхнюю часть лица.

— Пленер, — сказал я, — сзади вас, на приямой траве, сидит Зелла. Еще дальше — Диббах, я и другие. Ваша верховая лошадь бродит у ручья, слева. Так.

Он молча кивнул головой, не отнимая руки. Теперь он понимал мою мысль.

— Вы пели о "Графе в изгнании", — продолжал я. — Советую вам начать с первой строки. Ну, Пленер, милый!

Он запел, и голос его задрожал, как тогда, в роще:

Земля не принимает моих следов,  
Они слишком легки...

Песня окрепла и зазвучала так полно, что я боялся пошевелинуться. Напряжение мое было слишком велико, я ждал чуда.

Отдельные моменты этой сцены сливаются в моем воспоминании в ощущение чужой, мучительной радости. Когда он дошел до слов:

Вы вспомните мою тоску — и благословите ее...

И дальше, до заключительных:

Я ухожу от грустных улыбок —  
Для полноты торжества  
Над теми, кто дешево сожалеет —  
И трусливо царит...

Лицо его повернулось ко мне. Он смеялся долгим счастливым смехом, сотрясаясь от глухих слез, вызванных ярким и внезапным воспоминанием.

Приблизительно через месяц, в одну из красивых ночей, Пленер рассказал мне свою забытую и воскресшую жизнь. В ней не было ничего особенного. Жил он под другим именем. Любил, был любим, путешествовал, испытал много оригинальных приключений и впечатлений. Но в тот день, когда пел у меня в саду, вспомнил только радостные моменты прошлого. Теневая сторона жизни осталась для него по-прежнему забытой и — навсегда.

Если это неудача, то пусть она будет благословенна. Избранных, способных воскресить радость пройденного пути и щедро, как миллионер, забыть долги жизни — совсем немного. Пусть будет больше одним таким человеком.

## ЛУННЫЙ СВЕТ

### I

Пенкаль стоял на пороге кузницы, с тяжелой полосой в левой руке и, заметив приближающегося Брайда, приветливо улыбнулся.

Был солнечный день; кузница, построенная недавно Пенкалем из золотистых сосновых бревен, сияла чистотой снаружи, но зато внутри, как всегда, благодаря рассеянному характеру владельца представляла пыльный железный хаос. Брайд брякнул принесенным ведерком, пожал руку Пенкаля и сел у входа, широко расставив колени. Его шляпа, сдвинутая на затылок, открывала умный лоб; маленькие внимательные глаза с любопытством рассматривали Пенкаля.

— Вы можете его починить, Пенкаль? — сказал наконец Брайд, оборачивая ведро дном кверху. — Оно продырявилось в двух местах, следовало бы положить заплатки, но, может быть, вы знаете и другой способ?

— Хорошо, — ответил Пенкаль. Взяв ведро из рук Брайда, он мягко швырнул его в кучу

ломаного железа, потом поплевал на руку, готовясь раздуть тлеющее горно. Брайд вошел в кузницу.

— Поздно вы принимаетесь за работу, — сказал он, пытливо осматривая все углы закопченного помещения. — А у нас вчера была ваша жена, Пенкаль.

Кузнец шумно опустил мех, и воздух загудел в горне ровными вздохами, осыпав кузнеца дождем искр. Брайд переждал минуту, рассчитывая, что Пенкаль откликнется на "жену" и тем подвинет разговор к вопросу, интересующему поселок. Но Пенкаль пристально смотрел на огонь.

— Она побыла немного и ушла, — смущенно продолжал Брайд. — Вид у нее был нельзя сказать, что хороший.

— Ну? — сказал Пенкаль. — Ведь она ходит к вам каждый день.

Брайд принял решение.

— Она жаловалась на вас, что вы... кажется, у нее были заплаканы глаза... Что такое семейная история? Та, где нет дела третьему? Этого я не одобряю. Конечно, если мне что-нибудь говорят — я слушаю, но придавать значение... это не мое дело. Разумеется, говорю я себе, у них были причины. Какие? Мне этого знать не нужно. Пусть живут люди, как им живется. Не так ли, Пенкаль?

— Верно, — сказал кузнец.



Брайд разочарованно поймал муху и грустно бросил ее в горно. Скрытность Пенкаля казалась ему излишней и неприличной осторожностью. Что скрыто за этим покусыванием усов? Но, может быть, все пустяки?

Наступило молчание. Пенкаль бил молотком железо, изредка останавливаясь, чтобы поправить падающие на лоб прямые черные волосы. Когда полоса остыла, кузнец сунул ее в печь и спросил:

— А видели вы длинного кляузника Ритля? Сегодня ночью он катался на лодке, и я просто думаю, что его занесло течением дальше, чем следовало.

Брайд высморкался безо всякой нужды.

— Ну да, — принужденно сказал он, избегая взгляда Пенкаля. — Вот еще Ритль... Он проехал действительно подальше... вслед за вами... и легко могло показаться... Впрочем, это был всегда любопытный человек.

— Не думаете ли вы, что он дурак? — мягко спросил Пенкаль.

— Дурак? Пожалуй... — Лицо Брайда томительно напряглось, в то же время он подумал, что от Пенкаля вряд ли что выудишь.

— Он дурак, — сердито проговорил Пенкаль, — не мешало бы ему придерживаться вашего мнения: пусть люди живут, как им живется, а? Не правда ли?

— Да, да, — неохотно сказал Брайд. — Но я зайду к вечеру за ведерком. Мне ведь не к спеху. Да, нужно еще починить изгородь.

Он встал, помялся немного и ушел, оглянувшись на низкую дверь кузницы. Она была вся освещена буйным огнем; в красноватом блеске двигалась сутулая фигура Пенкаля.

Кузнец стремительно двигал мех, стараясь физическим усилием побороть тяжелое раздражение. Да, еще немного — и все будут подозревать его неизвестно в чем.

Он улыбнулся; врожденной чертой его характера было ленивое отвращение ко всякого рода объяснениям и выяснениям. Не их дело.

Пенкаль кончил работу, закрыл дверь, умылся и медленно пошел домой, к куче неуклюжих зданий поселка. Навстречу, грустно улыбаясь осунувшимся, легкомысленным и красивым лицом, шла его жена; Пенкаль прибавил шаг.

— Здравствуй, коза, — сказал он, целуя ее в голову. — Я еще не был дома после этих двух суток, пойдем скорее, у меня разыгралась охота пообедать сидя против тебя. Клавдия! Подними рожу!

Замявшись, женщина нерешительно обдергивала бахрому цветного платка, прикрывавшего ее молодые плечи, и вдруг заплакала, не изменяя позы. Пенкаль сдвинул брови.

— Это все чаще, Клавдия, — сказал он, заглядывая ей в глаза. — Ты подумай, есть ли хоть маленькая причина портить глазки? Потом... ты еще ходишь жаловаться на меня; это совсем скверно. Что я тебе сделал?

Женщина вытерла глаза, но они вновь оказались мокрыми.

— Ты сам виноват, Пенкаль, — проговорила она, мешая ноты упрека с горькими всхлипываниями, — почти месяц... каждый день... каждую ночь... Никто не знает, куда ты уходишь. Надо мной посмеиваются. "Пенкаль, — говорят, — о, он молодец мужчина!"... Что ты на это скажешь? Ты ведь ничего не говоришь мне. Раньше делали насчет тебя догадки... теперь говорят шепотом, а когда я вхожу, — молчат и странно смотрят на меня. Может быть, ты делаешь фальшивые деньги, милый... так скажи мне... Я не выдам, но... О, мне так тяжело...

Она умолкла; в ее беспомощно раскрытом рту и прямом взгляде сказывался наивный испуг. Пенкаль обнял жену за талию.

— Я гуляю, Клавдия, я хожу на охоту, — серьезно сказал он. — Ну, вот видишь, я говорю правду, а ты смотришь все-таки недоверчиво. Да, Клавдия, только и всего. Надо было мне сказать тебе это раньше. В самом деле, когда охотник приходит постоянно с пустыми руками... Но пойдем. Я попытаюсь успокоить тебя.

Он взял ее за руку, как маленькую девочку, и стал спускаться с пригорка, продолжая говорить. Через сто шагов женщина успокоилась. Еще ближе к дому лицо ее выглядело просохшим и успокоенным, но в душе она, вероятно, немного подсмеивалась: вот чудак!

## II

Береговой песок, залитый лунным светом, переходил в таинственное свечение сонной воды, а еще дальше — в торжественную, полную немых силуэтов муть противоположного берега.

Был полный разлив. Вода покрыла островки, мысы, огромные высыхающие к концу лета отмели, медлительная сила реки сгладила полуобнаженный остов русла — спокойный момент торжества, делавший лесную красавицу похожей на гигантскую обьевшуюся змею.

Пенкаль остановился у кипарисов, сильно подмытых течением, зашлепал сапогами в холодной воде и быстро освободил лодку, привязанную к обнаженным корням деревьев. Пахло сырым, полным весенним воздухом. Опустив весла, Пенкаль различил легкие человеческие шаги и выпрямился.

Он повернулся. Низкий обрыв, изборожденный трещинами, мешал рассмотреть что-либо, но неизвестный предупредил Пенкаля и вышел из тени деревьев. Шагах в пяти от Пенкаля он остановился, заложил руки за спину и наклонил голову. Это был Ритль, торговец; в лунном свете хорошо обрисовывалось его длинное, с выпяченным животом туловище. Подстерегающий взгляд торговца назойливо обнял кузнеца, дрогнул и ушел в землю.

— Никак, вы собрались ехать? — подобострастно, но цепко спросил Ритль. — А я почему-то думал, что вы спите. Вышел я, знаете ли, пройтись, приставал ко мне утром сегодня этот бродяга Крокис, все настаивал, чтобы я сделал скидку, и страшно меня расстроил. Другим он говорил: "Ритль упрям, но я возьму у него брезенты". Каково? Брезенты действительно принадлежат ему. Пойдет дождь, и товар подмокнет. Дернул меня черт положиться на его совесть! Впрочем, вы заняты, а то я хотел ведь попросить у вас совета, Пенкаль. Вы, что же, испробовать новую винтовку? На взморье, говорят, появились лоси. Эх, в молодости и я был охотником!

Пенкаль опустил цепь и, не отвечая, хотел вскочить в лодку. Ритль подошел ближе.

— Какой вы, однако, скрытный, — произнес он, — ну, бог с вами. Честное слово, Пен-

каль, если бы вы знали, как все заинтересованы вашим поведением!

Пенкаль усмехнулся. В первую минуту ему захотелось обругать Ритля, но, удержавшись от резких слов, он сообразил выгоду своего положения; можно внешне, страшным и удивительным для других образом исказить правду. Тогда, если и будут говорить о таинственных отлучках Пенкаля, то лишь в одном смысле.

— Ритль, — сухо сказал Пенкаль, — я всегда думал, что вы порядочный человек.

— Я?! — вскрикнул Ритль. — Не знаю, как понять это... но если...

— Вот, слушайте. Чего проще было бы мне сказать вам: Ритль, вы шпионили. Поддавшись бабьим пересудам и толкам бездельников, сующих нос в чужие дела, вы сегодня следили за мной и видели, как я подошел к лодке.

— Никогда в жизни! — пылко вскричал Ритль.

— Шутник вы! Зачем мне и вам все эти брезенты? Подошли бы вы просто и сказали: "Пенкаль! Я чертовски любопытен, это большой недостаток, но что с этим поделаешь? Куда это вы ездите ночью и зачем? Со мной прямо делаются корчи, когда я подумаю, что вы имеете право что-то скрывать и не расскажете никому".

Ритль нерешительно раскрыл рот.

— Ну, что же... — путаясь, начал он. — В сущности... да ведь и не я один... как хотите...

— Да?! — сказал Пенкаль. — Если вы поклянетесь, что ни одна живая душа... поняли? Тогда я расскажу вам все, без утайки. Хотите?

Глаза торговца блеснули и приблизились к кузнецу.

— О! Пенкаль! — заорал он в восторге. — Я всегда стоял за вас горой! Провались я, если вы не лучший человек на свете! Разве я сомневался в вас, хотя бы одну секунду? Нет, право, вы очаровали меня!

— Поклянитесь, — сказал серьезно Пенкаль, вполне уверенный, что через полчаса клятва будет нарушена.

— Клянусь громами и моими доходами! — воскликнул Ритль. — Вы можете быть покойны. Я всегда вас считал особенным человеком, Пенкаль, и ваше доверие... да что там!

— Хорошо, — сказал Пенкаль. — Сядем. Он сел, Ритль опустился рядом с ним на большой камень. Тени их резко чернели на воде. Пенкаль поглаживал колено правой рукой, как будто любясь им; это движение было характерно для него в минуты сосредоточенности.

— Из глупости, — начал Пенкаль. — Из пустяка. Из обрезка крысиного хвоста сочиняются всевозможные истории. Так обстоит дело и со мной. Вот вы выслушаете меня и

придете домой в полной уверенности, что совсем нечего было выдумывать о Пенкале легенды и расстраивать его глупую, еще доверчивую жену рассказами о том, что Пенкаль фабрикует в лесу фальшивые монеты или что он завел в городе трех любовниц... Не вы, так ваша жена. Нет? Тем лучше, тогда перейдем к делу.

Здесь нужно было загадочно улыбнуться, и Пенкаль сделал это, смотря прямо в глаза Ритля рассеянным взглядом кошки, усевшейся перед собакой на недосыгаемой вершине забора. Торговец выжидательно хихикнул; бледное лицо кузнеца и тишина лунной реки производили на него необъяснимо жуткое впечатление.

— Две недели назад, — продолжал Пенкаль, заботливо разглаживая колено, — я возвращался из города на этой вот лодке, но не рассчитал время и тронулся в путь, когда уже начинало темнеть. Дул сильный противный ветер, да и попал я в сильную полосу течения. Вы знаете, я не охотник выбиваться из сил, когда это не представляет необходимости, поэтому, завернув к Лягушачьему мысу, вытащил лодку на песок, развел огонь и устроил себе ночлег из свежих сосновых веток. Было совсем темно. Вы знаете, Ритль, что если долго смотреть в огонь, а потом сразу отвести глаза, то мрак кажется еще гуще. Представьте же мое удивление, когда, вдо-



воль насытившись видом раскаленных углей, я повернул голову и почувствовал, что светает. "Не может быть, чтобы наступило утро", — сказал я себе и вскочил на ноги. Но действительно было совсем светло. Я не могу подобрать название этому свету, Ритль, он был как дневной или яркий лунный, но без теней. Все было освещено им: спящая, молчаливая земля, лес, река, тихие облака вдали, — это было непривычно и странно. Я подошел к воде. Оставим описание того, что чувствовал я в это время; три слова, пожалуй, годятся сюда: страх, радость и удивление. Вода стала прозрачной, как воздух над деревенской изгородью, я видел дно, чистые слои песка, бревна, полузанесенные черноватым илом, куски досок; над ними, медленно шевеля плавниками, стояли рыбы, большие и маленькие, сеть водорослей зеленела под ними, внизу, совершенно так же, как луговые кустарники под опускающимися к ним птицами.

Я отвернулся, подумав, что умираю и что это последний трепет воображения, потом увидел лес и вздохнул, а может быть, ахнул. Я никогда не видел леса таким прекрасным, как в эту ночь. Проникнутый тем же золотистым, неярким светом, он виден был вглубь на целые мили, — и это весной, в самом буйном цветении; стволы, чешуйки, древесной коры, хвойные иглы, листья, цветы, даже

маленькие — не больше булавки — самые нежные и тонкие побеги, — все это буквально соперничало друг с другом в необычайной отчетливости.

Пенкаль посмотрел на Ритля. Торговец несколько отодвинулся и сидел теперь на расстоянии четырех шагов.

— Поразительно, — пробормотал Ритль.

— Я лег на спину, — продолжал Пенкаль, — потому что был сражен и напуган. Костер слабо трещал вблизи меня. Я думал о том, кто зажег эту гигантскую лампу без теней, осветив спящую землю так, как мы освещаем комнату среди ночи. Мои соображения были бессильны. В этот момент он подошел ко мне.

— О н ? — глухо спросил Ритль, мигая расширенными глазами.

— Да, он и маленькая полуголая женщина. Она крепко жалась к нему. Вид у нее был слегка дикий в этом странном капотике из кленовых листьев, но не лишенный кокетства, впрочем, вряд ли она сознавала, чего ей не хватает в костюме. Я имею некоторые причины подозревать это. Он же был одет и довольно курьезно: представьте себе человека, первый раз надевшего полный городской костюм, — естественно, что он не умеет себя держать. Так было и с ним: тугие воротнички, должно быть, страшно утомляли его, потому что он беспрестанно

вертел головой, а также вытаскивал манжеты из рукавов и по временам среди разговора пристально рассматривал свои запонки. Был он совсем маленького роста и показался мне застенчивым добряком. Женщина крепко держала его за руку, прижимаясь к плечу; изредка, когда он говорил что-нибудь, по ее мнению, неподходящее или лишнее, слегка щипала его, отчего он смущенно умолкал и грустно обращался к запонкам.

Я сел, они приблизились и остановились...

— Ого! — сказал Ритль, побледнев и ежась на своем камне. — Как вы могли выдержать?

— Слушайте дальше, — спокойно перебил Пенкаль.

— Вы спали, — сказал он, приседая как-то странно, словно его сунули под гидравлический пресс, — а я не знал. Нас разбудили, мы тоже спали, но вот она испугалась... — Он посмотрел на женщину. — Сегодня утром, видите ли, прошел этот... ну, вот, хлопает по воде, коробочкой, постоянно горит. Да, так она не выносит этого железного крика, хотя многие утверждают что он поет недурно, и только дым...

— Пароход, — сказал я.

Он прищурился и посмотрел на меня пристально.

— Да, вы так говорите, — согласился он, — все равно. И она дрожит целый день. Я кормил ее, сударь, уверяю вас, она куша-

ла сегодня и расстроилась совсем не потому, что она голодна... но она не может... Как только этот па... или что-то такое, так и история.

Женщина тихонько ущипнула его за ухо, и он сконфузился.

— Знаете! — воскликнул он с жаром, вдоволь повертев свои запонки. — Мы ушли бы отсюда, но... нам совершенно не с кем посоветоваться. Все, как и мы, ничего не знают. Говорят, правда, что вверх по реке есть тихие области, где нет этих... вообще беспокойства, — а я не знаю наверное.

В свою очередь, я пристально посмотрел на него. Глаза его очень переменчивого цвета напоминали лесные озерки в разное время дня; они то тускнели, то разгорались и переливались всеми цветами радуги.

— Там города, — продолжал он, показывая рукой к морю и ежась, как от сильного холода. — Они строятся из железа и камня. Я не люблю этих... ну, как их? До... до...

— Домов, — подсказал я.

— Вот именно. — Он, казалось, чрезвычайно обрадовался, что я так быстро помогаю ему. — Да, домов... но как, вверх по реке, есть эти штуки?

— Семь городов, — сказал я. — И много строится новых.

Он был сильно озадачен и долго сидел задумавшись. Потом засмеялся, тронув меня

за плечо, с довольной улыбкой мальчика, поймавшего воробья.

— Вот что, — произнес он, — камень и железо — правда?

— Конечно.

— Ну, так они их не достанут. Здесь нет камня и железа до самых гор. Они останутся в дураках.

Я улыбнулся.

— А эти, — сказал я, — коробочкой?

— Парра-ходы? — с усилием произнес он и опечалился. — Вы думаете?

— Без сомнения.

Пока он переваривал этот новый удар, женщина внимательно водила пальцем по коже моего сапога, отдергивая свою нежную руку каждый раз, когда я шевелил ногой.

— Тогда мы уйдем, — полувопросительно сказал он. — Нет никакого расчета оставаться здесь. И все уйдут. Леса опустеют. Я слышал, что не будет лесов и даже травы? Куда-нибудь да уйдем.

Мне стало жалко их, Ритль, этих маленьких лесных душ; но чем я мог им помочь?.. Я горевал вместе с ними. Так сидели мы втроем, молча, среди живой тишины, в коротком, печальном оцепенении.

— Я слышал еще, — виновато сказал он, — что будто дело произойдет так: везде будет железо и камень, и парра-ходы, и ничего больше. А потом они снова захотят жить

с нами в близком соседстве; устанут, говорят, они от этого... элек...

— Электричества.

— Да, да. Ну, так мы пока можем побыть и в изгнании. Как вы думаете насчет этого?

В этот момент я услышал тихий и ровный плач; он напоминал шелест падающих сосновых шишек.

— Ну, — сказал он, — так усни. Чего же плакать?

Женщина продолжала рыдать на его плече. Из ее маленьких, светлых глаз катились быстрые слезы.

— Я хочу спать, — твердила она, — а надо опять идти... идти...

Он повернулся к ней, и оба растаяли, затрепетали прозрачными силуэтами на освещенном песке, затем исчезли. Я встал, Ритль; было темно, костер шипел мокрыми от росы сучьями.

После этого я встречал их каждую ночь. Они приходили и исчезали, но между жалобами от них можно было узнать многое о их жизни. Я это делаю — беру лодку и еду. Вчера мы обсуждали, например, скверные черты в характере волка. Вы видите...

Пенкаль повернулся. Камень был пуст; вдали замирали быстрые шаги Ритля.

”Я напугал его, — подумал молодой человек, — теперь он считает меня бесноватым или — что все равно — приятелем самого

черта. Но я, кажется, сам позабыл о его присутствии. Это ведь лунный свет...”

Он не договорил и посмотрел вверх, где чистая луна сочиняла ему сказку о его собственной замкнутой и беспредельной душе. Затем, обойдя лужи, Пенкаль сел в лодку, толкнул веслом заскрипевший песок и растворился в прозрачной мгле.

### III

— Где же его искать?

— В аду.

— Без шуток, говори, куда держать?

— Держи пока прямо. А потом — на свет.

После мгновенного замешательства, вызванного коротеньким диалогом, весла заработали так быстро, что рулевой качнулся назад. Несколько минут прошло в совершенном молчании, затем тот, кто рекомендовал отправиться в ад, глухо проговорил:

— Темно. Подлей масла в фонарь, Син; он гаснет.

— Я предлагаю вернуться, — заявил Паск.

— Вернись, — ответил с недобрый оттенком в голосе мрачный человек. — По воде ты дойдешь до берега, а там сядешь в лодку.

Остальные захохотали. Смех их показал шутнику, что слова его немного смешны,

и он засмеялся после всех сам, совершенно несвоевременно, потому что в этот момент Энди ушиб себе ногу веслом и застонал с кроткой яростью ангела, проворонившего пару приличных душ.

— Луна скрылась, — сказал Паск, — и очень кстати. Кружись до утра, Льюз.

— Нет, — сказал мрачный человек, названный Льюзом, — дело должно быть сделано. Я хочу посмотреть дьявольские игрушки Пенкаля... или запою песенку под названием: "Ритль, береги ребра!", а то...

Он стих и погрозил кулаком зюйд-весту. Четыре силуэта мужчин, обведенные каймой борта в тусклом свете дымного фонаря, плыли над водой, усиленно загребая веслами. Паск спросил:

— Возможны ли такие шутки?

— То есть мы — дураки, — скорбно поправил Льюз. — Не мешало бы воротиться и расспросить Ритля, а? — Льюз дернул рулем. — Я мог бы рассказать вам, — проговорил он, — как один человек... какой — все равно, зашел на кукурузное поле.

Прошло пять минут, пока Син осведомился, чего ради этот несчастный подвергся такой странной участи.

— Он утонул, — задумчиво пояснил Льюз, — и утонул потому, что это было не кукурузное поле, а озеро. Поняли?

Кто-то вздохнул. Энди повернул голову.



— Огонь влево, — сказал он, переставая грести.

Нетерпеливое, отчасти жуткое ожидание достигло крайнего напряжения. Льюз направлял лодку. Слева под лесом, у большой песчаной косы трепетал красный огонь костра. Маленький, одинокий, он тихо манил парней; может быть, там сидел Пенкаль.

Без команды, словно по уговору, Син, Энди и Паск бережно загребли веслами, словно не вынимая их из воды, отчего лодка бесшумно, как окрыленная, скользнула к земле и остановилась, толкнувшись о подводные кряжи.

— Ну, выходи, — смущенно проговорил Льюз.

Все двинулись кучкой, молча, подавленные тишиной и предчувствием разочарования. Пенкаль сидел на корточках у огня; в котелке, повешенном над угольями, что-то шипело и булькало; смеющиеся глаза вопросительно остановились на Льюзе.

— Вот погреемся! — неестественно сказал Син, избегая глядеть на кузнеца.

Льюз мрачно улыбнулся, присев боком к огню; Паск остановился в отдалении; Энди для чего-то снял шапку и подбросил ее вверх.

— Так вы прогуливаетесь, — сухо сказал Пенкаль.

— Мы? — спросил Энди. — Да... мы... ехали и... увидели этот огонь... но... Льюз потерял

спички... и вот... понимаете... курить захотелось... Верно я говорю, Льюиз? Ну... мы и того... Здравствуйте!

Котелок покачнулся. Серая пена заструилась в огонь, чадя и всхлопывая на угольях. Пенкаль бросился снимать варево, поддел котелок палкой и бережно поставил на землю.

— Это суп, — сказал он. — Хотите?

Четыре человека недоверчиво переглянулись и протянули Пенкалю руки.

— Прощайте! — сказал Энди. — Мы должны ехать: нам нужно... Льюз, закури трубку.

Льюз сделал это, подпалив усы, так как дрожали руки, и затем все удалились, переговариваясь вполголоса о таинственных, недоступных для глаз их, лесных жителях.

Когда их фигуры, раскачиваясь, ушли во мрак, — из-за туч выглянула луна и затопила тревожным блеском далекую линию противоположного берега.

## РЕДКИЙ ФОТОГРАФИЧЕСКИЙ АППАРАТ

### I

За Зурбаганом, в местности проклятой самим богом, в голой, напоминающей ад степи, стояла каменная статуя, изображающая женщину в сидячем положении, с руками, поднятыми вверх, к небу, и глазами, опущенными к земле. Никто из жителей окрестностей Зурбагана не мог бы указать происхождения этой статуи, никто также не мог объяснить, кого изображает она. Жители прозвали статую "Ленивой Матерью" и с суеверным страхом обходили ее. Как бы то ни было, это ничтожное каменное отражение давно прошедшей и давно мертвой жизни волей судьбы и бога уничтожило двух людей.

Смеркалось, когда старый рудокоп Энох вышел за границу степи, окружающей Зурбаган. В рудниках Западной Пирамиды Энох заработал около двух тысяч рублей. Его жена, мать и брат жили в Зурбагане, он шесть месяцев не видал их. Торопясь обнять близких людей, Энох ради сокращения пути

двинулся от железнодорожной станции хорошо знакомыми окольными тропинками, сперва — лесом, а затем, где мы и застаем его, — степью. Ему оставалось не более двух часов быстрой ходьбы.

Несколько дождевых капель упало на руки и лицо Эноха, и рудокоп поднял голову. Тревожный, бледный свет угасающего солнца с трудом выбивался из-под низких грозных туч, тяжело взбиравшихся к зениту над головой путника. Фиолетовая густая тьма зарокотала вдали глухим громом, полным еще сдерживаемой, но готовой разразиться неистовой ярости. Энох сморщился и прибавил шагу. Скоро дождь хлынул ливнем, а из грома, закипев белым трепетом небесных трещин, выросли извилистые распадения молний. Почти непрерывно, с редкими удушливыми моментами тишины, ударял гром. Содрогающийся ослепительный блеск падал из темных туч вниз на крыльях ветра и ливня. Энох, смокший насквозь, не шел, а бежал к "Ленивой Матери". Он и раньше видал ее, а теперь, заметив ее издали, поспешил под ее сомнительное прикрытие. Статуя то появлялась, то исчезала, смотря по силе небесных вспышек. Достигнув подножия двухсаженного изваяния, Энох увидел, что меж ногами идола сидит, как в будке, плохо одетый человек. Человек этот пристально смотрел на него.

## II

Рудокоп не был трусом, но деньги, зашитые в его кожаном поясе, гроза, действующая на нервы, и уныло замкнутое лицо неизвестного испортили ему настроение, которое, несмотря на дождь, благодаря близости дома было до этого весьма бодрым. Он кивнул сидевшему и оперся плечом о квадратное колено изваяния. Успев заметить, что неизвестный держит в руках старое одноствольное ружье, что лицо его трудно представить улыбающимся и что на его левой руке не хватает среднего пальца, Энох сказал:

— Хорошее местечко выбрали вы себе, сосед. Правда, из-за этого колена мне не бежит, как раньше, вода за воротник, но все-таки брызжет на голову.

Сидевший внимательно осмотрел Эноха и кивнул головой.

— Вы от станции? — спросил он.

— Да.

— Значит, сбились с дороги. Нужно было забирать левее, к холмам.

— Я здешний, — возразил рудокоп. — Все дороги я знаю, но это направление сокращает путь.

— Сокращает путь? — повторил незнакомец. — Возможно... Судя по костюму, вы работали в горах на западе?

— Работал, — неохотно ответил Энох и замолчал.

Сердце его, вдруг затосковав, сжалось. Незнакомец не сказал ничего, кроме самых естественных при этой оригинальной встрече фраз, но рудокопу захотелось уйти. Сунув руку в карман, где лежал револьвер, он украдкой посмотрел на сидевшего. Тот, опустив глаза, легонько посвистывал. Ветер усилился. Уши Эноха начали уже привыкать к неистовому громовому реву, но тут раздался такой взрыв, что он невольно нагнул голову. Молния чрезвычайной силы и длительности замела степь. Незнакомый сказал:

— Давно уже собираюсь я навестить рудники. Там хорошо платят.

— Да, хорошо! — вздрогнул и слишком поспешно вздохнул Энох. — Знаете, хорошо там, где нас нет. Вот когда я был молодым, тогда действительно зарабатывал, а теперь — старость... собачья жизнь... А что, — продолжал он, намекая на профессию охотника, — разве лисицы и бобры ходят теперь без шкур?

Незнакомец, ничего не ответив, снова опустил голову.

— Пойду, пожалуй, — сказал Энох, — небо проясняется.

— Что вы! Идут новые тучи!

— Это ничего... ветер стихает.

— Ого! Ревет, как водопад!

— Да и дождь, кажется, сдал. Надо идти.

Сказав это, Энох крепко сжал в кармане револьвер и шагнул в степь. Через мгновение за его спиной стукнул выстрел, и пуля, выскочив меж лопаток сквозь грудь, разорвала сердце. Энох упал около статуи. Неизвестный, вложив новый патрон, смотрел некоторое время, скосив глаза, как слабо шевелятся на земле руки убитого, сводимые судорогой агонии, затем, встав, присел на корточки возле Эноха.

— Глупо было бы не воспользоваться случаем при виде такого толстого кожаного пояса, — сказал он. — А он еще толковал мне о лисьих шкурках! Нет! Я, старый Бартон, знаю, что делаю. Ну-ка, поясок, вскройся!

Он разрезал ножом трехфунтовое утолщение пояса и с руками, полными денег, удалился на сухое место меж ногами статуи, где, перегрузив добычу в карманы, сидел несколько минут, стараясь побороть возбуждение убийством и сообразить, в какую сторону удалиться. Когда это было решено им в пользу одного из кабаков Зурбагана, Бартон встал и вышел под дождь. Тут ожидала его крупная неприятность. Волна белого огня молнии, сопровождаемая потрясающим небесным ударом, одела статую с вершины до земли жгучей, сверкающей пеленой, и Бартон, потеряв сознание, ткнулся лицом в землю.

Часа два оглушенный и мертвый лежали рядом. Тучи, отдав земле всю бешеную влагу, скрылись, и над ночной степью показались тихие звезды. Холод ночи оживил Бартона. Шатаясь, с трудом поднялся он на занывших руках, потом сел, хватаясь за обожженный затылок. Сознание медленно возвращалось к нему. Отдохнув, он направился в Зурбаган.

### III

К вечеру следующего дня в одну из Зурбаганских больниц доставили пьяного, сильно израненного ножами в драке человека. Его звали Бартон. Он, страшно ругаясь, рассказал, что его товарищи вздумали смеяться над ним, уверяя, будто на его шее существует татуировка, и высказали предположение, что кто-нибудь подшутил над ним во время пьяного сна, поместив рисунок на таком странном месте. Он, разумеется, парень горячий и т. д., и себя в обиду не даст и т. д., и сейчас же схватился за нож и т. д., и его исколотили.

Он рассказывал это в то время, когда ему делали перевязку. Доктор, зайдя сзади, посмотрел на шею Бартона.

— Какое-то синее пятно, — сказал он, — вероятно, синяк.



— Вот это может быть, — подхватил Бартон, рассматривая рану выше локтя, из которой обильно текла кровь. — Я никому не позволю смеяться, ей-богу.

Доктор, шурясь, нагибался все ближе к Бартоновой шее.

— Когда тебя так хватит громом, какхватило меня, — продолжал Бартон, — я думаю, будет синяк.

— А васхватило? — спросил доктор.

— Еще как! Яшел это, понимаете, близручья, как треснет сверху! Я и полетел через голову!.. Да ничего, кость здоровая.

Доктор взял губку, смочил ее и потершею Бартона.

— Это-то ничего, — сказал тот, — вот в боку дыра — это поважнее.

— Ну, все-таки, — сказал доктор, — лечить, так лечить!

Бартон начал стонать. Доктор, приблизив к шее Бартона сильную лупу, увидел интересную вещь. На белой полоске кожи ясно обозначался рисунок синего цвета, похожий на старинные фотографии; контуры его были расплывчатые, но до странности походили на всем известную статую "Ленивой Матери". Поднятые вверх руки статуи обозначились особенно ясно. Внизу с раскинутыми руками и ногами лежал человек.

— Да, это синяк, — сказал доктор, — синяк и ничего более... Подождите немного.

Он вышел в другую комнату, думая о том, как неожиданно открылся автор преступления, обеспокоившего зурбаганцев. Вскоре явился вызванный в больницу начальник полиции.

— Первый раз в жизни слышу о такой штуке! — воскликнул он на заявление доктора.

— То ли еще делает молния, — возразил доктор.— Молния фотографирует иногда еще удачнее, чем в этом случае. А что вы скажете на свидетельство науки, что молния, не ранив человека, может раздеть его донага, не расстегивая воротника и манжет и не развязывая башмачных шнурков? Все это — загадочные явления одного порядка с действием смерча, когда, например, черепицы на крышах оказываются перевернутыми в том же порядке, но левой стороной вверх. Нет, снимок вышел удачный.

— Надеюсь, — сказал чиновник, — что этих ручных кандалов, что у меня в руках, не снять даже молнии. Я иду надеть их на негатив.

## ЗАГАДКА ПРЕДВИДЕННОЙ СМЕРТИ

### I

Чудовищная впечатлительность Эбергайля поднялась в последний день его жизни на такую высоту, с какой смотрит разум, стоящий на границе безумия. Утром он пробудился с явственным ощущением топора, касающегося его шеи. Мысль о топоре и отделении посредством его головы от туловища стала за последнее время постоянным спутником Эбергайля; он тщательно исследовал роковой момент, стараясь привыкнуть к нему и понять то, что в самый последний миг отойдет вместе с ним, как ощущение и мысль, — в тьму. Его представление о действии топора было ярко до осязательности, хотя длилось, обнимая процесс отсечения головы, ровно то ничтожное количество времени, в течение которого шестифунтовое лезвие, пущенное сильными руками со скоростью двух сажен в секунду, проходит вертикальное расстояние в три вершка — толщину шеи.

Подобной молниеносности точного представления, включающего холод в ногах, му-

чительную остановку сердца, спазму дыхательных путей, мгновение тишины, судорожный, страшный глоток в момент удара, ощущение взрыва мозга, паралич отделенных от головы, но чувствуемых еще некоторое время конечностей, — и забвение — подобного, созданного силой воображения, точного знания казни Эбергайл достиг не сразу. Постепенно, ощупью, как человек, отыскивающий в темной комнате нужный ему предмет, Эбергайл нащупывал и спрашивал мыслью все свое тело, все части и органы его и даже процессы органов, он подходил к каждому из них с терпением учителя глухонемых, подвергал их действию внутреннего света, который уже горел в нем с момента объявления приговора. Итак, он получал сначала бессвязные, противоречивые ответы, потому что воображение его не сразу достигло того напряжения, при котором возможно стать любой из частей собственного своего организма, но, упражняясь далее, он мог ясно вообразить себя в себе, чем угодно: шейным позвонком, гортанью, артерией, щитовидной железой, кожей и мускулами. Тогда он приучился подвергать себя — в каждом из этих воображаемых состояний — мысленному удару топора, и делал так до тех пор, пока из тысяч представлений не начинало, как бы эхом физического воздействия, властно завладевать его сознанием и уверенностью одно,

правдивость которого он улавливал в страхе, овладевавшем им после каждого из этих немых голосов тела, обреченного смерти.

Накануне казни, встав рано, Эбергайль, как уже сказано, ясно почувствовал медленно входящий в его шею топор. Он вынул его руками, сзади, из-под затылка, со всей болью представления об этом, и, поборов, таким образом, физическую галлюцинацию, лежал несколько минут обессиленный, думая все-таки о топоре и шее. Когда он думал об этом, ему было менее страшно и беспокойно, чем в минуты бессилия овладеть упорно повторяемым представлением. Прикованный к хорошо понятому, обдуманному и близкому ужасу, благодаря точному знанию того, что представляет собой вся пыль времени сотой части секунды в момент удара, — Эбергайль, несомненно, владел ужасом, зная, в чем он. Ужас не мог быть более самого себя. Но, если подобно тиканью карманных часов, исчезающему на время для утомленного слуха, исчезла отчетливая подробность и ясность ужаса, — Эбергайль падал духом. Страх, тяжелый, как удар молнии, делал его животным. Он верил тогда в непостижимость и неожиданность ужаса, что было для него нестерпимо; он хотел знать.

Под вечер Эбергайля посетил ученый Коломб, человек пытливый и жестокий до равнодушия к самым ужасным мукам созна-

ния. Последние часы людей, уверенных в близкой смерти, особенно интересовали его. Он увидел на фоне решетчатого окна человека в холщевом колпаке и таком же халате; незабываемое, — хотя, по внешности, обыкновенное, — лицо этого человека выражало сосредоточенность. Солнце заходило, охладевшие лучи его бросали на пол, к порогу камеры, резкую тень арестанта, тень, которую ему суждено было увидеть только еще раз — завтра утром, и то, — в случае ясной погоды.

”Его мозг в огне”, — подумал Коломб.

Эбергайль действительно смотрел внутрь себя. Глаза его остановились на Коломбе и вспыхнули: он увидел еще одну шею, в которую без труда сунул топор.

— Во имя науки ответьте мне на некоторые вопросы, — кротко сказал Коломб, — это, может быть, развлечет вас.

— Развлечет, — сказал Эбергайль.

— Как вы совершили преступление?

— Два выстрела.

— Нет, — пояснил Коломб, — мне хочется знать иное. Совпало ли ваше представление о преступлении с действительностью?

— Да. Я очень долго обдумывал это. Я был уверен, что он, выходя от моей жены и увидев меня с револьвером, сделает шаг назад, раскрыв рот. Затем он должен был закрыться рукой снизу вверх. В следующий момент я выстрелю ниже его локтя два раза,

зная, что скажу: "а-га!", и он попятится, затем упадет сам, нарочно притворяясь убитым, чтобы избежать новых выстрелов, но, падая, умрет через пять секунд. Все произошло именно так; некоторое актерство в его падении я заметил потому, что он закрыл левой рукой глаза и упал, повернувшись ко мне спиной вверх. Я прострелил ему сердце. Он не мог умереть стоя и падать, делая такой ненужный жест, как закрытие глаз. Следовательно, он был жив, падая; и знал, что делает.

— О чем думали вы эти дни?

— О шее и топоре.

— А сегодня? — записывая, сказал Колomb. — Сегодня вы думали, мой друг, конечно, о количестве времени, остающемся вам, не так ли?

— Нет. О топоре и шее.

— А сейчас?

— О топоре и шее.

— Можете ли вы говорить со мной о моменте оглашения приговора?

— Нет, — злорадно сказал Эбергаиль, — я, к счастью, не могу более думать и разговаривать ни о чем, кроме шеи и топора.

## II

На рассвете спавший Эбергаиль вскочил, дико крича, умоляя о пощаде, угрожая и плача. Его разбудил долгий звон ключа. Он

тотчас, пока еще не открылась дверь, выхватил из окрашенного сном сознания самое дорогое, что у него было теперь: точное переживание удара по шее — и замер, окаменев. Вошел начальник тюрьмы, без солдат, и тотчас же притворил дверь.

— Успокойтесь, — сказал он. — Вы должны знать это, иначе бывали случаи смерти от разрыва сердца на эшафоте. Я изменяю долгу, но, жалея вас, пришел предостеречь от ненужных волнений. Вы казнены не будете, Эбергаиль.

— Я или Эбергаиль? — спросил тот, хитро прищуриваясь.

— Вы, Эбергаиль.

— Я, Эбергаиль. Очень хорошо. Дайте пить.

Он поднес кружку к губам и расхохотался в воду, так что расплескал все.

— Церемония экзекуции, — сказал начальник тюрьмы, — будет выполнена вся, но топор не опустится.

— Не?! — спросил Эбергаиль.

— Нет.

— Опустится или не опустится?

— Не опустится.

Он хотел прибавить еще несколько слов о необходимости предсмертной "игры", но Эбергаиль вдруг упал на колени и поцеловал его сапог, и поцелуй этот был тяжел от счастья, как удар молотом.



Начальник тюрьмы вышел, крепко обтер глаза кистью руки и невольно посмотрел на сапог. Лак блестел ярче, чем обыкновенно. Начальник прикоснулся к нему, и пальцы его стали красными — от крови губ Эбергайля, губ, не пожалевших себя.

Эбергайль кружился по камере, как пьяный, тыкаясь в стены. Он был полон мгновением, хотел думать о нем, но не мог, потому что внезапная слепота мысли — результат потрясения — сделала его счастливым животным. Бешеный восторг, подобно разливу, расправлял в его душе свой безбрежный круг, и Эбергайль тонул в нем. Наконец он ослабел той тихой радостной слабостью, какая известна детям, долго игравшим на воздухе, — до огней в доме и сумеречных звезд неба. И мысль вернулась к нему.

— Да! Ах! — сказал Эбергайль. — Славная, милая каторга! Я буду на каторге, буду жить! Как хорошо работать до изнурения! Хорошо также волочить ядро, чувствовать себя, свою ногу, живую! Замечательное ядро. Рай, а не каторга!

Снова загремел ключ, и Эбергайль встал с сияющими глазами. Он знал, что лезвие не опустится. С чувством внутреннего торжества притворился он, как мог, потрясенным, но покорным судьбе, исповедался, выслушал напутствие священника и сел в телегу. Шествие, сверкая обнаженными саблями, тро-

нулось среди густой, азартной толпы к месту казни. Эбергайль слышал, как кричали "Убийца!" и радостно повторял: "Убийца". Он ласково подмигнул кричавшим ругательства и погрузился в созерцание высоко поднятого, но не опущенного топора.

### III

Взойдя на помост со связанными за спиной руками, Эбергайль важно и снисходительно осмотрел сцену тяжелой игры. Плаха в виде невысокого столба, окованного железными обручами, выглядела совсем не безобидно, и это, хотя не смутило Эбергайля, но поразило его совпадением с его собственным, точным представлением о ней, — в вопросе о шее и топоре. Возле плахи, на небольшой скамье, в раскрытом красном футляре блестел топор, и Эбергайль сразу узнал его. Это был тот самый топор полумесяцем, с круглой дубовой ручкой, который вчера утром невидимо рассек ему шею.

Эбергайль невольно снова соединил в уме три вещи: поверхность плахи, свою шею и острие, входящее в дерево сквозь шею; он убедился благодаря этому, что точное знание сложного в своем ужасе истязания осталось при нем. Тотчас же, с присущей ему живостью и неопишуемой силой воображения

создал он новое знание — знание отсутствия удара, и стал слушать чтение приговора, внимательно рассматривая палача в сюртуке, черных перчатках, цилиндре и черном галстуке.

Лицо палача, заурядное своей грубостью, ничем не выделившей бы его в простонародной толпе, влекло к себе взгляд Эбергайля; в лице этом, благодаря власти безнаказанно, при огромном стечении народа, днем, отрубить человеческую голову, была змеиная сила очарования.

За пустым пространством вокруг эшафота смотрела на Эбергайля тихо дышащая толпа.

Палач подошел к Эбергайлю, взял его за плечи, пригнул к плахе и громко сказал:

— Господин Эбергайль, положите вашу голову вот сюда, лицом вниз, сами же станьте на колени и не шевелитесь, потому что иначе я могу нанести неправильный, плоский удар.

Эбергайль стал так, как сказал палач, и, свесив подбородок за край плахи, невольно улыбнулся. Внизу, под его глазами, был шероховатый, свежий настил с небольшой щелью меж досок. Он слышал запах дерева и зелени.

Голос сзади сказал:

— Палач, совершайте казнь.

Не видя, Эбергайль знал уже, что в следующее мгновение топор поднят. Он ждал,

когда ему прикажут встать. Но все молчали, и он продолжал стоять в своей неудобной позе минуту, другую, третью, ясно чувствуя течение времени. Молчание и неподвижность вокруг продолжались.

”Тогда ударит, — мертвея, подумал Эбергайлль. — Меня обманули”.

Страшная тоска остановила его хлопающее по ребрам сердце, и точное знание удара неудержимо озарило его. Он судорожно глотнул воздух, чувствуя, как, после пробежавшего по всему телу огненного вихря, шея его стремительно вытянулась и голова свесилась до помоста; затем умер.

Человек в перчатках, приподняв топор, услышал:

— Остановитесь, палач. Казнь отменяется.

Палач опустил топор к ногам. Через мгновение после этого голова Эбергайлля, продолжавшего неподвижно стоять у плахи, отделилась от туловища и громко стукнула о помост под хлынувшей на нее из обрубка шеи, фыркающей, как насос, кровью.

\* \* \*

— Палач ударил,— сказал Консейль.

Коломб внимательно пробежал еще раз газетную заметку о странной казни и взял фельетониста за пуговицу жилета.

— Палач не ударил. — Он поднял руку вверх, изображая движение топора. — Топор остановился в воздухе вот так, и, после известных слов прокурора, описал дугу мимо головы преступника к ногам палача. Это продолжалось секунду.

— В таком случае...

— Г о л о в а у п а л а с а м а.

— Оставьте мою пуговицу, — сердито сказал Консейль. — Теперь, действительно, будут спорить, сама или не сама упала голова Эбергайля. Но если вы оторвете пуговицу, я не стану утверждать, что она свалилась самостоятельно.

— Если бы пуговица думала об этом так упорно, как голова Эбергайля...

— Да, но вы академик.

— Оставим это, — сказал Коломб. — Очевидность часто говорит то, что хотят от нее слышать. Эбергайль — великий стигматик.

— Прекрасно! — проговорил, выходя из кофейни, через некоторое время, Консейль. — Я осрамлю вас завтра, Коломб, в газете, как восхитительного ученого! А, впрочем, — прибавил он, — не все ли равно — сама упала голова или ее отсекли? И что хуже — рубить или заставить человека самому себе оторвать голову? Во всяком случае, палач сел между двух стульев, и ему придется хорошо подумать об этом.

## ПРОИСШЕСТВИЕ В КВАРТИРЕ Г-ЖИ СЕРИЗ

”Мало на свете мудрецов,  
друг Горацио”.

*Шекспир наизнанку.*

### I

Калиостро не умер; его смерть выдумали явно беспомощные в достижении высших истин рационалисты. Во времена Калиостро или, вернее, в ту эпоху, когда великий человек этот стоял на виду, рационалисты были еще беспомощнее. У них накопилось кое-что, правда: Ньютоново яблоко, Лавуазье и т. п., но какими пустяками казалось это в сравнении с циклопическими знаниями знаменитого Калиостро! Ламбаль и Прекрасная Цветочница своевременно убедились в них<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Принцесса Ламбаль, подруга Марии-Антуанетты, зверски убитая во время сентябрьских убийств. Прекрасная Цветочница — прозвище девушки из народа, посаженной на раскаленные острия пик санкюлотов по приказанию Теруан-де-Мерикур, любовницы Марата. Смерть обеих была предсказана Калиостро в 1789 году.

Итак, рационалисты, эмпирики и натуралисты смертельно завидовали Калиостро, бессмертному и неуязвимому в своей мощи. Они ловко использовали то обстоятельство, что гениальный итальянец встретил ледяной прием в столице нашего отечества, а двор Екатерины, воспитанный на малопитательном для ума смещении юмориста Вольтера с стеклоделом Ломоносовым и футуристом Тредьяковским, не мог усвоить всей ценности знаний своего великого гостя.

Неуспех Калиостро приписали его бессилию, а отсюда заключили, что он смертен. Никто, правда, не видел его гроба, но общий голос решил: "помер, где-нибудь; тайно, стыдливо помер; помер, как пить дать". И это рационалисты! Но он, как сказано, не погрешил этим.

Калиостро, наскучив колоссальным театром истории, кою наблюдал около пяти тысяч лет, оставил мудрую Клио и удалился на одну из Гималайских вершин — Армун, затерянную в обширных джунглях. Это произошло в 1823 году. На Армуне Калиостро занялся чистым знанием: постижением начала вселенной — занятие, малопривлекательное игроку на биллиарде или ялтинскому проводнику, но единственное, на чем мог сосредоточить теперь пламя своего ума Калиостро, знающий все. Воспитанник халдейских жрецов, основатель масонских лож и сенешал Розенкрей-

церов, — он не очень-то стеснялся на Армуне с покорной ему материей. Сложное, непреодолимое движение его воли мгновенно перевело идею предметов в первооснову материи; она, забушевав, приняла послушные формы, и на снеговой вершине Армуна сверкнул, как выстрел, мраморный дворец, застыв в законной неподвижности веса и трех измерений.

## II

В конце июля 1914 года большой пантакль Соломона, лежавший на письменном столе Калиостро, издал тихий звон и на краях его вспыхнули голубые пятна тусклого, как сумерки, света. Это указывало на сотрясение мирового эфира. Заинтересованный Калиостро посмотрел в овальное зеркало Сведенборга и увидел символы огромной войны, предсказанной Сен-Жерменом еще в 1828 году. Множество других признаков подтверждало это: резец из горного хрусталя, укрепленный над девственным пергаментом, писал знак Фалега, духа планеты Марс; неподвижно висевший в воздухе цветок Мира завял, и тень крови пала на благородное чело бюста Агриппы.

Согласно договору, заключенному лет триста назад между Калиостро и десятью сефиротами, элементалами Белой магии, — Ка-



лиостро мог постигать смысл текущих событий и развитие их не иначе, как совершив предварительно акт Добра, направленный против Самоэля, духа яда и смерти. Вспомнив это и горя желанием проникнуть в разум событий, он немедленно приступил к действиям.

— Мадим, Цедек, Шелом-Иезодот, — тихо сказал он, — ко мне! Моя мысль — моя воля!

Погас свет, и тотчас в глубоком мраке наметились гигантские очертания трех сефиротов; контуры эти колебались, светились — напряглись, получили непроницаемость, вес, тело, дыхание — и пол скрипнул под их ногами.

Цедек был сефирот прямоты, Мадим — страшной силы, Шелом-Иезодот — разрушителем оснований, то бишь принципов.

— Цедек, разбей воздух на запад, — сказал Калиостро, — Мадим, уничтожь пространство, а ты, Шелом-Иезодот, как самый ленивый, получишь более всех работы. Разрушь мое принципиальное равнодушие к судьбе людей!

Вновь вспыхнул свет; фантомы исчезли; беззвучный ураган молнией пролетел от Армуна к Бельгии; пространство пало, воздух исчез полосой в сто футов, а непоколебимое равнодушие Калиостро сменилось доброй улыбкой. И вот первое, что увидел он в стране горя и что должно было послужить взяткой сефиротам за единение с Разумом событий, именуемым Ацилут.

### III

В маленькой, но чистой квартире, соблазнительно уютной и светлой, сидела в кресле ушедшего под форты мужа маленькая госпожа Сериз. Опишем наружность ее, которая понравилась Калиостро: чистый, правильный лоб, мягкий профиль, темнорусые волосы, нежный рот и все нежное. Взгляд ее темных глаз был важный и милостивый, и светилось в нем порядочно некой хорошей глупости, что извинительно, так как юной женщине этой было всего двадцать лет. Глаза ее были вчера заплаканы, а сегодня остались в них следы слез — тяжесть ресниц.

Госпожа Сериз занималась вот каким делом: она читала роман, судьба героев которого напоминала ее судьбу; в этом романе Альберт Вуаси тоже ушел на войну и у него тоже была жена. Разумеется, г-жа Сериз сделала эту жену собой, а господина Вуаси — господином Сериз. В процессе чтения вздумалось ей загадать следующее: если Вуаси благополучно вернется, то и Сериз благополучно вернется, а если Вуаси неблагополучно вернется, то и Сериз последует его примеру. С пылкостью, свойственной любви и молодости, г-жа Сериз тотчас же уверовала в гадание и гадала уже триста пятнадцатую страницу, как вдруг, перевернув ее, увидела карандашную надпись, выведенную кем-то на

переплете: "Дико и некультурно вырывать страницы; на это способен только немец; стыдитесь, неизвестный вырванец!"

Увы! последние страницы были вырваны! А г-жа Сериз и не подозревала этого! Гадание, таким образом, кончалось на следующих словах: "Шатаюсь от усталости, Альберт Вуаси обнажил палаш и кинулся к по...". Дальше шла вышеупомянутая справедливая надпись. Г-жа Сериз топнула обеими ножками и едва не заплакала. Что произошло с Вуаси? И к чему кинулся он, к какому такому "по...". Если это — пороховой погреб — от Вуаси мало чего осталось. Если — по... лку, то он тоже не выстоял один против сотен людей. Если — по...гибели, то... каждый понимает, что это значит и не следовало писать такой глупый роман.

Видя огорчение госпожи Сериз, Калиостро, стоя на вершине Армуна, мыслью приказал явиться новому взводу сефиротов. То были: Бина, сефирот Разумного действия, Хесед, сефирот Сострадания и Нэтцах — Стойкость победы. С крыльев их сыпался свет, их глаза заботливо смотрели на Калиостро, повиновались которому они охотно и без капризов.

— Я думаю, — сказал Калиостро, — я думаю нечто, что должно быть исполнено. Моя мысль — мое приказание!

Тотчас же сефироты прониклись его желаниями и скрылись. Бина, исчезая, усмехнул-

ся: ему нравилось интересное поручение. В мгновение, столь быстрое, что оно не было даже временем, он принял вид Альберта Вуаси и явился перед г-жой Сериз, которая к этому моменту была лишена Калиостро способности изумляться — на время визита Бины. Ее состояние допускало теперь, незаметно для нее самой, принимать как должное все, что бы она не увидела.

— Здравствуйте, г-жа Сериз! — сказал Вуаси-Бина, оправляя гусарский ментик, — "...следнему неприятельскому солдату".

— Г-н Вуаси! — строго заявила г-жа Сериз. — Вы исчезли с триста пятнадцатой страницы, хотя должны были знать, что я гадаю на вас. Вы исчезли, оставив это страшное "по...".

— Так, — сказал Вуаси-Бина. — Я кинулся к последнему неприятельскому солдату и взял его в плен.

— Так ли, г-н Вуаси?

— Да, это так. Поверьте, мне лучше знать: ведь я герой того романа, что лежит на вашем столе. Впоследствии, когда вам попадет в руки второй, целый экземпляр этой книги, вы почувствуете ко мне полное доверие.

— Значит, вы благополучно вернулись?

— Чрезвычайно благополучно. Настолько благополучно, что советовал бы некоторым дамам гадать на мою особу, — в известных целях.

Г-жа Сериз покраснела и стала кашлять. Она покашляла с минуту, не более, но так

выразительно, что Бина-Вуаси счел долгом помочь ей.

— Г-н Сериз, конечно, здоров, — сказал он. — Он вернется.

— Вы думаете?

— Я знаю это. Ему ворожила очаровательная бабушка будущих своих внуков.

Г-жа Сериз, в виде благодарности, заинтересовалась положением самого Вуаси.

— Так вы, значит, женились на мадемуазель Шеврез?

— Как полагается.

— По любви?

— Да.

— И были ей хорошим мужем?

— Сударыня, — возразил Вуаси-Бина, — автор в противном бы случае не сел бы писать роман.

Г-жа Сериз растроганно протянула ему руку. Но окончился срок сефирота: материя, коей был облечен он, распалась в ничто, и рука женщины встретила пустоту и вернулось изумление.

— Что это? — сказала она, вздрагивая. — Я, кажется, слишком много думала об этом романе. С кем говорила я? Ах, тоска, тоска! Был здесь г-н Вуаси или нет? Если он был, то уход его не совсем вежлив.

Она томила, и тут начал работать Хесед, коему поручено было рассмешить г-жу Сериз, это во-первых, и внушить ей Радостную уве-

ренность — во-вторых. Сефирот оживил фотографию г-на Сериз, стоявшую на каминной доске. Как только взгляд г-жи Сериз упал на этот портрет — с ним произошли поразительные, странные вещи: левая рука ловко закрутила черный, молодой ус; один глаз комически подмигнул, а другой стал вращаться непостижимым, но совершенно не безобразным образом, и г-жа Сериз окаменела от удивления. А глаз все подмигивал, ус все топорщился, и было это так нежно и смешно, что г-жа Сериз, не выдержав, расхохоталась. Этого и добивался Хесед; тотчас же он проник в доступное в эту минуту сердце женщины и Радостная уверенность была с ней. Конечно, она долго протирала глаза, когда портрет успокоился, но это ничего не сказало ей; она бессильна была решить — было то, что было, или же было то, чего не было? Так гениальный Калиостро распорядился ее сознанием.

#### IV

Третий сефирот, Нэтцах, очутился на гребне бельгийского окопа и тщательно поймал своею крепкой, как алмаз, рукой штук девять шрапнельных пуль, готовившихся пробить г-на Сериз. Он так и остался при нем, щелкая время от времени пальцем по неко-

торым весьма назойливым гранатам и бомбам. Сефироты, как и люди, нуждаются в отдыхе; отдых Нэтцаха, когда он предавался ему, состоял в том, чтобы портить неприятельские материалы. Он трансформировал взрывчатые вещества, делая из пороха нюхательный табак, — тогда при выстреле все чихали, и чихали так долго, что уж никак не могли взять верный прицел; или забивал пулеметы сжатым ветром, отчего пули их летели не далее трех шагов.

Много поднялось к небу душ с поля сражения, но не было среди них ни одной немецкой души. "Есть ли душа у немца?" — размышлял сефирот. Оставим его решать этот вопрос: мы уже решили. Есть, но она в пятках и не показывается.

Калиостро посмотрел в зеркало Свенденборга и увидел, что приказания выполнены. Тогда он взглянул вверх, к высокому потолку, где в сумерках снегового вечера тихо плавали чудесные лилии Ацилута — Мира сияния. Лилии издавали тонкий, прекрасный аромат, и аромат этот был Разум событий, и Калиостро погрузился в него. Каждому открыт Разум событий, кто поступает, как поступил Калиостро, но немногие знают это.

Вокруг вершины Армуна бушевала метель. К огромному зеркальному окну дворца подошел каменный баран; гордые, голодные глаза его выразительно смотрели на

Калиостро, а на великолепных рогах белел снег.

— Ступай, дикий, ступай, — сказал Калиостро, — немного вниз и немного налево! Там есть еще довольно травы.

Баран исчез, и был ему по его бараньему положению — травяной кусок хлеба.

Так жил могущественный Калиостро на пике горы Армун, в северном Индостане, где никогда и никто не видел его. Все, описанное здесь, — истинно, и в заключение можем мы привести одну из семи тайных молитв Энхерициона, читаемую по воскресеньям:

”Избави меня, Господь, свое создание, от всех душевных и телесных страданий, прошедших, настоящих и будущих. Дай мне, по благодати твоей, мир и здоровье и яви свою милость мне, слабому твоему созданию!”



## НОЧЬЮ И ДНЕМ

### I

В восьмом часу вечера, на закате лесного солнца, часовой Мур сменил часового Лиды на том самом посту, откуда не возвращались. Лид стоял до восьми и был поэтому сравнительно беспечен; все же, когда Мур стал на его место, Лид молча перекрестился. Перекрестился и Мур: гибельные часы — восемь — двенадцать — падали на него.

— Слышал ты что-нибудь? — спросил он.

— Не видел ничего и не слышал. Здесь очень страшно, Мур, у этого сказочного ручья.

— Почему?

Лид подумал и заявил:

— Очень тихо.

Действительно, в мягкой тишине зарослей, прорезанных светлым, бесшумно торопливым ручьем, таилась неуловимая вкрадчивость, баюкающая ласка опасности, прикинувшейся безмятежным голубым вечером, лесом и прозрачной водой.

— Смотри в оба! — сказал Лид и крепко сжал руку Мура.

Мур остался один. Место, где он стоял, было треугольной лесной площадкой, одна сторона которой примыкала к каменному срыву ручья. Мур подошел к воде, думая, что Лид прав: характер сказочности ярко и пышно являлся здесь, в диком углу, созданном как бы всецело для гномов и оборотней. Ручей не был широк, но стремителен; подмыв берега, вырыл он в них над хрустальным течением угрюмые, падающие черной тенью навесы; желтые как золото, и зеленые, в водорослях, крупные камни загромождали дно; раскидистая листва леса высилась над водой пышным тeneвым сводом, а внизу, грубым хаосом бороздя воду, путались гигантские корни; стволы, с видом таинственных великанов-оборотней, отходя ряд за рядом в тишину диких сумерек, таяли, становясь мраком, жуткой нелюдимостью и молчанием. Тысячи отражений задремавшего света в ручье и над ним создали блестящую розовую точку, сиявшую на камне у берега; Мур пристально смотрел на нее, пока она не исчезла.

— Проклятое место! — сказал Мур, пытливо осматривая лужайку, словно трава, утоптанная его предшественниками, могла указать невидимую опасность, шепнуть предостережение, осенить ум внезапной догадкой. — Сигби, Гок и Бильдер стояли тут, как стою я. Тревожно разгуливал огромный Бирон,

разминая воловьи плечи; Гешан, пощипывая усики, рассматривал красивыми, бараньими глазами каждый сучок, пень, ствол... Тех нет. Может быть, ждет и меня то же... Что то же?

Но он, как и весь отряд капитана Чербеля, не знал этого. В графе расхода солдат среди умерших от укусов змей, лихорадки или добровольного желания скрыться в таинственное ничто, что было не редкость в летописях ужасного похода, среди убитых и раненых Чербель отметил пятерых "без вести пропавших". Разные предположения высказывались отрядом. Простейшее, наиболее вероятное объяснение нашел Чербель: — "Я подозреваю, — сказал он, — очень умного, терпеливого и ловкого дикаря, нападающего неожиданно и бесшумно".

Никто не возразил капитану, но тревога воображения настойчиво искала других версий, с которыми возможно связать бесследность убийств и доказанное разведчиками отсутствие вблизи неприятеля. Некоторое время Мур думал обо всем этом, затем соответственно настроенный ум его, рискуя впасть в суеверие, стал рисовать кошмарные сцены тайных исчезновений, без удержки мчась дорогой большого страха к обрывкам фантазии. Ему мерещились белые перерезанные шеи; трупы на дне ручья; длинные, как у тени в закате, волосатые руки, тянущие-

ся из-за стволов к затылку цепенеющего солдата; западни, волчьи ямы; он слышал струнный полет стрелы, отравленной молочайниками или ядом паука сса, похожего на абажурный каркас. Хоровод лиц, мучимых страхом, кружился в его глазах. Он осмотрел ружье. Строгая сталь затвора, кинжальный штык, четырехфунтовый приклад и тридцать патронов уничтожили впечатление беззащитности; смелее взглянув кругом, Мур двинулся по лужайке, рассматривая опушку.

Тем временем угас воздушный ток света, падавший из пылающих в вечерней синеве облаков, и деревья медленно запахнули на только что перед тем озаренной стороне прозрачные плащи сумерек. От теней, рушивших искристые просветы листвы, от засыпающего ручья и задумчивости спокойного неба повеяло холодной угрозой, тяжелой, как взгляд исподлобья, пойманный обернувшимся человеком. Мур, ощупывая штыком кусты, вышел к ручью. Пытливо посмотрел он вниз и вверх по течению, затем обратился к себе, уговаривая Мура не поддаваться страху и, что бы ни произошло, твердо владеть собою.

Солнце закатилось совсем, унося тени, наполнявшие лес. Временно, пока сумерки не перешли в мрак, стало как бы просторнее и чище в бессолнечной чаще. Взгляд проникал свободнее за пределы опушки, где было ги-

хо, как в склепе, безлюдно и мрачно. Язык страха еще не шептал Муру бессвязных слов, заставляющих томиться и холодеть, но вслушивался и смотрел он подобно зверю, вышедшему к опасным местам, владениям человека.

Мрак наступал, отходя перед судорожным напряжением глаз Мура, и снова наваливался, когда, бессильный одолеть невольные слезы, заволакивающие зрачки, солдат протирал глаза. Наконец одолел мрак. Мур видел свои руки, ружье, но ничего более. Волнуясь, принялся он ходить взад и вперед, сжимая потными руками ружье. Шаги его были почти бесшумны, за исключением одного, когда под упором ноги треснул сучок; резкий в звонкой тишине звук этот приковал Мура к месту. Шум сердца оцепенил его; отчаянный дикий страх ударил по задрожавшим ногам тяжелой как удушье внезапной слабостью. Он присел, затем лег, прополз несколько футов и замер. Это продолжалось недолго; отдышавшись, часовой встал. Но он был уже во власти страха и покорен ему.

Главное, над чем работало теперь его пылающее воображение — было пространство сзади его. Оно не могло исчезнуть. Как бы часто ни поворачивался он, — всегда за его спиной оставалась недостижимая зрению, предательская пустота мрака. У него не было глаз на затылке для борьбы с этим.

С з а д и было везде, как везде было с п е р е д и для существа, имеющего одно лицо и одну спину. За спиной была смерть. Когда он шел, ему казалось, что некто догоняет его; останавливаясь — томился ожиданием таинственного удара. Густой запах леса кружил голову. Наконец Муру представилось, что он умер, спит или бредит. Внезапное искушение поразило его: уйти от пытки, бежать сломя голову до изнурения, раздвинуть пределы мрака, отдаляя убегающей спиной страшное место.

Он уже глубоко вздохнул, обдумывая шаг, подсказанный трусостью, как вдруг заметил, что поредевший мрак резко очертил тени стволов, и ручей сверкнул у обрыва, и все кругом ожило в ясном ночном блеске. Поднималась луна. Лунное утро высветило зелень пахучих сводов, уложив черные ряды теней; в мерцающем неподвижном воздухе под голубым небом царствовало холодное томление света. Невесомый, призрачный лед!

## II

Тщательно осмотрев еще раз опушку и берег ручья, Мур несколько успокоился.

В неподвижности леса, насколько хватал глаз, отсутствовало подозрительное; думая, что на озаренной луной поляне никто не ос-

мелится совершить нападение, Мур благодарно улыбнулся ночному солнцу и стал посреди лужайки, поворачиваясь время от времени во все стороны. Так стоял он минуту, две, три, затем услышал явственный, шумный вздох, раздавшийся невдалеке сзади него, похолодел и отскочил с ружьем наготове к ручью.

”Вот оно, вот, вот!..” — подумал солдат. Кровавые видения ожили в потрясенном рассудке. Тяжкое ожидание ужаса изнурило Мура; мертвея, обратил он мутные от страха глаза в том направлении, откуда прилетел вздох, — как вдруг совсем близко кто-то назвал его по имени, трижды: ”Мур! Мур! Мур!..”

Часовой взвел курок, целясь по голосу. Он не владел собой. Голос был тих и вкрадчив. Смутно знакомый тон его мог быть ошибкой слуха.

— Кто тут? — спросил Мур почти беззвучно, одним дыханием. — Не подходите никто, я буду убивать, убивать всех!

Он плохо сознавал, что говорит. Одна из лунных теней передвинулась за кустами, растаяла и появилась опять ближе. Мур опустил ружье, но не курок, хотя перед ним стоял лейтенант Рен.

— Это я, — сказал он. — Не шевелись. Тише.

Обыкновенное полное лицо Рена казалось при свете луны загадочным и лукавым.

Ярко блестели зубы, серебрились усы, тень козырька падала на искры зрачков, вспыхивающих, как у рыси. Он подходил к Муру, и часовой, бледнея, отступал, наводя ружье. Он молча смотрел на Рена. "Зачем пришел?" — думал солдат. Дикая, нелепая сумасшедшая мысль бросилась в его больное сознание: "Рен убийца, он, он, он убивает!"

— Не подходите, — сказал солдат, — я уложу вас!

— Что?!

— Без всяких шуток! Сказал — убью!

— Мур, ты с ума сошел?!

— Не знаю. Не подходите.

Рен остановился. Он подвергался опасности вполне естественной в таком исключительном положении и сознавал это.

— Не бойся, — произнес он, отступая к лесу. — Я пришел к тебе на помощь, дурак. Я хочу выяснить все. Я буду здесь, за кустами.

— Мне страшно, — сказал Мур, глотая слезы ужаса, — я боюсь, боюсь вас, боюсь всего. Это вы убиваете часовых!

— Нет!

— Вы!

— Да нет же!!

Страшен как кошмар был этот нелепый спор офицера с обезумевшим солдатом. Они стояли друг против друга, один с револьвером, другой с неистово пляшущим у плеча ружьем. Первый опомнился лейтенант.



— Вот револьвер! — Он бросил оружие к ногам Мура. — Подыми его. Я безоружен.

Часовой, исподлобья следя за Реном, поднял оружие. Припадок паники ослабел; Мур стал спокойнее и доверчивее.

— Я устал, — жалобно произнес он, — я страшно устал. Простите меня.

— Поди окуни голову в ручей. — Рен тоном приказания повторил совет, и солдат повиновался. Надежда на помощь Рена и ледяная вода освежили его. Без шапки, с мокрыми волосами вернулся он на лужайку, ожидая, что будет дальше.

— Может быть, мы умрем оба, — сказал Рен, — и ты должен быть готов к этому. Теперь одиннадцать. — Он посмотрел на часы. — Торопясь, я чуть не задохся в этих трудно проходимых местах, но сила моя при мне, и я надеюсь на все лучшее. Стой или ходи, как прежде. Я буду неподалеку. Доверься судьбе, Мур.

Он не договорил, ощупал, будучи запасливым человеком, второй, карманный револьвер и скрылся среди деревьев.

### III

Рен удобно поместился в кустах, скрывавших его, но сам отлично мог видеть поляну, берег ручья и Мура, шагавшего по всем

направлениям. Лейтенант думал о своем плане уничтожения таинственной смерти. План требовал выдержки; опаснейшей частью его была необходимость допустить нападение, что в случае промедления угрожало часовому быстрым переселением на небо. Трудность задачи усиливалась смутной догадкой Рена — одной из тех навязчивых темных мыслей, что делают одержимого ими яростным маньяком. Когда Рен пробовал допустить бесповоротную истинность этой догадки, или, вернее, предположения, его тошнило от ужаса; надеясь, что ошибется, он предоставил наконец событиям решить тайну леса и замер в позе охотника, подкарауливающего чуткую дичь.

Кусты, где засел Рен, расположенные кольцом, образовали нечто, похожее на колодец. Неподвижная тень Рена пересекала его. Думая, что, вытянув затекшую ногу, он сам изменил этим очертания тени, Рен в следующее мгновение установил кое-что поразительное: тень его заметно перемещалась справа налево. Она как бы жила самостоятельно, вне воли Рена. Он не обернулся. Малейшее движение могло его выдать, наказав смертью. Ужас подвигался к нему. В мучительном ожидании неведомого пристально следил Рен за игрой тени, ставшей теперь вдвое длиннее: это была тень-оборотень, потерявшая всякое подобие Рена — оригинала. Вскоре у нее стало три руки и две головы, она

медленно раздвоилась, и та, что была выше — тень тени, — исчезла в кустарнике, освободив черное неподвижное отражение Рена, сидевшего без дыхания.

Как ни прислушивался он к тому, что делалось позади его, даже малейший звук за время метаморфозы с тенью не был схвачен тяжким напряжением слуха; за его спиной, смешав своей фигурой две тени, стоял, а затем прошел некто, и некто этот двигался идеально бесшумно. Он был видимым воплощением страха, лишённого тела и тяжести. Броситься в погоню за неизвестным Рен считал непростительной нервностью. Он видел и осязал душою быстрое приближение неизвестной развязки, но берег силу самообладания к решительному моменту.

В это время часовой Мур стоял неподалеку от огромного тамаринда, лицом к Рену. С неожиданной быстротой густые ветви дерева позади Мура пришли в неопишное волнение, отделив прыгнувшего вниз человека. Он падал с вытянутыми для хватки руками. Колени его ударили по плечам Мура; в то же мгновение падающий от толчка часовой вскрикнул и выпустил ружье, а железные пальцы душили Мура, торопясь убийством, умело и быстро скручивая посиневшую шею.

Рен выбежал из засады. Мутные глаза нападающего обратились к нему. Придерживая одной рукой бьющегося в судорогах солда-

та, протянул он другую к Рену, защищая лицо. Рен ударил его по голове дулом револьвера. Тогда, бросив первую жертву, убийца кинулся на вторую, пытаясь свалить противника, и выказал в этой борьбе всю ловкость свирепости и отчаяния.

Некоторое время, резко и тяжело дыша, ходили они вокруг оглушенного часового, сжимая друг другу плечи. Вскоре противнику лейтенанта удалось схватить его за ногу и спину, лишив равновесия, при этом он укусил Рена за кисть руки. В его лице не было ничего человеческого, оно сияло убийством. Мускулы жестких рук трепетали от напряжения. Время от времени он повторял странные, дикие слова, похожие на крик птицы. Рен ударил его в солнечное сплетение. Страшное лицо помертвело; закрылись глаза, ослабев, метнулись назад руки, и некто упал без сознания.

Рен молча смотрел на его лицо, осунувшееся от боли и бешенства. Но не это изменило и как бы преобразало его, — среди породистых, резких черт выступали иные, разрушающие для пристального взгляда прежнее выражение этого страшного, как маска, лица. Оно казалось опухшим и грубым. Рен связал руки противника тонким ремнем и поспешил к Муру.

Часовой хрипло стонал, растирая шею. Он лежал на своем ружье. Рен зачерпнул каской воды, напоил солдата, и тот слегка ожил.

Усталое лицо Рена показалось ему небесным видением. Он понял, что жив, и, схватив руку лейтенанта, поцеловал ее.

— Глупости — пробормотал Рен. — Я тоже обязан тебе тем, что...

— Вы убили его?

— Убил? Гм... да, почти...

Рен стоял над головой Мура, скрывая от него человека, лежавшего со связанными руками. Часовой сел, держась за голову. Рен поднял ружье.

— Мур, — сказал он, — в состоянии ты точно понять меня?

— Да, лейтенант.

— Встань и уходи в заросли, не оборачиваясь. Там ты подождешь моего свистка. Но боже сохрани обернуться, — слышишь, Мур? Иначе я пристрелю тебя. Итак, ты меня пока не видишь. Иди!

Для шуток не было места. Часовой признавал это, но не понимал ничего. Неуверенные движения Мура выказывали колебание. Рен увидел четверть его профиля и щелкнул курком.

— Еще одно движение головы, и я стреляю! — Он с силой толкнул Мура к лесу — Ну! Ружье остается на лужайке до твоего возвращения. Жди смены. Помни, что я не приходил, и подожди рассказывать до утра.

Мур, пошатываясь, исчез в лунном лесном провале. Рен поднял связанного и прошел с

ним в чашу на расстояние, недоступное слуху. Сложив ношу, он занялся пленником. Связанный лежал трупом.

— Удар был хорош, — сказал Рен, — но чересчур добросовестен.

Он стал растирать поверженному сердце, и тот, болезненно дергаясь, вскоре открыл глаза. Блуждая, остановились они на Рене, вначале с недоумением, затем с ненавистью и горделивым унынием. Он изогнулся, при поднялся, пытаясь освободить руки, и, поняв, что это бесполезно, опустил голову.

Рен сидел против него на корточках. Он боялся заговорить, звук голоса отнял бы всякую надежду на то, что происходящее — сон, призрак или, на худой конец — больной бред. Наконец, он решился.

— Капитан Чербель, — сказал Рен, — происшествия сегодняшней ночи невероятны. Объясните их.

Связанный поднял голову. Любопытство и подозрительность блеснули в его подвижном лице. Он не понимал Рена. Мысль, что над ним смеются, привела его в бешенство. Он вскочил, усиливаясь разорвать путы, тотчас вскочил и Рен.

— Собака-солдат! — заговорил Чербель, но смолк, чувствуя слабость — результат бокса, — и прислонился спиной к дереву. Отдышавшись, он снова заговорил: — Называйте Чербелем того, кто привел вас с ваши-

ми ружьями в эти леса. Мы вас не звали. Повинуясь жадности, которая у вас, белых, в крови, пришли вы отнять у бедных дикарей все. Наши деревни сожжены, наши отцы и братья гниют в болотах, пробитые пулями; женщины изнурены постоянными переходами и болеют. Вы преследуете нас. За что? Разве в ваших владениях мало полей, зверя, рыбы и дерева? Вы спугиваете нашу дичь; олени и лисицы бегут на север, где воздух свободен от вашего запаха. Вы жжете леса, как дети играя пожарами, воруете наш хлеб, скот, траву, топчете посевы. Уходите или будете истреблены все. Я вождь племени Роддо — Бану-Скап, знаю, что говорю. Вам не перехитрить нас. Мы — лес, из-за каждого дерева которого подкарауливает вас гибель.

— Чербель! — с ужасом вскричал Рен. — Я ждал этого, но не верил до последней минуты. Кто же вы?

Капитан презрительно замолчал. Теперь он ясно видел, что над ним издеваются. Он сел к подножию ствола, твердо решив молчать и ждать смерти.

— Чербель! — тихо позвал Рен. — Вернитесь к себе.

Пленник молчал. Лейтенант сел против него, не выпуская револьвера. Мысли его мешались. Состояние его граничило с иступлением.

— Вы убили пять человек, — сказал Рен, не ожидая, впрочем, ответа, — где они?

Капитан медленно улыбнулся.

— Им хорошо на деревьях, — жестко проговорил он, — я их развесил на том берегу ручья, ближе к вершинам.

Это было сказано резким, деловым тоном. Теперь замолчал Рен. Он боялся узнать подробности, страшась голоса Чербея. Капитан сидел неподвижно, закрыв глаза. Рен легонько толкнул его; человек не пошевелился; по-видимому, он был в забытьи. Крупный пот выступил на его висках, он коротко дышал и был бледен, как свет луны, косившейся сквозь листву.

#### IV

Рен думал о многом. Поразительная действительность оглушила его. Он тщательно осмотрел свои руки, тело, с новым к ним любпытством, как бы неуверенный в том, что тело это его, Рена, с его вечной, неизменной душой, не знающей колебаний и двойственности. Он был в лесу, полном беззвучного шепота, зовущего красться, прятаться, подслушивать и таиться, ступать бесшумно, подстергать и губить. Он исполнился странным недоверием к себе, допуская с легким замиранием сердца, что нет ничего удивительного в том, если ему в следующий момент захочется понестись с диким криком



в сонную глушь, бить кулаками деревья, размахивать дубиной, выть и плясать. Тысячелетия просыпались в нем. Он ясно представил это и испугался. Впечатлительность его обострилась. Ему чудилось, что в лунных сумерках качаются высоко подвешенные трупы, кустарник шевелится, скрывая убийц, и стволы меняют места, придвигаясь к нему. Чтобы успокоиться, Рен приложил дуло к виску; холодная сталь, нащупав бьющуюся толчками жилу, вернула ему твердость сознания. Теперь он просто сидел и ждал, когда Чербель очнется, чтобы убить его.

Луна скрылась; близился теплый рассвет. Первый луч солнца разбудил Чербеля; розовое от солнца, сильно осунувшееся лицо его внимательно смотрело на Рена.

— Рен, что случилось? — тревожно сказал он. — Почему я здесь? И вы? Проклятие! Я связан?! Кой черт!..

— Это сон, Чербель, — грустно сказал Рен, — это сон, да, не более. Сейчас я развяжу вас.

Он быстро освободил капитана и положил ему на плечо руку.

— Так, — подумал он, — значит Бану-Скап уходит с рассветом. Но с рассветом... уйдет и Чербель”.

— Капитан, — сказал Рен, — вы верите мне?  
— Да.

— Тогда не торопитесь узнать правду и ответьте на три вопроса. Когда вы легли спать?

— В одиннадцать вечера. Рен, вы в полном рассудке?

— Вполне. Какой вы видели сон?

— Сон? — Чербель пытливо посмотрел на Рена. — Имеет это отношение к данному случаю?

— Может быть...

— Один и тот же сон снится мне подряд несколько дней, — с неудовольствием сказал Чербель, — я думаю, под влиянием событий на посту Каменного Ручья. Я вижу, что выхожу из лагеря и убиваю часовых... да, я душу их...

Темный отголосок действительности на одно страшное и короткое мгновение заставил его вздрогнуть, он побледнел и рассердился.

— Третий вопрос: смерти боитесь? Потому что это не сон, Чербель. Я схватил вас в тот миг, когда вы душили Мура. Да, — две души. Но вы, Чербель, не могли знать это. Я не оставлю вас долго во власти воистину дьявольского открытия; оно может свести с ума.

— Рен, — сказал капитан, замахиваясь, — моя пощечина пахнет кровью, и вы...

Он не договорил. Рен схватил Чербеля за руку и выстрелил.

— Так лучше, пожалуй, — сказал он, смотря на мертвого; — он умер, чувствуя себя Чербелем. Иное "я" потрясло бы его. Майор

Кастро и я закопаем его где-нибудь вечером. Никому более не л з я знать об этом.

Он вышел к ручью и увидел бойкого нового часового — Риделя.

— Опусти ружье, все благополучно, — сказал Рен. — Гулял я, стрелял по козуле, да неудачно.

— Умирать побежала! — весело ответил солдат.

— Кажется, теперь, — сказал сам себе, удаляясь, Рен, — я точно знаю, почему лагерные часовые видели Чербея ночью. О боже, и с одной душой тяжело человеку!

## ТАИНСТВЕННАЯ ПЛАСТИНКА

### I

Крепко сжав губы, наклонясь и упираясь руками в валики кресла, на котором сидел, Бевенер следил решительным, недрогнувшим взором агонию отравленного Гонаседа.

Не прошло и пяти минут, как Гонасед выпил смертельное вино, налитое веселым приятелем. В тот вечер ничто в наружности Бевенера не указывало на его черный замысел. Как всегда, он непомерно хихикал, бегающие глаза его меняли тысячу раз выражение, а когда человека видишь таким постоянно, то эта нервная суетливость способна убить подозрение даже в том случае, если бы дело шло о гибели всего мира.

Бевенер убил Гонаседа за то, что он был счастливым возлюбленным певицы Ласурс. Банальность мотива не помешала Бевенеру проявить некоторую оригинальность в исполнении преступления. Он пригласил жертву в номер гостиницы, предложив Гонаседу обсудить вместе, как предупредить убийство, подготовленное одним человеком, из-

вестным и Гонаседу и Бевенеру, — убийство человека, также хорошо известного Гонаседу и Бевенеру.

Гонасед потребовал, чтобы ему назвали имена.

## II

— Имена эти очень опасны, — сказал Бевенер. — Опасно называть их. Ты знаешь, что здесь, в театре, кулисы имеют уши. Приходи вечером в гостиницу "Красный Глаз", номер 12-й. Я там буду.

Гонасед был любопытен, тучен, доверчив и романтичен. В номере он застал Бевенера, попивающего вино, в отличном расположении духа, громко хихикающего, с карандашом и бумагой в руках.

— Рассказывай же, — сказал Гонасед, — кто и кого собрался убить?

— Слушай! — Они выпили стакан, второй и третий; Бевенер медлил. — Вот что... — заговорил он наконец быстро и убедительно, — сегодня идет "Отелло", Мария Ласурс поет Дездемону, а Отелло — молодой Бардио. Ты, Гонасед, слеп. Все мы, товарищи твои по сцене, знаем, как бешено любит Бардио Марию Ласурс. Она, однако, отвергла его искания. Сегодня в последнем акте Бардио убьет на сцене Марию, убьет, понимаешь, по-настоящему!

— И ты не говорил раньше! — взревел Гонасед, вскакивая. — Идем! Скорее! Скорее!

— Напротив, — возразил Бевенер, загромождавая дорогу приятелю, — идти туда нам незачем. Какие у тебя доказательства намерений Бардио? Ты на шумишь за кулисами, сорвешь спектакль, бездоказательно обвинишь Бардио, и тебя же в конце концов привлекут к суду за оскорбление и клевету?!

### III

— Ты прав, — сказал Гонасед, садясь. — Но каким образом известно тебе? И — что делать? Осталось час с небольшим времени: скоро последний акт... Последний!..

— Как я узнал, — это пока тайна, — сказал Бевенер. — Но я знаю, что делать. Надо сделать так, чтобы Ласурс покинула театр, не допев партию. Напиши ей записку. Напиши, что ты покончил с собой.

— Как?! — изумился Гонасед. — Но какие причины?

— Причин у тебя нет, я знаю. Ты весел, здоров, знаменит и любим. Но чем же иначе вытащить Марию Ласурс? Подумай! Всякое письмо от постороннего, даже с сообщением о твоей смерти, она сочтет интригой, желанием взвалить на нее крупную неустойку. Тому бывали примеры. А кроме смерти близкого

человека, что может оторвать артиста от милых его сердцу рукоплесканий, цветов и улыбок? Ты сам, собственной рукой должен вызывать Ласурс к мнимому твоему трупу.

— Но ты мне расскажешь о Бардио?

— Этой же ночью. Вот бумага и карандаш.

— Как она перепугается! — бормотал Гонасед, строча. — У нее нежное сердце.

Он написал: "Мария. Я покончил с собой. Гонасед. Улица Виктория, гостиница "Красный Глаз".

#### IV

Бевенер позвонил и отдал запечатанную записку слуге, сказав: "Доставьте скорей", — а Гонасед, повеселев, улыбнулся.

— Она проклянет меня! — прошептал он.

— Она будет плакать от радости, — возразил Бевенер, бросая яд в стакан друга. — Выпьем за нашу дружбу! Да длится она!

— Но ты непременно расскажешь мне о подлеце Бардио? Бевенер, мой стакан пуст, а ты медлишь... От волнения кружится голова... да, мне, видишь, нехорошо... Ах!

Он судорожно рванул воротник рубашки, встал и повалился к ногам убийцы, скомкав ползающими руками ковер. Тело его дрожало, шея налилась кровью.

Наконец он затих, и Бевенер встал.

— Это ты, рыжая Ласурс, убила его! — сказал он в исступлении чувств. — Моя любовь к тебе так же сильна, как и покойника. Ты не захотела меня. За это Гонасед умер. Однако я мастерски отклонил подозрение.

Он дал звонок и, прогнав испуганного лакея за доктором, стал репетировать сцену изумления и отчаяния, какую требовалось разыграть при докторе и пораженной Ласурс.

## V

Правосудие в этом деле осталось при пиковом интересе. Подлинная записка Гонаседа к любовнице, гласящая, что певец покончил самоубийством, была неоспорима. Бевенер плакал: "Ах! — говорил он. — С тяжелым чувством шел я в эту гостиницу. Меня пригласил покойный, не объясняя зачем. Мы были так дружны... Стали пить; Гонасед был задумчив. Вдруг он попросил у меня бумагу и карандаш, написал что-то и распорядился послать записку Ласурс. Затем он сказал, что примет порошок от головной боли; высыпал в стакан, выпил и повалился замертво".

Самые проникательные люди разводили руками, не зная, чем объяснить самоубийство жизнерадостного, счастливого Гонаседа. Лаурс, поплакав, уехала в Австралию. Прошел год, и о печальной смерти забыли.



В январе Бевенер получил предложение от фабрики Лоудена напеть несколько граммофонных пластинок. Приняв предложение, Бевенер спел несколько арий за крупную сумму. Между прочим, он спел Мефистофеля: "На земле весь род людской" и, начав петь ее, вспомнил Гонаседа. Это была любимая ария умершего. Он ясно увидел покойного в гриме, потрясающего рукой, поющего — и странное волнение овладело им. Тело одолевала жуткая слабость, но голос не срывался, а креп и воодушевленно гремел. Кончив, Бевенер с жадностью выпил два стакана воды, торопливо попрощался и уехал.

## VI

Месяц спустя в квартире Бевенера собрались гости. Артисты, артистки, музыкальные критики, художники и поэты чествовали десятилетие сценической деятельности Бевенера. Хозяин, как всегда, был нервно смешлив, проворен и оживлен. Среди цветов мелькали нежные лица дам. Сиял полный свет. Приближался конец ужина, когда в столовую вошел слуга, докладывая, что явились от Лоудена.

— Вот кстати, — сказал Бевенер, бросая салфетку и выходя из-за стола. — Привезли граммофонные пластинки, которые я напел

Лоудену. Я прошу дорогих гостей послушать их и сказать, удачна ли передача голоса.

Кроме пластинок, Лоуден прислал прекрасный новый граммофон, подарок артисту, и письмо, в котором уведомлял, что по болезни не мог явиться на торжество. Слуга привел аппарат в порядок, вставил иглу, и Бевенер сам, порывшись в пластинках, остановился на арии Мефистофеля. Положив пластинку на граммофон, он опустил к краю ее мембрану и, обернувшись к гостям, сказал:

— Я не совсем уверен в этой пластинке, потому что несколько волновался, когда пел. Однако послушаем.

## VII

Наступила тишина. Послышалось едва уловимое, мягкое шипение стали по каучуку, быстрые аккорды рояля... и стальной, гибкий баритон грянул знаменитую арию. Но это не был голос Бевенера... Ясно, со всеми оттенками живого, столь знакомого всем присутствующим произношения, пел умерший Гонасед, и взоры всех изумленно обратились на юбиляра. Ужасная бледность покрыла его лицо. Он засмеялся, но смех был нестерпимо пронзителен и фальшив, и все содрогнулись, увидев глаза хозяина. Раздались восклицания:

— Это ошибка!

— Гонасед не пел для пластинок!

— Лоуден перепутал!

— Вы слышите?! — сказал Бевенер, теряя силы по мере того, как голос убитого мрачно гнул его пораженную волю. — Слышите?! Это поет он, тот, которого я убил! Мне нет спасения; он сам явился сюда... Остановите пластинку!

Суфлер Эрис, белый, как молоко, бросился к граммофону. Руки его дрожали; подняв мембрану, он снял пластинку, но в поспешности и страхе уронил ее на паркет. Раздался сухой треск, и черный кружок рассыпался на мелкие куски.

— Мы были свидетелями неслыханного! — сказал скрипач Индиган, подымая осколок и пряча его. — Но что бы это ни было — обман чувств или явление неоткрытого закона, я сохраню на память эту частицу; ее цвет всегда будет напоминать о цвете души нашего милого хозяина, которого теперь так заботливо уводит полиция!

## ЛЬВИНЫЙ УДАР

### I

Трайян только что вернулся с большого собрания Зурбаганской ложи всемирного теософического союза. Блестящее выступление Трайяна против Ордовы, сильнейшего оратора ложи, его могучий дар убеждения, основанного на точных данных современного материализма, его отточенная ирония и невероятная память, бросающая в связи с общим, стройным, как пламя свечи в безветрии, мировоззрением, — тысячи непоколебимых фактов, — лишили Ордову, под конец диспута, самообладания и твердости духа. Материализм, в лице Трайяна, получил, кроме шумных оваций, несколько десятков новообращенных, а Трайян, приехав домой, надел халат, сел поудобнее к железному, художественной работы камину, и красный трепет огня отразился в зрачках его веселых глаз, накрытых черными, крутыми и тонкими, как у красивых женщин, бровями.

Хотя Ордова не появлялся еще в нашем рассказе видимым и говорящим лицом, ин-

тересно все-таки отметить разницу в наружности противников, а наружность в контрасте с их убеждениями. Знаменитый ученый-материалист Трайян обладал внешностью модного, балованного художника, в ее, так сказать, банальной транскрипции: пышный галстук, волосы черные и длинные, пышные, как и холеная борода; безукоризненной чистоты профиль, белая кожа; синий бархатный пиджак — впечатление одухотворенной изысканности; идеалист Ордова коротко стрижся, лицом был некрасив и невзрачен и одевался в скверном магазине готового платья. Странное заключение можно было бы сделать отсюда! Однако рассказ наш лежит не в шутке, и сравнение упомянутых лиц с ошибочно перепутанными масками — все, что мы можем себе позволить по этому поводу.

В кабинете, кроме Трайяна, сидел приехавший с ним генерал Лей, живой, ловкий и любезный старик, настоящий боевой человек, знающий смерть и раны... Лей был поклонником сражений, драки и состязаний вообще, неизменно оставаясь, когда это не касалось патритма, сторонником победителя; бой петухов, тарантулов, быков, бой — диспут ученых — серьезно, увлекательно волновали Лея; он принимал жизнь только в борьбе и лакомством считал поединки.

— Мне кажется, Ордова чувствует себя плохо, — сказал Лей, — и я менее всего хотел бы быть на его месте.

— Он все-таки убежденный человек, — заметил Трайян, — и я, если хотите, заставил его только молчать. Не он побежден сегодня, а его идейный авторитет.

— Ордова обезоружен.

— Да, я обезоружил его, но не покорил, что, впрочем, мне совершенно не нужно.

— Ордова крупный противник, — сказал Лей, — так как стоит на приятной, практически, для масс, точке зрения. "Я умираю, но я же и остаюсь", — какие великолепные перспективы!

— Он слабый противник, — возразил Трайян, — его заключения произвольны, аргументация беспорядочна и, так сказать, экзотична; эрудиция, обнимающая небольшое количество старинных, более поэтических, чем научных книг, достойна всякого сожаления. "Организм умирает, дух остается!" — вот все: вера, выраженная восклицанием; соответственно настроенные умы, конечно, предпочтут этот выкрик данным науки. Однако, таких меньшинство, в чем я и убедил вас сегодняшним выступлением.

— Господин Ордова просит разрешения видеть вас! — сказал, появляясь в дверях, лакей.

Собеседники переглянулись; Трайян усмехнулся, пожав плечами. Лей просиял от любопытства и нетерпения. Несколько мгновений Трайян молчал, обдумывая тон встречи, пока ему не показалось более уместным, как победителю, почтительное и серьезное отношение.

— Просите! — мягко сказал он и продолжал, подымаясь навстречу входившему Ордове: — Очень, очень мило с вашей стороны, что вы навели человека, искренне расположенного к вам, помимо всяких теорий. Садитесь, прошу вас. Ордова — генерал Лей.

Невзрачное, грустное лицо Ордовы выразило легкое замешательство.

— В этот поздний час, господин Трайян, — сказал он таким же грустным, как и его лицо, но решительным и свободным голосом, — я пришел по немаловажному делу к вам лично.

Генерал поклонился и разочарованно протянул руку Трайяну.

— Как лишний, я удаляюсь...

Но Трайян знаком остановил его.

— Не уходите, Лей, я не хотел бы и, вообще, никакой таинственности.

— Извините, — сказал Ордова, — я пришел с коротким, практическим предложением, но такого рода, что намек на третье лицо был излишним. Если генерал Лей находится в курсе вопросов, рассмотренных в сегодняшнем за-

седании и не состоит членом общества покровительства животным, — я без задержек перейду к делу.

— Вопрос идет о животных? — спросил Трайян, рассматривая Ордову в упор. — Однако я хотел бы избежать мистификации.

— Зачем? — искренно возразил Ордова, — когда можно обойтись без всякой мистификации.

— Я и генерал Лей слушаем вас, — коротко заявил Трайян.

Гость поклонился, и все сели; тогда Ордова заговорил:

— Для скептиков, людей предвзятого мнения, людей легкомысленных и людей искренне убежденных существует неотразимо повергающее их оружие — сила факта. Обстановка факта, внешняя и внутренняя его сторона должны быть наглядными и бесспорными. Могли ли бы вы, Трайян, быв очевидцем, даже действующим лицом факта бесспорного, опровергающего нечто весьма существенное в вашем мировоззрении, — явить мужество признанием власти факта?

Трайян подумал и, не найдя в словах Ордовы ловушки, сказал:

— Приняв бесспорность факта существеннейшим и главнейшим условием — да, мог бы, как ученый и человек.

— Хорошо, — продолжал Ордова, — то, что я изложу далее, не требует с вашей стороны



возражений. Вы можете просто, в худшем случае, пропустить это мимо ушей. Внимательное изучение древних восточных авторов, подтвержденное собственными моими опытами, привело меня к убеждению в действительном существовании Духа живой Жизни, духовной основы всякого организма. Естественная смерть существа никогда не бывает достаточно быстрой для того, чтобы освобождение, или исход Духа, произвело резкое впечатление на присутствующих; какими путями совершается это, донныне нам неизвестно, во всяком случае, постепенное освобождение духовной энергии в сравнении с мгновенным истреблением ее путем идеально быстрого уничтожения тела, почти неведомого природе, — относится одно к одному так же, как взрыв пороха — к медленному его сгоранию. Под идеально быстрым уничтожением подразумеваю я не только предшествующий окончательной смерти полный паралич организма, как в случаях разрыва сердца или апоплексии, а полное сокрушение, обращение в бесформенную материю. Вам, Трайян, и вам, генерал, предлагаю я завтра в 12 часов дня быть свидетелями такой смерти, смерти сильного, здорового льва; мой выбор я остановил на этом звере ради его сравнительно небольших размеров, отвечающих условиям опыта, но, главным образом, в силу огромного количества невесомой таинственной энергии или

Духа, заключенного в льве, как в носителе силы.

— Насколько я понял вас, — сказал Трайян, улыбаясь безобидно, как если бы речь шла о сложной и умной шалости, — освобожденный дух льва будет доступен моим физическим чувствам?! Но как и в какой мере?

— Как — не знаю, — серьезно сказал Ордова, — но, ручаюсь, в достаточно убедительной степени. Завод Трикатура отдал в мое распоряжение восьмисотпудовый паровой молот; молот убьет льва. Я не требую у вас участия в расходах по опыту, так как это моя затея; прошу лишь, после составления письменного акта о происшедшем, присоединить свою подпись.

— Согласен, — высокомерно сказал Трайян. — Лей, что вы думаете об этой истории?

Глаза Лея блеснули одушевлением и азартом.

— Я думаю... я думаю, — вскричал он, — что время до двенадцати часов полудня покажется мне тысячелетней пыткой!

— Я жду вас, — сказал Ордова, прощаясь, затем, помолчав, прибавил: — Довольно трудно было найти льва, и я, кажется, немного переплатил за своего Регента. Я ухожу. Не думайте о моих словах, как о шутке или безумстве.

Он вышел; когда дверь закрылась, Трайян сел за стол, уронил голову на руки и раз-

разился истерическим, неудержимым, широким, страшным, гомерическим хохотом.

— Лев!.. — бросал он в редкие секунды затишья, — под паровым молотом!.. в лепешку!.. с хвостом и гривой!.. ведь этого не выдумаешь под страхом казни!.. О, Лей, Лей, как ни самоуверен Ордова, — все же я не ожидал одержать победу сегодня над таким жалким, таким позорно — для меня — жалким противником.

## II

Лев, купленный Ордовой в зверинце Тоде, пятилетний светло-желтый самец крупных размеров, отправился в тесной и прочной клетке к месту уничтожения около одиннадцати часов утра. Льва звали Регент. Его сопровождал опытный укротитель Витрам, человек, в силу профессии, привычки и вдумчивости, любивший животных более, чем людей. Витрам ничего не знал о роковом будущем Регента. Он провожал его за плату, по приглашению, на загородный завод Трикатура; сидя на краю фуры автомобиля, он обращался время от времени к Регенту с ласковыми, одобрительными словами, на что лев отвечал раскатами короткого рева, подобного грому. Фура двигалась окольными улицами; во тьме плотно укутанной брезентовым чехлом клет-

ки лев раздраженно переносил надоедливую оскорбительную тряску долгой езды, неловко прижавшись в угол, ударяя хвостом о прутья и мгновенно воспламеняясь гневом, когда более резкие толчки мостовой принуждали его менять положение. В таких случаях он ревел грозно и долго, с явным намерением устрашить таинственную силу движения, приводящую его, огненной силы, непокорное, мускулистое тело в состояние тягостной неустойчивости. Пойманный уже взрослым, он тосковал в неволе ровной, глухой тоской, лишенной всякого унижения, иногда отказываясь от пищи, если случайный оттенок ее запаха терзал сердце неясными, как забытый, но яркий сон, чувствами свободного прошлого.

— Еще немного потерпи, рыжий, — сказал Витрам, завидев через далекие крыши построек черные башенные трубы завода, изливающие густой дым, — хотя, разорви меня на куски, я не сумею сказать тебе, зачем твое дикое величество переезжает в новое помещение.

Регент, зная по тону голоса, что Витрам обращается к нему, взревел на всю улицу.

— Сбрендил, надо быть, какой-то состоятельный человек, — продолжал Витрам, — потянуло его к зоологии, вообразил он себя римским вельможей, из тех, что разгуливали в сопровождении гепардов и барсов,

и купил нашего Регента. Тебя, старик, посадят в саду, на видном месте, среди так знакомой тебе тропической зелени. Вечером над фонтаном вспыхнет голубая электрическая луна; толпа близоруких щеголей, взяв под ручку молодых женщин со старческой душой и косметическим телом, займется снисходительной критикой твоей внешности, хвоста, движений, лап, мускулов, гривы...

Витрам умолк; лев рывкнул.

— А чем кормят львов? — осведомился шофер.

— Твоими ближними, — сказал Витрам, и шофер, думая, что услышал очень забавную вещь, громко захохотал. Минуту спустя, фургон проезжал мимо рынка; запах сырого мяса заставил Регента круто метнуться в клетке, и все его большое, тяжелое тело заныло от голода. Не зная, где мясо, так как тьма была полной, а запах, проникая в нее, властно щекотал обоняние, — лев несколько раз ударил лапами вниз и над головой, разыскивая обманчиво близкую пищу; но когти его встретили пустоту, и внезапная ярость зверя развернулась таким ревом, что на протяжении двух кварталов остановились прохожие, а Витрам хлопнул бичом по клетке, приглашая к терпению.

Наконец, въехав в ворота, фургон остановился у закопченного кирпичного здания, и

Витрам, прыгнув, подошел к слегка бледному, но спокойному Ордове. Тут же стояли Трайян и генерал Лей.

— Регент приехал, — сказал Витрам, — и так как вы, кроме этого, рассчитывали на мое искусство, — то я к вашим услугам.

Трайян, находя свое положение несколько глупым, молчал, решив ни во что не вмешиваться, но генерал выказал живое участие к хлопотам по сниманию и установке клетки вблизи парового молота.

Это гигантское сооружение терялось верхними частями в мраке неосвященного купола; из труб, слабо шипя, просачивался пахнувший железом и нефтью пар; молот был поднят, саженная площадь наковальни тускло блестела, подобно черной вечерней луже, огнем спущенных ламп.

Витрам еще не догадывался, в чем дело; он проворно развязывал веревки, снимал с клетки брезент; завод пустовал, так как был праздник, и привести молот в действие должен был сам Ордова.

— Как же, Трайян, — сказал Лей, — отнесетесь вы к антрепренеру Ордове, если его постигнет фиаско?

— Очень просто, — хмуро заявил Трайян, смотревший на молот с нетерпением и брезгливостью, — я ударю его по лицу за жестокость и дерзость. Неужели вы, умный человек, ждете успеха?

— А... как сказать?! — возразил генерал с бесстыдством любопытного и жадного к зрелищам человека. — Пожалуй, жду и хочу всем сердцем необыкновенных вещей. Скажу вам откровенно, Трайян: хочется иногда явлений диких, странных, редких, — случаев необъяснимых; и я буду очень разочарован, если ничего не случится.

— Ренегат! — шутливо сказал Трайян. — Вчера вы аплодировали мне, кажется, искренне.

— Вполне подтверждаю это, но вчера в высоте мгновения стояли вы, теперь же, пока что — лев.

— Посмотрите на льва, — сказал подходя Ордова, — как нравится вам это животное?

Брезент спал. Регент стоял в клетке, устремив на людей яркие неподвижные глаза. Его хвост двигался волнообразно и резко; могучая отчетливая мускулатура бедер и спины казалась высеченной из рыжего камня; он шевельнулся, и под шерстистой кожей плавно перелились мышцы; в страшной гриве за ухом робко белела приставшая к волосам бумажка.

— Хорош, и жалко его, — серьезно сказал Трайян.

Лей молчал. Витрам хмуро смотрел на льва. Ордова подошел к молоту, двинув рычаг для пробы двумя неполными поворотами; массивная стальная громада, легко

порхнув книзу и вверх, не коснувшись наковальни, снова остановилась вверху, темнея в глубине купола.

— Ну, Витрам, — сказал, ласково улыбаясь, Ордова, — вы, дорогой мой, должны, как сказано, нам помочь. Регент вас слушается?

— Бывали послушания, сударь, но небольшие, детские, так сказать, вообще он послушный зверь.

— Хорошо. Откройте в таком случае клетку и пригласите Регента взойти на эту наковальню.

— Зачем? — растерянно спросил Витрам, оглядываясь вокруг с улыбкой добродушного непонимания. — Льва на наковальню!?

— Вот именно! Однако не теряйтесь в догадках. Здесь происходит научный опыт. Лев будет убит молотом.

Витрам молчал. Глаза его со страхом и изумлением смотрели в глаза Ордовы, блестящие тихим, влажным светом непоколебимой уверенности.

— Слышишь, Регент, — сказал укротитель, — что приготовили для тебя в этом месте?

Не понимая его, но обеспокоенный нервным тоном, лев, с мордой, превращенной вдруг в сплошной оскал пасти, с висящими вниз клыками верхней, грозной сморщенной челюсти, заревел глухо и злобно. Трайян отвернулся. Витрам, дав утихнуть зверю, сказал:



— Я отказываюсь.

— Тысяча рублей, — отдельно произнес Ордова, — за исполнение сказанного.

— Я даже не слышал, что вы сказали, — ответил Витрам, — я думал сейчас о льве... Такого льва трудно, господа, встретить, более способного и умного льва...

— Три тысячи, — сказал Ордова, повышая голос, — это нужно мне, Витрам, очень, необходимо нужно.

Витрам в волнении обошел кругом клетки и закурил.

— Господа! Я человек бедный, — сказал он с мукой на лице, — но нет ли другого способа произвести опыт? Этот слишком тяжел.

— Пять тысяч! — Ордова взял вялую руку Витрама и крепко пожал ее. — Решайтесь, милый. Пять тысяч очень хорошие деньги.

— Соблазн велик, — пробормотал укротитель, неподдельно презирая себя, когда, после короткого раздумья, остановился перед дверцей клетки с револьвером и хлыстом. — Регент, на эшафот! Прости старого друга!

Ордова, прикрепив к рычагу веревку, чтобы не очутиться в опасной близости к льву, и, обмотав конец привязи о кисть правой руки, поместился сажень в двух от молота. Трайян, желая избежать всякой возможности шарлатанства, тщательно осмотрелся. Он стал вдали от всяких предметов, машин и громоздений железа под электрической лам-

пой, ровно озарявшей вокруг него пустой, в радиусе не менее двадцати футов, усыпанный песком, каменный пол; Лей стоял рядом с Траянном; оба осмотрели револьверы, предупредительно выставив их, на худой случай дулом вперед.

Витрам, звякнув в полной тишине ожидания запорами и задвижками, открыл клетку.

— Регент! — повелительно сказал он. — Вперед, ближе сюда, марш! — Лев вышел решительными крутыми шагами, потягиваясь и подозрительно шурясь; Витрам взмахнул хлыстом, отбежав к наковальне. — Сюда, сюда! — закричал он, стуча рукояткой хлыста по отполированному железу. Регент, опустив голову, неподвижно стоял, ленись повторить знакомое и скучное упражнение. Приказания укротителя становились все резче и повелительнее, он повторял их, бешено щелкая хлыстом, тоном холодного гнева, расталкивая сопротивление льва взглядом и угрожающими жестами: и вот, решив отделаться, наконец, от докучного человека, Регент мягким усилием бросил свое стремительное тело на наковальню и выпрямился, зарывав вверх, откуда смотрела на него черная плоскость восьмисотпудовой тяжести, связанной с слабой рукой Ордовы крепкой веревкой.

Ордова качнул рычаг в тот момент, когда Витрам отскочил, закрыв лицо руками, чтобы не видеть размозжения Регента, и молот миг-

нул вниз так быстро, что глаза зрителей едва уловили его падение. Глухой тяжкий удар огласил здание; в тот же момент толчок шумного, полного жалобных, стонущих голосов вихря опрокинул всех четырех людей, и, падая, каждый из них увидел высоко мечущийся огненный образ льва, с лапами, вытянутыми для удара.

Все, кроме Ордовы, встали; затем подошли к Ордове. Кровь Льва, подтекая с наковальни, мешалась с его кровью, хлещущей из разодранного смертельного горла; жилет был сорван, и на посинелой груди, вспахав ее дымящимися рубцами, тянулся глубокий след львиных когтей, расплющенных секунду назад в бесформенное ничто.

## ОТРАВЛЕННЫЙ ОСТРОВ

### I

По рассказу капитана Тарта, прибывшего из Новой Зеландии в Ахуан-Скап, и согласно заявлению его местным властям, заявлению, подтвержденному свидетельством парходной команды, в южной части Тихого океана, на маленьком острове Фарфонте, произошел случай повального и единовременного, по соглашению, самоубийства всего населения, за исключением двух детей в возрасте трех и семи лет, оставленных на попечение парохода "Виола", которым командовал капитан Тарт.

Остров Фарфонт лежит на  $41^{\circ} 17'$  южной широты, в стороне от морских путей. Он был открыт в 1869 г. хозяином китобойного судна Ван-Лоттом и помечен далеко не на всех картах, даже официальных. Никакого коммерческого и политического значения он не имеет, и Джон Вебстер в своей "Истории торгового мореплавания" презрительно относит подобные острова к разряду "бесполезных мелочей", сообщая, в частности, по от-

ношению к Фарфонту, что остров весьма мал и скалист.

В хронике судового журнала "Виолы" было запротоколено следующее:

"14 июня 1920 года. Сильный зюйд-вест. Весь день сбивало с курса; к вечеру разыгрался шторм. Лишились трех парусов.

15 июня 1920 года. Сорваны ветром грот и фокзейль, поставили запасный грот, идем к югу, матрос Нок упал в море и погиб.

16 июня. Умеренный ветер. В полдень показалась земля. Остров Фарфонт. Бросили якорь. На остров направились капитан Тарт, помощник капитана Инсар и пять матросов".

Эти матросы были: Гаверней, Дрокис, Бикан, Габстер и Строк.

Капитан показал, что перед спуском шлюпки был усмотрен им в зрительную трубу человек, стоящий на берегу; он быстро скрылся в лесу. Рассчитывая в силу этого, что островок населен, капитан, — хотя и не заметил по прибытии шлюпки на берег следов жилья, — был, тем не менее, поставлен в необходимость возобновить запасы провизии и отправиться на розыски жителей. Действительно, скоро были замечены им в небольшой, удивительной красоты долине, среди живописной и щедрой растительности, пять бревенчатых домов, крытых тростниковыми матами. Людей не было видно. Они не появились и тогда, когда капитан выстрелил в воз-

дух из револьвера, желая привлечь этим внимание туземцев. Трубы не дымились, и вообще подчеркнутая странная тишина жилого места сильно удивила Тарта. Он начал обходить здания, двери которых оказались незапертыми, но внутри трех домов не нашел никого, ни спящего, ни бодрствующего. В пятом, по порядку обхода, доме тоже никого не было, но в четвертом путешественники нашли человека, умирающего или находящегося в бессознательном состоянии; он лежал на полу с закатившимися глазами, с лицом бледным и мокрым от пота. Слабый стон конвульсивно вырывался из его горла. Около него стояли сильно напуганные и плачущие мальчик и девочка лет шести-семи.

Капитан стал расспрашивать мальчика, но, не добившись ответа, обратился к девочке. Из ее бессвязного и, видимо, спутанного представления о происшедшем он узнал только, что "все ушли", куда именно, — она не знает; с ней и с маленьким Филиппом остался лежавший теперь без чувств человек "дядя Скоррей". Девочка, которую звали Ли, — сокращенное Ливия, — рассказала также, что Скоррей еще полчаса назад шутил с нею и говорил, что сейчас придут люди, которые увезут ее и Филиппа на "большую землю", где им будет неплохо. Сам же он недавно выпил чего-то из кружки, стоявшей и посейчас на столе. После этого он ска-

зал, что умирает, лег на пол и застонал, а затем сказав Ли: "Отдай письмо человеку с золотыми пуговицами", — и больше они, дети, ничего не знают.

Как ни был силен аромат цветущих у окна кустарников, буквально круживший головы моряков, капитан, понюхав остаток мутной жидкости, сохранившейся на дне кружки, счел нужным, не теряя времени, принять меры к спасению Скоррея. Предполагали, что он отравился. Жидкость обладала неприятным, горьким, густым запахом. Раскрыв стиснутые зубы несчастного складным ножом, Тарт, за неимением под рукой ничего лучшего, стал лить в рот Скоррея водку, но понемногу, дабы бесчувственный не захлебнулся. Через полчаса он опорожнил свою фляжку, Гавернея и Дрокиса. Тем временем матросы вскипятили в глиняном котле воду и обложили нагого Скоррея пучками вымоченной в кипятке травы, сделав таким образом подобие бани. Тарт действовал более по вдохновению, чем по указанию медицины, но, так или иначе, больной перестал хрипеть. Тогда возобновили припарки, применили растирания, и, наконец, больной открыл глаза. Взгляд его был безумен. Он не говорил и не понимал ничего и заговорил лишь ко времени прибытия в Ахуан-Скап, но чрезвычайность его речи оказалась более чем жалкой для разумного существа.

Детей, совершенно утешенных карманными часами Дрокиса, отданными в их распоряжение, и очнувшегося Скоррея на носилках отправили на "Виолу", а капитан занялся расследованием печального случая. Письмо Скоррея, ныне представленное судебным властям, было написано на пожелтевшем от старости заглавном листе библии; вместо чернил употребляли, надо полагать, быстро темнеющий сок какого-нибудь растения. Малограмотные, но загадочные, ужасные строки прочел Тарт. Вот что было написано (без числа):

"Мы все, жители Фарфонта, заявляем и свидетельствуем перед другими людьми, что, находя более жить невозможным, так как все мы помешаны или одержимы демонами, лишаем себя жизни по доброй воле и взаимному соглашению. Настоящее письмо поручено сохранить Иосифу Скоррею до тех пор, пока не наступит возможность вручить его какому-нибудь кораблю или пароходу. Согласно общей просьбе и доброму своему согласию, Скоррей не имеет права лишиться себя жизни, пока не окажется возможным отправить оставленных живыми, за малолетством, детей: Филиппа и Ливию".

Здесь следовали двадцать четыре подписи с обозначением возраста каждого самоубийцы. Самому старшему было сто одиннадцать лет, самому юному — четырнадцать. Недалеко от поселка Тарт обнаружил высо-



кий, свеженасыпанный холм — братскую могилу. Высохшие на деревянном кресте цветы были удалены командой "Виолы" и заменены свежими венками.

— Общее впечатление от всего этого, — заключил свой рассказ капитан Тарт, — было таково, как если бы на наших глазах зарезали связанного человека; мы поторопились, как могли, починить такелаж и утром следующего дня покинули страшный Фарфонт.

## II

Таким образом, "Виола" бросила якорь в Ахуан-Скапе со следующими доказательствами самоубийства целого населения: остатком ядовитой жидкости, перелитой в тщательно закупоренную бутылку, безумным Скорреем, коллективным письмом двадцати четырех мертвых и двумя совершенно дикими, по нашим понятиям, малышами женского и мужского пола.

Расспросы детей прибавили очень немного к показаниям матросов и капитана. Мальчик вообще не мог ничего сообщить, так как почти не умел говорить, а девочка, очевидно, спутавшая воспоминания о жизни на острове с впечатлениями путешествия и большого города, рассказывала явные нелепости: "Отец говорил, что нас всех убьют". — "Кто?" —

”Какие-то люди, которых очень много”. — ”Ты видела их?” — ”Не видела”. — ”А приходили на остров корабли?” — ”Один приходил очень большой, выше меня”. — ”Припомни, Ли, когда это было? Очень давно?” — ”Да, давно”. — ”А может быть, недавно?” — ”Недавно”. Она не могла ориентироваться во времени, и дальнейшие сообщения ее о корабле, людях, бывших на острове, и о числе их носили характер полузабытого темного сновидения. Затем она принялась рассказывать о том, как все боялись, что их убьют, и как ночью приходило много кораблей, которые стреляли в дома. Некоторые корабли летали по воздуху. Следователь отнес это в область детской фантазии, зараженной рассказами моряков, а также к замеченной у детей склонности к мистификации. Он, правда, записал все, но из соображений формального характера.

Из объяснений девочки выяснилось, однако, некое своеобразное, почти устраняющее чью-либо постороннюю силу в этом деле редкое обстоятельство. На памяти ребенка шести лет Фарфонт был посещен один раз одним кораблем; допустив, что прочные завоевания памяти начинаются с трехлетнего возраста, выходило, что остров в течение трех лет был отрезан от всякого сообщения с миром, отчего, естественно, возник вопрос, как часто заходили корабли к берегам Фарфонта и не являлось ли каждое захождение своего рода легендой — в ряде после-

дующих годов? Короче говоря, не был ли Фарфонт таким заброшенным местом, куда корабли заглядывают несколько раз в столетие, и то благодаря случайности, как "Виола".

Согласно почти полной неизвестности Фарфонта для администрации и совершенного небытия его для всех мелких и главных линий морского сообщения, ответ на этот вопрос явился, само собой, утвердительным. В таком случае постороннего преступного вмешательства в дела туземцев Фарфонта быть не могло, и изолированность селения подтвердилась показаниями экипажа "Виолы". Домашняя утварь, орудия, одежда и прочие предметы, бегло осмотренные матросами, носили следы самобытного изготовления, за исключением нескольких старых ружей, книг и мелочей, вроде обломка зеркала или куска ткани, некогда попавшего на Фарфонт. Относительно природы острова все сходилось в том, что "местечко очень красиво". Более впечатлительный, чем другие, Габстер заявил, что там — истинный рай. Капитан Тарт подробнее распространился об острове, но, будучи человеком практичным, отмечал плодородие и тучность земли, а также обилие прекрасной родниковой воды.

Ниже нам придется еще встретить подробное описание острова, а потому мы возвратимся к сопоставлению фактов. В силу изложенного, следователь остановился на

двух версиях: 1. — Жители Фарфонта, под давлением неизбежных, необыкновенных обстоятельств, причин и побуждений местного, а не внешнего происхождения, добровольно, по уговору, лишили себя жизни. 2. — Были убиты из неизвестных следствию соображений единственным оставшимся в живых ныне безумным Скорреем, причем последний, стараясь отклонить подозрения, составил и написал подложное, за подложными подписями жителей Фарфонта посмертное письмо, удостоверяющее наличие самоубийства.

Вторая версия, как наиболее отвечающая несложности криминалистического мышления и непреодолимому тяготению властей к изобличению злого умысла даже там, где человек просто сам падает, разбив себе голову,— была, к сожалению, подхвачена слишком усердно некоторыми газетами, издатели которых избавили этим публику от раздражающего недоумения, а сотрудники держались легкомысленной позиции "здорового смысла", именно того, чего следует избегать, как чумы, в отношении некоторых явлений.

"Утренний Вестник" писал:

"Ха-ха! Нас хотят уверить, что целая деревня здоровых, выросших на лоне природы, не знавших излишеств, непосредственных, полудиких людей обрела какую-то общую трагедию. Может быть, конечно, что они поспорили из-за туземной красавицы. А жен-

шины? Но в таком случае остается предположить общее разочарование в жизни, крушение идеалов и т. п.! Однако Скоррей жив, живы двое детей, и они-то более всего убеждают нас в хитрой предусмотрительности злодея. Он знал, что на Фарфонт может заглянуть судно, он приготовился к этому маловероятному случаю. Здесь он является нам в роли хранителя детей, якобы порученных ему, Скоррею. Дети, разумеется, могли спать в то время, когда свирепый убийца отравлял земляков. Заметьте, что он тоже выпил яд, но не умер. Ясно, что доза была рассчитана с таким опытом..." и т. д.

"Наблюдатель", стоявший за коллективное самоубийство, придерживался, главным образом, показаний капитана "Виолы".

"Помимо серьезности отравления, — писал "Наблюдатель", — отравления, едва не отправившего Скоррея на тот свет, невинность его подтверждается видом общей могилы. Холм, — говорит капитан Тарт, — был на виду вблизи поселка; насыпанный весьма добросовестно, обложенный дерном, с прочным крестом, он является лучшим доказательством уважительного выполнения печального долга, возложенного судьбою на Скоррея. В его распоряжении было несколько лодок; если бы он был убийцею, он мог бы без помехи, не торопясь, бросить трупы в море и объявить громким голосом, что все жители утонули на

рыбной ловле. Мы говорим примерно. Разумеется, причины самоубийства непостижимы, так как текст письма, написанного вполне здраво, указывает не на сумасшествие или "одержимость демонами", а лишь на следствие неких причин, покуда еще не выясненных. Составители письма, видимо, сильно сомневались в возможности его оглашения, иначе, быть может, мы имели бы дело с пространным, исчерпывающим положение документом. Краткость письма указывает также на поспешность, с какой эти несчастные торопились умертвить себя; нам остается ждать выздоровления Скоррея, на что, как объяснил доктор Нессар, есть ныне надежда".

Анализ жидкости, привезенной капитаном "Виолы", установил присутствие сильного яда.

Скоррей, помещенный в лечебницу профессора Арно Нессара, был признан буйным помешанным в не очень тяжелой форме. Скоррей провел у Нессара четыре месяца, в течение которых выяснились новые обстоятельства благодаря публикации и экспедиции психиатра Де-Местра.

### III

Де-Местр, посвятивший значительную часть жизни изучению самоубийств, подвергался некоторое время осаде журналистов,

дам, властей и подставных, от полиции, личностей; он каждому указывал на явную запутанность дела, хотя сам про себя склонялся к гипотезе самоубийства.

11 августа он, субсидируемый журналом "Юниона", надеясь личным посещением острова добыть новые руководящие указания, отплыл из Ахуан-Скапа на зафрахтованном с этой целью пароходе "Теренций" и возвратился 24 сентября, поразив общество обнаружением фактов, сильно поколебавших мнение о независимости смерти фарфонтцев от причин внешних. Именно: неподалеку от моря, в скалистом углублении берега, Де-Местр нашел сорок четыре бутылки из-под вина, — продукт, чуждый Фарфонту, — белую пружинную булавку и полуистлевший от старости номер газеты "Стационар" 18 мая 1920 года. Последний предмет окончательно убедил Де-Местра в том, что на острове незадолго до "Виолы" побывало другое судно.

Тем временем, благодаря публикации и вообще широкой огласке дела, редакцией газеты "Наблюдатель" было получено из Бомбея письмо за подписью капитана Брамса, засвидетельствованное нотариусом. Брамс служил в Синдейском обществе транспорта на пароходе "Рикша". Его сообщение было, строго говоря, преддверием истины, печальное лицо которой показалось вполне лишь в день выздоровления Скоррея. Вот это письмо:

”5 апреля 1920 года ”Рикша” в поисках пропавшего судна ”Вандом” был сбит с курса циклоном и, потерпев значительные повреждения, отнесен далеко к югу. Утром 20 апреля был нами замечен небольшой остров, не значившийся на карте; никто из моей команды на нем не был и не знал об его существовании. Жители,— смешанной крови,— происходили, по их объяснению, от двух семейств эмигрантов, высаженных в этот отдаленный уголок мира в 1870 году военным крейсером ”Бробдиньяг”, по причинам политического характера. Благодаря этому только две фамилии были на Фарфонте: Скорреи и Гонзалесы; занятиями их были земледелие, охота и рыболовство; поставленные в исключительные условия, они производили и добывали все необходимое для жизни собственными руками и средствами, за исключением небольшого количества привезенных первыми жителями или проданных на остров впоследствии случайными кораблями вещей.

Последний корабль, посетивший их, был взбунтовавшийся ”Скарабей”, он бросил якорь к берегам Фарфонта шесть лет назад. Понятно, с каким утомительным вниманием и волнением встретили нас. Жители высыпали на берег, окружив чудесных гостей. Все до последней пуговицы на нашей одежде стало предметом бесконечных споров, толков, вопросов. Оказалось, что мы приехали



в день бракосочетания юного Антонио Гонзалеса с не менее молоденькой Джоанной Скоррей. Нас ожидало пиршество, бесконечные расспросы о жизни большого мира и зрелище дикой, но весьма милой свадьбы.

Жених в довольно удачно скроенной одежде и огромной соломенной шляпе не оставял двух мнений о своей наружности: это был стройный коричневый молодец, с немного глуповатой улыбкой и серьезными большими глазами, в которых читалось сознание важности и торжественности момента; но невеста в решительную минуту спряталась за углом дома — застыдившись, конечно, нас — и мы потратили немало терпения, пока нам удалось взглянуть на ее славную рожицу. Наконец она вышла из прикрытия, красная от смущения. Шкипер Полладиу, мастер на комплименты, стал громко восхвалять ее качества, отчего она заметно приободрилась и соблаговолила посмотреть на него одним глазом, черным, как орех, и наивным, как недельный цыпленок. Простое платье из грубой домашней ткани облегало ее тонкую, еще связанную в движениях фигуру, хорошенькую и стройную.

Очень прост и величественен был свадебный обряд. Мы стояли на берегу потока, сверкавшего синевой и белизной в изломах гранита, сомкнувшегося впереди нас, через поток, прихотливой тенисто-краснеющей ар-

кой. По ней тянулись бархатные груды ползучей зелени. Солнечные лучи, дробясь над аркой, делали воздух подобием пылающего костра или золотой завесы, сквозь которую просвечивали голубыми тенями извивы берега. Берег пестрел цветами. На горизонте узким серпом блестел океан.

Дедушка Скоррей прочитал несколько молитв, отрывки из библии, соединил своей отжившей рукой горячие руки молодых людей, и мы вернулись к селению. Там, на берегу моря, в скалистом углублении берега начался пир, сугубо орошенный нами двумя ящиками с вином и ромом. И я начал рассказывать о теперешних великих делах мира, изобретениях и титанической борьбе наших дней, заранее предвкушая, как должен поразить этих людей мой рассказ.

Действительно, они были потрясены. Я нарисовал им возможно полную картину гигантской борьбы девяти государств, представив все ее крупнейшие события, ее план, ход, темп, технические и моральные средства, пущенные в ход противниками. Кое-кто выразил сомнение в правдивости моих слов, тогда я дал им бывший у нас номер "Стационара". Люди с Луны или с Марса, попади они на землю, не вызвали бы такого убийственного интереса к себе, как мы со своим "Стационаром" и рассказами о сражениях миллионных армий: нам задали столько вопро-

сов, что ответить на все сколько-нибудь подробно — заняло бы полжизни.

Сознаюсь, что, несмотря на тяжесть событий, омрачивших это десятилетие, я испытывал невольное чувство гордости, вернее — превосходства над этими полуробинзонами, когда стал рассказывать о гениальных завоеваниях человека в области воздухоплавания, радио, химии, морской и артиллерийской техники. Я описывал им внешность дредноутов, цеппелинов, аэропланов, бетонных окопов и бронированных фортов, приводя слушателей в трепет весом шестнадцатидюймового снаряда или размерами земляной воронки после взрыва бомбы, способной смести деревню.

Мы проговорили всю ночь. К вечеру следующего дня "Рикша" исправил повреждения и, подняв якорь, прибыл 3 мая в Мельбурн. В настоящем письме изложены все обстоятельства нашего пребывания на Фарфонте, причем считаю нужным добавить, что известие о трагической и необычайной смерти наших бывших хозяев произвело на всех нас, видевших их, неописуемо тяжелое впечатление. Если мое, не имеющее, по-видимому, никакого прямого отношения к делу, сообщение сможет пролить свет на тайну смерти жизнерадостных и гостеприимных людей, я испытаю горькую радость человека, способствовавшего раскрытию печальной истины".

20 сентября Скоррей дал, наконец, свое показание. Стенографическая запись рассказа Скоррея весьма спутанна, изобилует повторениями и отступлениями, кроме того, самый язык рассказчика до такой степени непохож на нашу манеру мыслить и выражаться, — манеру, выработанную постоянным общением со множеством людей как лично, так и заочно, путем писем, телеграмм, книг и газет, — что мы нашли нужным дать этому показанию общую литературную форму, не исключая ни фактов, ни впечатления, оставленного ими.

— Нам очень трудно было поверить, — говорил Скоррей, — словам капитана Брамса, объявившего, что пережила Европа страшную войну в то время, когда мы, не подозревая ничего такого, слышали только плеск волн и шелест цветущих веток. Однако Брамс показал нам газету, хотя старую, но убедительно говорившую то же самое.

Всю ночь капитан и его товарищ беседовали с нами, посвящая нас, взволнованных, потрясенных и зачарованных, в самые глубины событий. Мы узнали, что войной были захвачены сотни миллионов людей. Мы узнали, что разрушено множество городов и целые страны. Мы узнали, что люди летают стаями на крылатых машинах, бросая сверху бомбы в корабли, дома и леса. Мы узнали, что посред-

ством особого удушливого ветра сжигают легкие десяткам тысяч солдат, и многое другое, а также, что неизвестно, не повторится ли снова такая же война.

Утром капитан с товарищами отправился на свой пароход чинить повреждения, а мы продолжали обсуждать слышанное. Никто из нас и не подумал даже работать в этот день. Каждый по-своему оценивал происходящее. Некоторые уверяли, что Брамс нас слегка обманывает и что война, вероятно, продолжается. Иные утверждали, что наступило благоприятное время для морских разбойников и что нам, вероятно, скоро придется подвергнуться нападению. Вообще, нами овладело подозрительное и угнетенное состояние; каждый носился с предчувствиями, рассказывая направо и налево о своих догадках относительно событий в смутно представляемой нами Европе.

Кто-то, — не помню, кто именно, — сказал, что очень может быть, через год или два мы останемся единственными жителями на земле, так как воюющие, несомненно, уничтожат друг друга своими чудовищными изобретениями. Леон Скоррей, мой племянник, говорил, что нужно опасаться не этого, а повального бегства с густонаселенных материков миллионов людей, которые рассеются по отдаленнейшим углам земли в поисках безопасности. Пришельцы многочисленные,

хорошо вооруженные, конечно, могли одолеть нас, захватив наше имущество, возделанную землю и лодки. Было внесено даже предложение просить "Рикшу" взять нас с собой, чтобы не оставаться одним в страхе и неизвестности, но труса немедленно пристращали и образумили, объяснив ему, что неизвестность лучше происходящего ныне в больших странах. Однако вечером, когда "Рикша" снимался с якоря, два наших старика ездили на пароход с просьбой рассказать всем о нас и прислать встречное судно для желающих уехать, если такие окажутся. Брамс успокоил их обещанием исполнить это. На закате "Рикша" снялся и ушел.

Эту ночь я, как и многие другие, провел в тяжелой полудремоте, вставая изредка, чтобы помочь занемогшей от всех этих волнений жене. Два дня спустя после ухода "Рикши" Хуан Гонзалес, ездивший с Антонио, мужем Джоанны, ловить рыбу, — вернулся рано и объявил, что в полумиле от берега замечен был ими круглый блестящий предмет, усеянный гвоздями и качавшийся на волнах. Вскоре пришедший Антонио подтвердил это. "Мы едва не наехали на него", — сказал он и побледнел. По-видимому, это была одна из плавучих мин, о которых говорил Брамс.

В полдень над головами нашими раздался сильный трещащий гул, и все выбежали из

домов. С полей спешили испуганные работники. Вверху, огибая дерево, летел с быстротой чайки огромный темный предмет, меняющий очертания; сделав поворот у леса, он нырнул вниз и скрылся.

Мы были так напуганы, что кричали все сразу, не понимая друг друга. Ни у кого, самого недоверчивого, не оставалось сомнения, что вокруг острова, пока невидимые нами, происходят морские сражения и разведчики осматривают окрестности, летая над островом. Глухие удары или взрывы послышались спустя недолгое время со стороны западного горизонта. Все устремились на берег. На линии воды и неба вило множество дымок; оттуда, заглушенная расстоянием, доносилась медлительная, тяжелая пальба, и казалось — земля дрожит под ногами. Так продолжалось час или более; затем все исчезло.

Вечером трое Гонзалесов, ходивших в лес за дровами, вернулись еле переводя дух. Они слышали стук множества копыт, крики, звон сабельных клинков и стоны, но никого не видели. Аллен Скоррей, бывший в это время с женой у водопада, пришел немного спустя; они видели на скале вооруженного всадника, смотревшего из-под руки в сторону леса. Заметив Скоррея, он исчез, едва натянув поводья.

— На острове произведена высадка, — сказал Аллен, сообщив свое и выслушав Гонза-

лесов. — Что это за война — мы не знаем, нам угрожает опасность, может быть — смерть. Надо обойти остров.

Антонио Гонзалес и я вызвались сделать это. Потратив половину следующего дня на обыск Фарфонта, мы не заметили никаких следов, но слышали звон и лязг, сопровождаемый криками. Вернувшись, мы застали наших в большом уньнии. Женщины плакали. Наш рассказ удивил и еще больше напугал всех.

— Может быть, — сказал, покачивая головой, старик Рэнсом, — может быть, люди ухитряются быть невидимыми. Теперь, говорят, время чудесных выдумок.

— А трупы? — спросил я.

Но он не ответил мне.

— Смотрите, смотрите! — закричала в это время моя сестра, и мы, следя за направлением ее ужасного взгляда, увидели, что все небо покрыто быстро несущимися таинственными кораблями со странным, невиданным такелажем, напоминающим парусные суда и имевшим как бы отражение под собой, в воздухе. Там слышались гул и свист, удары и протяжный звон колоколов, и скоро все затянулось дымом пальбы, отдавшей в наших ушах смертным приговором. Женщины падали без чувств, бежали в дома, рыдали. Мы, мужчины, стояли как привязанные, не имея сил двинуться с места. Наконец послед-



ние кормы чудовищ скрылись за скалами, и мы могли, собравшись опять, с горем и страхом признаться друг другу в нашем общем отчаянии. Никто не мог объяснить происходящее. Эту ночь спали одни дети...

В таких непрерывных, угнетающих, безжалостных, грозных явлениях прошел месяц и еще две недели, и наконец мы пришли в совершенно жалкое, полубезумное состояние. Боялись отходить далеко от дома, чтобы не остаться одним; работы были заброшены; беспокойные и тяжелые сны преследовали тех, кто, ища покоя, кидался в постель; дети, более всех испуганные грозой, разрушившей нашу тихую жизнь, плакали, как и матери их, похудевшие от непрерывного страха; мы, мужчины, решаясь иногда стряхнуть власть воинственных сил, обходили все вместе остров, дабы убедиться, что мы единственные его хозяева, и, каждый раз убеждаясь в этом, впадали в еще более острое отчаяние. Глухой рокочущий гул днем и ночью раздавался над нашими головами; нечто подобное отдаленным взрывам обрывало беседующих на полуслове, и стоны и вопли, то тихие и жалобные, то громкие, полные гнева и боли, наполняли воздух. Ночью слышалась сильная канонада в западной стороне, как будто там шло бесконечное сражение: люди, выходившие посмотреть на море, видели темные громады судов неизвестной национальности,

преследующие друг друга. Мы более не знали покоя. Что происходило с нами? Что вокруг нас? Мы устали задавать друг другу вопросы. Наконец однажды вечером троюродный брат мой Аллен Скоррей сказал нам, собравшимся у него в доме, что в нашем беспомощном положении не видит он никакого выхода, кроме смерти: "Мы не бодрствуем и не спим. Отданные во власть дьявольского кошмара, а вернее — ужасной действительности, достигшей, с помощью неизвестных нам средств, совершенства неуловимости — мы, отрезанные от всего мира, ничего не знающие, невинные, теряющие рассудок, скоро совершенно сойдем с ума и огласим воздух дикими завываниями. За что? Мы не можем знать этого. Я предлагаю умереть добровольно".

Не было такого, который решился бы или хотел возражать ему. В глубоком молчании собравшихся Аллен приготовил жребья по числу мужчин: вытащивший самую короткую палочку должен остаться в живых, чтобы похоронить остальных. Мне выпало это несчастье. Тогда сестра моя Алиса Скоррей, вдова, сказала: "Пусть так и будет, но я не возьму с собой моих Филиппа и Ливию". Затем она поручила их мне, умоляя дождаться какого-либо судна и не убивать себя до тех пор, пока не наступит возможность увезти детей с острова.

Я сопротивлялся, как мог, но должен был уступить просьбам; к тому же действительно надо было кому-нибудь позаботиться о похоронах. Однако я зарыдал, ясно представив всю тягость своего будущего. Один, полный черных воспоминаний, с двумя детьми на руках, я должен был терпеть и выносить страдания худшие, чем смерть в пытке. Я согласился, может быть, потому, что мой разум был помрачен и не вполне понимал происходящее.

Скоррей в этом месте рассказа лишился чувств. Придя в себя, он, видимо, торопился досказать остальное. Здесь стенограмма сумбурна, отрывиста и коротка.

— Настоящая лихорадка нетерпения овладела всеми. Написали записку, Аллен принес яд. Я вышел и увел детей, сказав им, что наши скоро придут. Ни за что на свете не вернулся бы я туда, в дом Аллена. Я лежал в полуобмороке, в полузабытьи. Что там происходило — не знаю. Солнце садилось, когда я решился открыть роковую дверь.

И я увидел...

Скоррей отказался рассказывать, как он хоронил этих несчастных. Дальнейшие его показания — мрачную повесть жизни полубольного человека с двумя маленькими детьми, которых нужно было кормить и успокаивать, выдумывая всякие истории относительно всеобщего исчезновения, — можно найти в

”Ежемесячнике Ахуан-Скапа”, журнале, поместившем наиболее подробный отчет о деле Фарфонта. Автор, ссылаясь на Миллера, Куинси и Рибо, развивает гипотезу массовых галлюцинаций, а также ”страха жизни” — особого психологического дефекта, подробно исследованного Крафтом.

В заключение, описывая прекрасную растительность острова, его мягкий климат и своеобразное очарование заброшенности, нетребовательной и безвредной, — автор заканчивает статью следующим замечанием:

”Это были самые счастливые люди на всей земле, убитые эхом давно отзвучавших залпов, беспримерных в истории”.

## УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ

### I

Я украл окорок ветчины в коптильне красноносого отца Дюфура. Дюфура звали "отцом", собственно, по старой памяти: как расстрига, он едва ли даже имел право ходить в церковь. Прекрасно — я украл, и не прекрасно — меня собрались повесить, так как поймали. Отправиться на Монфокон с кляпом во рту, чувствовать там горячей шеей холодные ногти палача и растворить дух в вое осеннего ветра показалось мне слишком сентиментальным. Разогнув поленом прутья оконной решетки, я бежал, оставив на подоконном гвозде добрый кусок штанины: малый я плотный и кряжистый.

Покинув Париж, я долго скитался в провинции, иногда приставая к воровской шайке ради странной, случайной оседлости: у воров были в лесах и в развалинах замков насиженные укромные гнездышки; или шел к мужикам работать.

Так прошла зима. Мог бы я давно вернуться в Париж, где, без сомнения, забыли

уже и об окороке и о моей скромной особе, но все время что-нибудь было помехой этому. То завязывался роман с коровницей, то пригревали меня на кухне попутного монастыря, и я, пользуясь смиренной трапезой, мог причесываться без масла, проведя по волосам просто рукой, предварительно огладив ею щеку; то впутывался я в какую-нибудь доходную комбинацию с замаскированным молодцом, умевшим необыкновенно внушительно произносить простые слова: "Кошелек или жизнь", — и вообще полюбил случайную жизнь. Однажды я заблудился в недоброй памяти Арденнском лесу. Прошли сутки, вторые, третьи — я отоцал. Я ел, что попало: жуков, сгнившие корешки, траву, листья. Странный сюрприз обоняния переводил все лесные запахи на запахи чего-либо съестного. Цветы пахли конфетами и вареньем, смола — подгоревшей свининой, теплая земля — хлебом. Расщепистая кора старых дубов выглядела хорошо пропеченной коркой, а солнечные разливы на дымных прогалинах — растопленным маслом. Раз я встретил медведя и, представив, как аппетитно захрустел бы он моими костями, чуть не заплакал в припадке голодного бешенства.

От медведя я, правда, залез на дерево, но все-таки смотрел на себя, как на завидное кушанье.

Четвертый день ознаменовался тем, что я поднял искалеченный рыцарский шлем, а подальше, на расширении звериной тропы, встретил заросший травой деревянный крест.

Высохший венок лесных цветов украшал его середину. На кресте была темная надпись: *Meme en ton absence — toujours avec toi. Arthur*<sup>1</sup>.

Но мне что за дело до этого? Пусть рыцари, волшебники, великаны и дамы ведают эти дела: я милостью божьей — Франсуа, голодный и бесприютный.

## II

Итак — показалась речка: прежде всего я напился; затем осмотрелся. Речка текла быстро и глухо; от берегов черные тени мрачили половину течения, а середина сверкала, как чищенная на солнце медь. Везде упавшие поперек стволы, ямы и корни, изрытая кабанями осока. Жуткое, неприветливое было это место, клянусь спасением. Но, посмотрев направо, увидел я в зеленой извилине мыска черную бревенчатую лачугу с низкой трубой, из которой шел дым. Где дым, там и печь, а где печь, там и горшок с варевом. От одной этой мысли я пополнел. Прежде чем подойти

---

<sup>1</sup> И без тебя — с тобой. Артур (*франц.*).

к сему загадочному жилью, попробовал я — каким голосом попрошайничать: грустным и низким, либо же тонким и жалостливым. Последнее нашел я более отвечающим положению и, держа в горле пискливые слова, постучал в дверь.

— Войди, кто бы ты ни был, — раздалось за дверью.

Я вошел.

Передо мной у грубого камелька сидел дряхлый старик. Такого старика я никогда не видел. Был он обут в меховые туфли, а одет в коричневый балахон с откинутым капюшоном. Немного оставалось на его бледном лице места, свободного от белых волос. Борода лежала на груди пышно и строго, длинные кудри сыпались по плечам, а усы тонули в бороде. Вот его глаза: что в них? Много всего; он смотрит как бы издалека. Просьба, приказание, гнев, жалость, любовь, лукавство, грусть, самомнение, беспокойство и ясность — все чувства излучают его острые, выцветшие зрачки, — и я почувствовал страх.

— Добрый отец! — заголосил я. — Помогите бесприютному и голодному Франсуа Долговязому! Я заблудился и четвертые сутки не принимал никакой христианской пищи, питаюсь, прямо сказать, корой и листьями!

— Излишек пищи вредит бессмертному духу, — ласково сказал старик, — но что есть —



твое. В той чашке орехи, а в углу за тобой — хлеб и вода. Ешь.

Принюхавшись уже к вареву, булькавшему в какой-то странной медной посуде, я усомнился, чтобы там было съестное, — пахло лекарственным. Поэтому, скрепя сердце, так как ожидал чего-либо получше, чем орехи, приступил я к предложенному угощению. Я жевал хлеб и грыз орехи и пил воду, а поев, сильно отяжелел. Потянуло меня ко сну. Пока я ел, старик молчал, время от времени заглядывая в книгу с железными застежками и помешивая варево узорной палочкой, разрисованной непонятными знаками. Это да и рассмотрение внутренности хижины убедило меня, что я попал к некоему волшебнику.

С потолка спускалось несколько высохших ящериц и летучих мышей. Живой, черный, как трубочист, кот сидел на очаге, и магические зеленые зрачки его, казалось, читали все мои спутанные мысли. Груды тяжелых, как гробовые плиты, желтых книг лежали на полу и столе, заставленном кроме того различными металлическими и стеклянными вещами с назначением, непонятным до одурения. Над окном висели вязанки корней и сухих цветов; слабый, нежный их запах разносился по всем углам. А в дальнем углу, запертый тремя огромными черными замками, — стоял таинственный высокий сундук,

относительно которого я сразу подумал нечто существенное. Подумал неопределенно, конечно, но крепко: по привычке и любви к запертым сундукам.

— Франсуа, — сказал старик, погладив свою роскошную бороду, — я не любопытен. Кто ты такой — совсем не нужно знать волшебнику д'Обремону, в жилище которого привели тебя мои заклинания. Слушай: я стар, слабею, и мне нужен ученик, помощник. Помощью магического круга и неких формул я обратился сегодня к демону Азарету — покровителю стариков — и просил его послать мне здорового молодца, как ты. Видишь — просьба моя исполнена.

Я струсил. Значит д'Обремон может вить из меня веревки.

”Влопался ты, Франсуа”, — подумал я, но ничего не сказал. Колдун продолжал:

— Склонен ли ты к истине, Франсуа? К знаниям высоким, как горы? К устремлению духа в озаренные светом области? Говори смело.

— Я, ваше степенство, склонен ко всему, что кормит и греет, — отвечал я с унынием.

— Я не обещаю тебе лучшей пищи, — возразил д'Обремон, — чем та, которую я ем сам и которая будет поддерживать твои животные силы. Но я обещаю, со временем, могущество непомерное, власть над людьми и духами, над золотом и драгоценными камнями, над душой растений и животных. Магия творит чудеса. Твоя душа еще темна и дремотна,

как жизнь в яйце змеи, но мудрость змеи растет с ней. Ты возрастешь, пока же освой себя с новым своим положением и ложись спать, а я займусь комментариями к Альберту Великому, писанными великим и могущественным Нострадамусом.

Сказав так, старик дал мне мешок с сеном, и я повалился в углу, размышляя на сон грядущий следующим манером: "Алхимики, говорят, делают золото. Полезно и весьма прибыльно, если бы удалось научиться такой штуке, а там видно будет".

Уже поэтому решил я не прекословить д'Обремону и пожить у него, даже оставляя в стороне соображения о власти демона Азарета.

Засыпая, я увидел, что ко мне, мурлыча и выгибая спину, подошел кот. Потершись о плечо, сунул он мне голову под мышку и задремал,— кот-то был обыкновенный котиче, и не пахло от него серой, в чем я убедился, тихонько прошептав молитву.

А д'Обремон сидел перед высокой желтой свечой, читал, и тень его головы падала на меня.

### III

Я много видел людей, бывал в самых причудливых положениях, но такой жизни, которая сплела меня теперь с д'Обремоном,

клянусь собственными глазами, еще не испытывал.

Старик обыкновенно спал беспокойно, ворочался и вздыхал и, шаркая на рассвете туфлями, будил меня чуть не стихами:

— Вставай, Франсуа! Аполлон запряг красных коней. Смотри, как вверху, в сонном еще зените, все зыблется и дрожит и дышит; там тени обнимаются со светом. Смотри, Франсуа, не проспай ранний час! Когда усталая Диана, бледная, оставляет Венеру сгорать в лучах колесницы, — все чувства подвижны и тонки, как нежные ароматы. Вставай! Дух созерцает Вечное, Франсуа!..

Лень было подыматься на холоде, но цель, которую я поставил себе, требовала послушания. Я подметал хижину и выбрасывал из стеклянных колб какую-то за вчера накипевшую гадость; потом завтракал черствым хлебом, орехами и водой.

До чего противна была мне такая пища! Другой не бывало у д'Обремона. Сам он ел только хлеб и так мало, что удивительно, как не потухала жизнь в тощеньком его костячке. Глядя иногда, как, сгорбившись, подставив горсточкой сухую, прозрачную руку, старается он прожевать корочку беззубыми челюстями, а крошки вываливаются на ладонь, смеялся я не раз, задавая себе вопрос: "Ужели волшебство не добычливо насчет жирной, сладкой пищи и кружки винца?"

До времени я относил это к привычкам моего чародея, но вскорости, дней этак через пятнадцать, убедился, что д'Обремон просто придурковатый старик, полупомешанный хвостун. В этом убедился я такой дорогой ценой, что теперь, когда бессильно размышляю обо всем, зубы мои скрипят и лопаются от бешенства. Однако не забегай вперед, Франсуа!

Откуда старик брал хлеб и соль — было для меня тайной, пока однажды к мысу не причалила лодка. Из нее вышел пожилой мужик, таща мешок. Он поклонился д'Обремону, как раб царю, и сказал, указывая на мешок:

— Надолго ли хватит вам этого, господин?

— Э, Жан, хватит, пока хватит! Благодарю!

Жан помолчал, затем, подозрительно косясь на меня, спросил как бы с опаской:

— Ну, что? Готово?

— Еще нет, — задумчиво и величественно ответил старик. Вдруг ребяческая улыбка преобразила его лицо. — Скажи, что надо терпеть, ждать, но уже недолго. Сокровища умножаются. Час восхитительный и божественно-мудрый наступит скоро.

Я наострил уши. Но больше ничего не было сказано меж ними про сокровища. Д'Обремон расспросил Жана о семейных делах и отпустил. Лодка мелькнула за тростником, скрылась; я же спросил:

— Учитель, кто этот человек?

— Он приезжает из далекой деревни раз в месяц, — сказал д'Обремон, — и привозит мне хлеб. Пока тебе незачем знать о моих делах больше. Наступит время, и я открою тебе великую тайну.

По вечерам старик открывал свои скрипящие книжищи и посвящал меня в магию. Я притворялся, что все это невыразимо интересно. Он показывал мне какие-то треугольники, круги, пентакли, языческие поганные буквы и вдруг, забывшись, начинал говорить на непонятном языке, турецком или арабском, как думаю. Я узнавал о феях, эльфах, гномах, ведьмах, демонах, инкубах, колдунах, сефиротах и о всякой другой нечисти. Приблизительно через день, по утрам, старик отправлял меня в лес за орехами и дровами, а сам запирался, и тогда из трубы целыми часами валил густой дым. Д'Обремон варил свои колдовские зелья.

Как ни любопытен я от природы, однако что-то удерживало меня расспрашивать моего хозяина о прошлой его жизни и о том, как он превратился в волшебника. Он никогда не сердился, но отвечал не на все вопросы; поэтому я предоставил все течению времени. Мне важно было только узнать золотой состав, а заклинания и сказки о феях я предоставлял д'Обремону. Я подсматривал за ним в щели и окна, но это не открывало мне ни-

чего путного; а все мои намеки он пропускал мимо ушей.

— Практическая магия, — иногда говорил он, — есть самое конечное следствие высших знаний. Ты должен пройти их. Можешь ли ты лечить больного, не зная природы человеческой? Учись, Франсуа!

И опять вязли у меня в зубах духи воды и огня, земли и воздуха; опять я погружался в запутанные тайны невидимых сил и стихий.

Раз, помню, мы вызывали духа. Какого духа — забыл. Д'Обремон переоделся в некую белую хламиду, повесил на шею бронзовую цепочку с медными кружками, а в руку взял странной формы извилистую тусклую шпагу и, поставив меня с собой в очерченном кругу, начал произносить заклинания. Я чуть не умер от страха, но скоро оправился, так как дух не являлся. Старик продолжал взволнованно размахивать шпагой. Вдруг кот прыгнул к порогу, задавил там у щелки мышонка и стал возиться с добычей в самом кругу, у моих ног.

— Ну, сегодня ничего не будет, Франсуа, — сказал д'Обремон торжественно, с какими-то странными манипуляциями выбрасывая мышонка за дверь. — Сегодня Агнагул потерял силу и мог принять вид только одного из низших существ. Мышонок был Агнагул. Он не умер, конечно, но видеть его вто-

рой раз в образе того же мышонка — не стоит труда. Сотри круг!

Я подумал, что Агнагул столько же был мышонком, сколько тот Агнагулом, но хихикал в кулак по этому поводу, отвернувшись, дабы не сердить чудака.

\* В лесу бывали особенно хорошие дни, безветренные, жаркие и душистые, когда даже мне вставать рано было уж не так отвратительно. В такие дни д'Обремон иногда говорил:

— Принеси мне цветов, Франсуа. Принеси ромашки, дающей спокойствие и веселье, и пестрых тюльпанов, обостряющих слух, и медвяниц, прогоняющих ночное томление; не забудь ландышей и фиалок, дающих нежность воспоминаниям, и возьми еще все то, что я скажу дальше. Мандрагору ты вырвешь с корнем, не повредив его; рви, стоя лицом к востоку. Златоцвет и медвежьи ягоды бери левой рукой. Захвати и шиповник, он просто красив.

Я отправлялся в лес, собирал приказанные растения и тащил их нетерпеливо встречавшему меня д'Обремону. Старик, прижимая к груди рассыпающиеся вороха трав и цветов, клал их на подоконник и часами, тихо улыбаясь, сортировал эти зелья, временами нюхая какое-нибудь с видом влюбленного, поднявшего цветок у балкона. Вскороности начинал пламенно дышать кирпичный



очаг, старичок варил свои волшебные соусы, надев остроконечную шапку, украшенную магическими рисунками, и на кончике его носа дрожала капелька пота.

Я же садился на порог, перелистывая какую-нибудь старую книгу, но нигде в этих сочинениях не говорилось прямо о том, как изготовлять золото. В самом интересном месте появлялись какие-то Красные Львы, Желтые Реполовы и разные другие затмения секретного дела. Это выводило меня из терпения. Отчего бы не сказать прямо: возьми, мол, того-то и того-то, свари так и этак — и отливай двойные пистоли. "Мой д'Обремон, — рассуждал я, — человек, видимо, слабоумный или помешанный. На его месте — будь оно действительно всемогуще — я бы давным-давно состряпал себе уютный подвальчик, набитый червонным золотом".

#### IV

Таинственный высокий сундук, разумеется, не давал мне покоя все время. Иногда, пользуясь кратким отсутствием д'Обремона, выходявшего побродить на воздух, я пытался потрясти этот сундук, но так был он тяжел, что не удавалось приподнять его угол даже на полвершка. Д'Обремон никогда не открывал сундук в моем присутствии, — я

же, подсматривая за ним в окно, был так несчастлив, что в эти минуты старик оставлял проклятый сундук в покое. Однако все приходит в свое время.

Раз вечером, после жаркого дня, у окна, бледневшего тихо и пышно, д'Обремон, смотря на закатные верхи леса, просидел с очень что-то грустным лицом часа два. Он не любил, если тревожили его в минуты задумчивости. В раскрытой двери явилась, трепеща, вечерняя бабочка.

Д'Обремон обернулся ко мне и указал на бабочку.

— Франсуа, — сказал он торжественно и сердечно, — человек живет не долее этого мотылька. Я стар и, может быть, скоро умру. Настало время открыть тебе великую тайну.

Меня словно подбросило. Хотелось что-то сказать, но язык на радостях ускочил так далеко в глотку, что вытащить его оттуда требовались, пожалуй, клещи. Навострив уши, я перевел дух и фальшиво вздохнул.

Д'Обремон взял меня за руку, подвел к сундуку, открыл его большим гремящим ключом и, еще не поднимая крышки, сказал:

— Ты был добрым, послушным юношей, и если высшая мудрость медленно дается тебе, то здесь, конечно, виноват только твой возраст. В твои годы мысли, естественно, более покорны телу, чем духу. Со временем силой очищенной воли ты соберешь их, как па-

стух собирает стадо, и то, что надлежит тебе узнать от меня, будет как бы оазисом мрачной пустыни, к которому устремятся твои желания. Смотри, здесь сокровища, каких еще не было в руках ни у одного человека.

Он приподнял крышку, озарив свечой внутренность сундука.

— Это алмазы,— сказал д'Обремон,— двадцать лет я производил их с помощью тайны.

Я вскрикнул и упал на колени. Из сундука хлынул столб блеска, подобного снопу лунных лучей, но ярче и пламеннее неизмеримо. Полсундука было залито разноцветным ослепительным сверканием. Казалось, рука неведомого гиганта, зажав в горсти всю бесчисленность звезд, бросила их в этот сумасшедше-волшебный ящик. Теперь я не мог считать д'Обремона жалким помешанным. Восторг мучительной жадности овладел мною, и я, содрагаясь, захлебываясь от волнения уже знал, что эта ночь будет страшной.

— Встань, Франсуа,— сказал д'Обремон.— Как мало еще этого моего блеска! Нужно втрое больше,— слышишь, не менее, чем втрое более сего количества,— дабы заветная моя мечта исполнилась. Жан, которого ты видел не раз привозящим мне хлеб, знает тайну и свято хранит ее. Он из далекой лесной деревни. Наступит день, и вот что я сделаю. Я покрою Францию великолепными дворцами. Шелк, атлас, парча, тканое золото и неж-

ные кружева будут одеждой всех. Через реки я перекину серебряные мосты и мраморные белые башни поставлю на высоких горах, — жилищем строгих и мудрых. Болота я превращу в сады, какие снятся лишь разве влюбленным ангелам. Дивные статуи наполнят леса совершенством чудесных линий. Придорожные камни будут сверкать алмазами, и мир заслушается музыкой нечеловеческой красоты. И любовь, Франсуа, любовь, крылья которой покрыты жесткой грязью, воскреснет навеки среди кликов и пенья труб — такой, какую знает лишь сердце в часы молчания.

Он замолчал. Свеча тряслась в его старой руке, а взгляд был отрезан от всего незримой стеной. Всегда бледное, еще бледнее стало его лицо. Простояв неподвижно несколько времени, он глубоко вздохнул, запер сундук и, взяв меня пальцами за подбородок, сказал:

— Ложись спать. Завтра мы поговорим еще об этом. Теперь же я чувствую, что устал, и засну сам.

## V

Он сказал: "спи". Но только сон смерти мог бы заставить меня забыться.

Я лежал, вздрагивая, как в лихорадке, с открытыми глазами, с головой, набитой ал-

мазами, и ждал момента, когда д'Обремон заснет. Ни слова я не сказал себе о том, что и как сделается. От меня к старику нужно было пройти пять-шесть шагов; хилая его шея в моих сильных руках должна была пискнуть и замереть, подобно котенку, раздавленному бревном. Я чувствовал, как горят ладони и кровь бьет в виски; я захлебывался решимостью, и стоило большого труда дождаться, пока д'Обремон, перестав ворочаться начал коротко всхрапывать. Убить его бодрствующего мешал мне страх сверхъестественных сил, могущих быть призванными чародеем на помощь. Заслышав храп, я стал осторожно, понемногу сбрасывать с себя одеяло. Затем так же осторожно поднялся и, стоя на коленях, с пересохшим от затаенного дыхания горлом, прислушался.

В окно светила луна.

Вдруг, поставив волосы мои дыбом, сброшенное одеяло выпучилось горбом и завозилось, и кот выбрался из-под него, фыркая и глухо мурча. Узко, страшно блеснули его зрачки; он потянулся, подошел ко мне и стал тереться скользкой сухой головой о колено. Едва я удержался от крика, но, и опомнившись, слышал еще не одну минуту, как эхо перепуганного сердца колотится во всех углах и щелях проклятой хижины. Почти не было у меня сомнений в том, что старик тотчас проснется. Однако я успел отдышаться

и оттащить кота в сторону, а д'Обремон продолжал лежать неподвижно в своем углу, откуда виден был при тусклом свете луны его острый над белыми усами нос, а впадины спящих глаз, покрытые тенью, казалось, подсматривали за моими движениями.

Я встал и с холодным затылком, вытянув, как слепой, руки, подошел на цыпочках к старику. Пол скрипнул два раза, и каждый раз мучительно хотелось мне провалиться сквозь землю. Наконец, мои пальцы остановились над обнаженным, сухим горлом, и я быстро клещами свел их, сжав горячее тело таким усилием, что заметался, как под непосильной тяжестью. Д'Обремона словно подбросило; весь выгнувшись, разом открыв с ужасным пониманием во взгляде белые, широко сверкающие глаза, глядел он на меня в упор, цепляясь до боли неожиданно сильными пальцами за мои руки. Удвоив усилия, я потряс жертву, — и она стихла. Еще я не отошел от постели, как, дико заверещав, кот вцепился в мое лицо, исступленно кусая и царапая где попало. Безумно крича от боли и ужаса, я оторвал проклятого оборотня, сломал ему спину и придушил босыми ногами, но пока он змеей бился в моих руках — и руки, и лицо, и грудь залились кровью. Его когти, даже у сдохшего, остались выпущенными. Покончив со всем этим, я присел на пол у сбитой, бешено разво-

роченной стариковской постели — и был так слаб, что ребенок мог бы связать меня, не ожидая сопротивления.

## VI

Утром я закопал старика и закопал все алмазы, кроме того, что мог удобно нести с собой. Я взял самые крупные блестящие камни, счетом двести пятьдесят штук, и зашил их в свой пояс. Умывшись, перевязав руки и расцарапанное лицо, я наскоро сколотил плот, вырубил правежный шест и поплыл вниз по реке, мечтая о веселой разгульной жизни, цвет удовольствий которой обещал шумный Париж.

Прошло не более месяца, как после многих блужданий и приключений я, побрякивая в кармане пятью назначенными в продажу алмазами, стучал в дверь Фонфреда, мастера золотых дел, жившего на улице Сент-Ануа; к этому ювелиру направил меня за три небольших камня и тысячу клятв, что больше дать не могу,— кривой маленький слуга гостиницы "Золотая шпора".

Наступил вечер, и на улице было тихо, почти безлюдно. Вверху двери имелось небольшое четырехугольное отверстие, забранное решеткой, сквозь которое подозрительный Фонфред рассматривал посетителей. Едва

успел я, сгорая от нетерпения, постучать второй раз, как внутри дома раздались шаги и в окошечке мелькнул острый худой нос, — нос, неприятно напомнивший мне нос д'Обремона. Затем, странно блеснув, круглый, немигающий глаз остался среди решетки. Он не мигал, не двигался, не изменял направления взгляда, и взгляд его был безжизненно-ясен, как блеск стекла. Пересилив волнение, я вскричал:

— Кто за дверью?! Открой! Я хочу говорить с Фонфредом.

Скрипнув, прозвенел ключ, и я увидел мертвого д'Обремона. Одну руку он, улыбаясь, протягивал мне, а другой старался отцепить полу халата: какой-то гвоздь задержал ее. Дико крича, затрясся я и обомлел, корчась от ужаса; гремящий туман окружил меня, земля проваливалась, весь я стонал и плакал, как мученик на дыбе... Не помню, как я решился открыть глаза, но, открыв их, увидел, что не лесной призрак, а тучный человек в богатой одежде держит меня за плечи, встряхивая и приговаривая:

— Кто ты? И что с тобой?

Я, выпучив глаза, смотрел на него, еле переводя дыхание; затем, немного опомнившись, сослался на усталость, на лихорадку и, поговорив в этом роде довольно долго, дабы отвести подозрение, сказал, что имею продать несколько бриллиантов по поручению одного лица, назвать которое не могу.



— Хорошо, — сказал Фонфред, — пойдем посмотрим товар. Должен тебе сказать, что я нисколько не любопытен.

Успокоенный таким заявлением, я прошел с ним в его обширную мастерскую и там, вынув алмазы, бросил их на стол, ожидая, что мастер Фонфред подскочит от изумления.

Фонфред, прищурясь, весьма спокойно сгреб к себе камни и принялся исследовать их, временами поднимая на меня замкнутый, испытующий взгляд. Я сидел, как на иголках. Больше всего мучило меня незнание истинной цены драгоценностей; поэтому, чтобы не вышло что-нибудь, решил я заломить как можно больше. Вдруг Фонфред покраснел, и я объяснил это волнением жадности. Он сказал:

— Милый друг, алмазы эти ты продаешь, разумеется. Без компаньона я не могу решить, какая сумма прилична их блеску и редкости. Подожди меня здесь; наше совещание продлится недолго.

Он вышел. Блаженное чувство наполнило меня — предвкушение радостного, пышного богатства. Дверь грозно и стремительно распахнулась; стража, гремя оружием, наполнила комнату, и я вскочил, как пораженный стрелой. Впереди всех стоял Фонфред, указывая на меня жесткой рукой:

— Вот мошенник, ребята! Он пытался продать мне, под видом алмазов, простое стекло. Отведите его в тюрьму.

— Стекло, негодяй?! — завопил я, бросаюсь к предателю. — Погодите, он хочет меня ограбить!

— Смешно грабить нищего пройдоху, как ты, — возразил Фонфред. — Твои камни — стекло. Один из них я оставлю, как доказательство, а остальные... — и он, смеясь, бросил в окно гибельные мои алмазы. — Впрочем, у тебя, верно, найдется еще достаточно гнусных подделок...

Все это я писал и дописывал в тюрьме. Утром меня повесят. Тюрьма — та самая, откуда я изловчился скрыться, разогнув поленом решетку. Сторожа узнали меня, и я вынес побои, едва не отправившие злосчастного Франсуа на тот свет.

В часы, когда мрак, голод, бешенство и тоска изливались рыданиями, когда чувства и мысли сливались в беззвучный вой, — передо мной вставал призрак задушенного. Как ужасно его кроткое, безумное, худое лицо! Две черные руки впиваются в его шею, а он пытается оторвать их и шепчет. Когда он, наконец, скрывается, растаяв в таинственной бездне загробных ужасов, я все еще слышу:

— Принеси мне цветов, Франсуа. Принеси ромашки, дающей спокойствие и веселье. И пестрых тюльпанов, обостряющих слух. И медвяниц, прогоняющих ночное томление. Не забудь ландышей и фиалок, дающих

нежность воспоминаниям, и возьми еще все то, что я скажу дальше...

Старик — ты делал стекло, в наивной и безумной мечте представляя, что помощью волшебства создашь несметное состояние! О, хилый дурак, жалкий безумец, одевающий Францию в бархат, кружева и парчу, — мне нужны алмазы! Ты стар был и полумертв, а я силен, я много хочу съесть и выпить, я могу бегать, прыгать, любить — все могу, а ты — ничего.

Он верил, что сундук полон алмазов. Будь проклят!

А, Монфокон, — я вижу тебя! Вот твоя виселица, вот петля. Здравствуй и прощай, темный палач!

## ПРЕСТУПЛЕНИЕ ОТПАВШЕГО ЛИСТА

### I

Ранум Нузаргет сосредоточенно чертил тростью на веселом песке летнего сквера таинственные фигуры. Со стороны можно было подумать, что этот грустный худой человек в кисейной чалме коротает бесполезный досуг. Однако дело обстояло серьезнее. Чертя арабески, изученные линии которых в процессе их возникновения помогали его напряженной воле посылать строго оформленные волны беззвучного разговора, — Ранум Нузаргет вел страстную речь своей сильной, жестоко наказанной душой с далеким углом земли — приютом Великого Посвящения.

Прошел час. Ранум высказал все. Раскаяние, скорбь, тоска — ужас отверженности, — все передал изгнанник в далекую, знойную страну, Великому Посвящению. Трепет незримых струн, соединявших его с вездесущей волей Высшего из Высших, того, чье лицо он, Ранум Нузаргет, не удостоился видеть, —

трепет опал. Струны исчезли. Ранум поднял голову и стал ждать ответа.

Перед ним, взад-вперед, пестрой сменой одежд и лиц шло множество городского люда. В этом огромном городе, кипящем лавой страстей, — алчности, гнева, изворотливости, страха, тысячецветных вожделений, растерянности и наглости, — Ранум испытывал острые мучения духа, стремящегося к покою блаженного созерцания, но вынужденного пребывать в грязи, крови и тьме несовершенных существ, проходящих низшие воплощения. Военный ад и социальное землетрясение мешали ему совершать внутреннюю работу. Заразительность настроения миллионов, чувствительная любому горожанину, с неизмеримо большею силой проникала в Ранума, так как малейшее внимание его изоцрпленной силы позволяло ему читать мысли, более — знать всю сокровенную сущность человеческой личности.

Он пристально смотрел на прохожих, временами любопытно оглядывавших белый халат, чалму и тонкое, коричневое лицо индуса с неподвижными, черными глазами, остающимися в памяти как окрик или удар. Пока что Ранум не видел ничего особенного. Двигался прикрытый однообразной формой ряд обычных мерзостей, но среди них, на исходе срока ожидавшегося ответа, прошел некто, — ничем не замечательный наше-

му наблюдению и поразительный для Ранума. Ему было лет тридцать; одет он был скромно, здоров, с приятным, легким лицом и твердой походкой.

Ранум глубоко вздохнул. Душа прохожего, совершенно ясная ему, была мертва как часы. Ее механические функции действовали отлично, свидетельством чему служили живой, острый взгляд прохожего, его перегруженность заботами о семье и пище, но магическое начало души, божественный свет Великой силы потух. Роза, потерявшая аромат, могла бы стать символом этого состояния. Душа прохожего была убита многолетними сотрясениями, ядом злых впечатлений. Эпоха изобиловала ими. Бесперывный их ряд в грубой схеме возможно выразить так: тоска, тягость, насилие, кровь, смерть, трупы, отчаяние. Дух, содрогаюсь, пресытился ими, огрубел и умер — стал трупом всему волнению жизни. Так доска, брошенная в водоворот волн, среди многоформенной кипучести водных сил, неизменно сохраняет плоскость поверхности, мертво двигаясь туда и сюда.

Ранум встречал много таких людей. Их путь требовал воскрешения. Меж тем, уловив тон судьбы в отношении этого прохожего, иог видел, что не далее как через два часа мертвый духом умрет и физически. Пока он еще не мог определить, какой род смерти

прикончит с ним, но проникся к несчастному великим состраданием. Человек, оканчивающий свои дни с мертвой душой, выходил навсегда из круга совершенствования и конечного достижения блаженства Нирваны. Он переживал свое последнее воплощение. Он терял все, не подозревая об этом.

Прохожий, ужаснувшийся Ранума, скрылся в толпе, но индус мысленно видел его путь среди городских улиц. Пока он оставил его, прислушиваясь к ответу Великого Посвящения.

Ответ этот раздался подобно шуму крови или музыкальному восприятию. Он был мрачен и краток. Ранум услышал:

”Тому, чье имя ныне, — Отпавший Лист.

Еще не кончен срок очищения.

Ранум! Ты вернешься, когда не будешь страдать. Сильно земное в тебе; разрушь и проснись”.

## II

Ранум был жертвой силы воображения. Ему давалось очень легко то, над чем другие ученики игогов трудились годами. Начало воспитания — отправные точки концентрации внутренней силы заключаются в упражнениях, часть которых может быть здесь рассказана.

Сидя в строго условленной позе, в обстановке и времени, определенных вековым ритуалом, ученик представляет на своем темени точку. Представление должно иметь силу реальности. Следующим усилием является превращение — воображением — этой точки в пламенный уголь. Затем: уголь описывает сплошной огненный круг вокруг сидящего и плоскость круга вертикальна земле. Затем круг начинает вращаться справа налево с быстротой волчка, — так что сидящий видит себя заключенным в огненной сфере.

Средняя продолжительность — в отдельности — достижений этих такова: точка — от одного до семи дней; уголь — от трех месяцев до одного года; круг — от трех до пяти лет; сфера — от пяти до семи.

Исключительная сила воображения помогла Рануму овладеть всей этой серией упражнений менее чем в один год. Тридцати лет он готовился уже принять Великое Посвящение.

За три дня до совершения таинства он пал, — его смял бунт связанных молодых сил, взрыв желаний. Все чистые цветы его духовного сада испепелились безудержным пожаром. Находясь в пустыне, в полном одиночестве, ради последнего сосредоточия высших размышлений, он дал себе — молниями воображения, материализующего представле-



ния, — все земное: власть, роскошь, негу и наслаждение. Сияющий, разноцветный рай окружал его.

Когда он очнулся, неумолимое приказание изгнало его в мир. Здесь среди потоков темной, материальной жизни он должен был пробыть до того времени, когда в тягчайших испытаниях и соблазнах станет бесстрастен и нем к земному. Кроме того, под страхом полного уничтожения ему было запрещено проявлять силу. Он должен был идти в жизни простым свидетелем временных ее теней, ее обманчивой и пестрой игры.

### III

Скорбь, вызванная ответом, прошла. Поборов ее, Ранум услышал над головой яркий, густой звук воздушной машины. Он посмотрел вверх, куда направились уже тысячи тревожных взглядов толпы и, не вставая, приблизился к человеку, летевшему под голубым небом на высоте церкви.

Бандит двигался со скоростью штормового ветра. За его твердым, сытым лицом с напряженными, налитыми злой волей чертами и за всем его хорошо развитым, здоровым телом сверкала черная тень убийства. Он был пьян воздухом, быстротой

и нервно возбужден сознанием опасного одиночества над чужим городом. Он готовился сбросить шесть снарядов с тем чувством ужасного и восхищением перед этим ужасным, какое испытывает человек, вынужденный броситься в пропасть силой ее гипноза.

Труба шестиэтажного дома скрыла на минуту белое видение, гулко сверлящее воздух, но Ранум тайным путем сознания, постичь которое мы бессильны, — установил уже связь меж бандитом и прохожим с мертвой душой. Человек с мертвой душой должен был погибнуть от снаряда, брошенного на углу Красной и Черной улиц. Ранум заставил себя увидеть его, медленно вышедшего из лавки по направлению к остановке трамвая. Он увидел также не заполненную еще падением бомбы пустую кривую воздуха и понял, что нельзя терять времени.

”Да, — сказал Ранум, — он умрет, не узнав радости воскресения. Это — тягчайшее из злодейств, мыслимых на земле. Я не дам совершиться этому”.

Он знал, что погибнет сам, вмешавшись нематериальным проявлением воли в материальную связь явлений, но даже тени колебания не было в его душе. Ему дано было понимать, чего лишается человек, лишаясь радости воскресения мертвой души. Ужас потряс его. Он сосредоточил волю в усилии

длительного порыва и перешел, — в н у т р е н н о, — с скамьи сквера на белое сверло воздуха, к пьяному исступлением человеку и там заградил его дух безмолвными приказаниями.

Летевший человек вздрогнул; им овладели смятение и тоска. Его члены как бы налились свинцом; в глазах потемнело. Его сознание стало безвольным сном. Не понимая, что и зачем делает, он произвел ряд движений, существенно противоположных назначенной себе цели. Аппарат круто повернул в сторону, вылетел над рекой, к огромной пустой площади и, мягко нырнув вниз, разбился с смертельной высоты о кучи бульжника.

Ранум услышал гул неразрушительных взрывов и понял, что совершил преступление. Выпрямившись, спокойно сложив руки, он ожидал казни. В это время от клена, распустившего над его головой широкие, тенистые ветви, на колени Ранума упал отклеванный птицей зеленый лист, и Ранум машинально поднял предсмертный подарок дерева.

Тогда из глубины дивных пространств Индии, из воздуха и из сердца Великого Посвящения услышал он весть, заставившую его улыбнуться:

”Брат наш, Отпавший Лист, ты совершил великое преступление!

Оно прощено, — ради жертвы, перед которою ты не остановился.

Отныне — оторванный навсегда от святого дерева, — ты, слишком непокорный, чтобы быть с нами, но и не заслуживший уничтожения, — ибо восстал против смерти духа, — будешь одинок и вечно зелен живой жизнью, подобной тому листу, какой держишь в руке”.

Ранум поцеловал душистый кленовый листик и с легким сердцем удалился из сквера.

## ГАТТ, ВИТТ И РЕДОТТ

### I

Три человека, желая разбогатеть, отправились в Африку. Им очень хотелось иметь собственные автомобили, собственные дома и собственные сады. В то время африканские алмазные прииски, расположенные на реке Вивере (эта река такая маленькая, что ее нет на карте), каждый месяц давали от тысячи до трех тысяч каратов драгоценного камня. Поэтому каждый месяц пароход, приходивший к тому берегу из Занзибара, ссаживал сотни людей, желавших попытать счастья.

Наши три человека были: почтальон, извозчик и пекарь. Первого звали Гатт, второго — Витт и третьего — Редотт. Скопив денег на дорогу, отправились они в страну змей, обезьян и львов копать тамошние пески.

Немедленно по приезде с ними начались несчастные случаи. Сначала заболел лихорадкой Редотт, затем Витт и наконец Гатт. Пока они лежали в палатке, отпиваясь хиной и кокосовым пивом, негры украли у них

все деньги, инструменты и лошадей. Выздоровев, они подыскивали себе участок, где, по их расчетам, должны были находиться алмазы; заняли три лопаты и стали работать.

После целого месяца усиленного труда на всех троих нашли всего лишь один-единственный бриллиант, но и тот мутный, как грязное стекло. Он был, правда, величиной с орех, но почти ничего не стоил; маклер дал за него только три фунта.

Между тем их энергия стала падать. Они попытались менять участки, но нигде более ничего не нашли. Кроме того, зной плохо действовал на состояние их здоровья: они худели, пили много воды и почти не могли спать; тревога и забота не давали им покоя.

Однажды вечером сидели они у костра, молча и тихо.

— Итак, у нас ничего нет, — сказал задумчивый, спокойный Редотт, — нет даже сил, чтобы разрубить дерево для костра. Питаемся мы почти одной зеленью. Этак мы скоро подохнем.

— Я не желаю подыхать, — возразил беспокойный, крикливый, более всех тщедушный и прожорливый Гатт, — я хочу, понимаете, бифштексиков, вина и денег. Вообще я хочу широко наслаждаться жизнью, черт ее побери.

— Наслаждайся, — насмешливо сказал желчный черноволосый Витт. — Мне бы только немного окрепнуть. Я тогда пойду к гол-

ландцу Ван-Клопсу. Ван-Клопс даст мне ружье и пороха. И я присоединюсь к охотникам за слоновой костью. Но, увы, я должен поесть, поесть много раз хорошего мяса.

— Да, сильным быть хорошо, — отозвался Редотт. — Куда я гожусь? — Он засучил рукава и посмотрел на свои худые руки. — Будь я, например, немного посильнее Самсона, я черной земляной работой добыл бы себе здесь форменный капитал. Разве не так?

— Я ловил бы слонов, как мышей, — сказал Витт. — Я вырывал бы руками клыки и таскал бы целые снопы их, как пачку папирос. Кроме того, десяток-другой львов, пойманных живьем, купит любой зверинец. А вы знаете, сколько стоит приличный лев? Говорят, тысяча фунтов. Теперь сосчитайте.

— Двадцать тысяч фунтов, — сказал Гатт. — При такой силище, о которой вы говорите, я просто плюнул бы в реку, не сходя с места, и убил бы простым плевком столько рыбы, сколько нужно для всего прииска. Рыба свежая — пожалуйста, и деньги на бочку.

## II

— Так в чем же дело? — раздался над головами их громкий вопрос.

Костер бросал в тьму летающий рыжий блеск, и в блеске этом показалась бронзо-

вая фигура индуса. Его тюрбан сиял дорогим шитьем, за поясом мерцали драгоценные камни кинжальной рукояти. Матовые, орлиные глаза индуса выражали достоинство и гордость. Недавно прибыл он на Виверу с множеством лошадей и слуг, но не собирался жить здесь; как говорили, держит он путь в глубину Африки.

— Ваше степенство...— пробормотал, подымаясь, Гатт. — Удостойте присесть.

— Садитесь, — угрюмо пробормотал Витт.

Редотт встал и, ответив индусу на его приветственный жест поклоном, сказал:

— Саиб Шах-Дуран, зажги свою трубку у нашего огня. Больше у нас ничего нет.

— Но будет, — сказал индус. — Я прогуливался и услышал ваш разговор. — Он сел. — Так в чем дело? Повторяю, — продолжал Шах-Дуран, — если хотите быть сильными, я могу исполнить ваше желание.

— Вы шутите! — воскликнул Редотт.

— У нас, в Индии, такими вещами не шутят, — сказал индус.

— Арабские сказки, — фыркнул на ухо Витту смешливый Гатт, и шепотом ответил ему Витт:

— Шах, кажется, был в миссии и хватил немного хмельного.

Тонкий слух индуса поймал смысл их слов.

— Я не пью "хмельное", — сказал он без раздражения, но так внушительно, что Витт



и Гатт оторопели. — Что же касается "арабских сказок", то лучше мне прямо приступить к делу. Хотите вы быть сильными или нет?..

— О! — сказал Витт.

— Ага! — ответил Гатт.

— Да! — произнес Редотт.

Шах-Дуран расстегнул платье и достал из бисерного мешочка три пшеничных зерна.

— Вот зерна, — сказал он, — эти зерна взяты из саркофага египетского фараона Рамзеса I, который жил тысячи лет назад. В них заключена сила жизни. Пять тысяч лет копилась она и увеличивалась. Человек, съевший это зерно, станет сильнее целого стада буйволов.

— Позвольте спросить вас, — обратился к нему Гатт, — почему именно это зерно имеет такую силу, а те, из каких печем мы свои лепешки, вызывают только расстройство желудка?

— У тебя не хватает терпения пропечь лепешку как следует. Что касается этих зерен, то я сейчас объясню, почему в них колоссальная сила. Египетская пшеница в хорошем урожае дает сам-двести. Следовательно, из одного зерна, — если бы оно проросло, — получится двести зерен.

— Он не пил виски, — шепнул Гатт Витту как можно тише. — Единожды двести — двести, это я ручаюсь.

— Я не пил виски, — меланхолически подтвердил Шах-Дуран, а Гатт сделал невинные собачьи глаза. — В доказательство этого я приведу дальнейший расчет. Нил разливается два раза в год, два раза в год плоские его берега дают жатву... Итак, одно зерно с его двумястами детьми дадут в год 40 тысяч зерен. На следующий год 40 тысяч произведут 80 миллионов потомства. На пятый — заметьте, только на пятый год — число зерен возрастет до 102 центилионов четыреста секстилионов, то есть...

Индус взял палочку и начертил на песке 1024, прибавив к этой цифре 23 нуля.

— Вот, — сказал он, — вот сколько будет зерен через пять лет только из одного зерна.

— Высшая математика! — благоговейно прошептал Гатт.

— Говорить ли о пяти тысячах лет? — сказал, посмеиваясь, Шах-Дуран. — Тогда будет столько нулей, что вы соскучитесь их писать.

— Сойду с ума, — подтвердил Витт.

— Или... — вставил Гатт.

Редотт молчал.

— Один золотник весу содержит колос, — продолжал индус. — Та цифра, что я написал, выдержит тяжесть такого же числа колосьев, то есть шестьдесят четыре квинтиллиона пудов зерна. Вот сила, с которой нам приходится иметь дело. Какова же она за пять тысяч лет?

— Но эту силу, — ехидно возразил Витт, — вы изволите спокойно подбрасывать на ладони да еще увеличенную в три раза.

— Да, — сказал Шах-Дуран. — Вся сила растительности одного зерна за пять тысяч лет сообщится тому, кто проглотит зерно. Как и почему, это я вам объяснять не буду. Желаете ли вы иметь такую силу?

Как ни был притуплен рассудок алмазоискателей нуждой и усталостью, все же они поняли, что предлагают им, — и похолодели от ужаса. Но скоро овладел страхом своим Редотт и, улыбаясь, протянул руку.

— Берешь? — сказал Шах-Дуран.

— Да.

Но, положив на ладонь темное зерно, Редотт взял иголку и царапнул ею свой талисман. Одна едва заметная пылинка отделилась при этом, и он лизнул то место руки, где она должна была быть.

Индуc благосклонно улыбнулся.

— Ты осторожен, — сказал он, — и, кажется, поступил хорошо. Но даже при такой скромной порции ты спокойно можешь разбить кулаком каменный дом. Брось это зерно, оно более не может служить. Пусть идет в землю и спокойно освобождает свою силу. Нуте, — обратился он к остальным, — что скажете вы?

”Не может быть столько секстиллионов из одного семечка”, — легкомысленно подумал Гатт и, взяв зерно, съел его, даже разжевал.

— Вот и все, — сказал он, благодушно прислонясь к камню, затем упал.

Раздался оглушительный вой.

Выскочив при движении локтя Гатта, десятитонный камень секнул пространство на неизмеримую высоту; там, раскаленный трением воздуха, вспыхнул он метеором и рассыпался яркою пылью.

— Ползерна! — вскричал, видя это, охлажденный Витт. — Ползерна — настоящая порция! Иначе меня разорвет сила.

Индуc вынул перочинный ножик и отсек ползерна Витту. Налив чашку воды, Витт запил ползерна крупным глотком.

— Чтобы растворилось немного, — сказал он и похлопал себя по животу.

Шах-Дуран встал.

— Будьте здоровы, — сказал индус, поклонился и исчез во тьме.

Затаив дыхание, смотрели наши приятели, как тает во мраке его белый тюрбан, потом осторожно сели и закрыли глаза.

### III

То, что они чувствовали, было поразительно. Казалось Гатту, что в жилах его мчатся и гудят железнодорожные поезда. Витт слышал, что сила вливается в него, подобно водопаду. Редотт задумчиво ковырял ногтем

огромный пень, откалывая пудовые куски дерева.

Но их оцепенение, их изумление перед самими собой скоро прошло, так как тело их уже забыло, что значит быть слабым. Первый вскочил Гатт, он закричал что было духу:

— С такой-то силой, как у меня, шутить не приходится! Эх, где бы ее показать?.. К чему бы это ее немедленно приложить?.. Никак не подвертывается такого предмета!

Он кружился, топал и размахивал руками, оглядываясь; затем, сбив с ног Витта, лишившегося от толчка чувств, кинулся к тысячелетнему баобабу, взял его из земли так же легко, как мы берем спичку, и хлопнул им по Вивере.

Удар был неплох. Дерево, пробив течение реки, прошло в ее дно на глубину двухсот метров и обратилось в пыль, и в этой же бешеной воронке земли и воды мгновенно исчез Гатт, увлеченный силой собственного удара, и от него не осталось ничего. Вивера же вышла из берегов, а затем вздрогнула на триста миль в окружности, отчего жители проснулись и побежали, думая, что началось землетрясение.

— Ты видел? — сказал Редотт очнувшемуся от толчка Витту. — Он сожрал, правда, все зерно, но и в тебя вошла приличная порция. Смотри, не ошибись.

— Я буду охотиться на слонов, — сказал Витт. — Теперь мне не надо никакого ружья.

И они зажили разной жизнью. Витт ушел с топором в лес и пропадавал три недели, разыскивая слонов. Сначала скажем, как действовал он, потом вернемся к Редотту. Витт действовал до крайности просто. Его первая встреча со слонем произошла так: слон бросился на него, подняв хобот. Витт намотал хобот на руку, пригнул голову испуганного великана к земле и вырвал клыки; после такой операции зверь бросился бежать, а Витт, всадив клыки в землю, пошел дальше. То один, то два, то целое стадо слонов попадалось ему, и у всех их, то дергая за ноги, то опрокидывая кулаком, вырывал он клыки с хладнокровием и легкостью зубного врача. Он опрокидывал их, как кот мышей. Очень скоро у него скопилось тысяча двести пудов слоновой кости. "Это будет лучше алмазов", — сказал он, когда связал плот из тысячелетних деревьев и погрузил на него добычу. Плот тихо стоял у берега, Витт сидел у костра, благоденствовал и курил. Теперь ему было легко добывать пищу. Стоило хлопнуть ладонью по стволу кокосового или мангового дерева, как все плоды, стряхиваясь, усыпали землю вокруг него. Если же ему случалось попасть камнем в стадо антилоп, то одна из них наверняка была разорвана на куски.

И от того, что он стал так невероятно силен и каждый день убивал зверей,— он стал очень жесток. Ему доставляло удовольствие разрывать рот львам, давить пальцами рысей и пантер, связывать хвостами всех вместе — носорогов, красивых жирафов, слонов, крокодилов и буйволов — и смотреть, как обезумевшее от ярости стадо грызло и топтало друг друга. Он громко хохотал, а затем, набрав пудовых камней, бросал их в пленников, пока жертвы не превращались в груды дымного мяса.

И вот, когда однажды он сидел у костра, посматривая на свой плот и замышляя, не прибавить ли еще груза,— маленькая коралловая змея, упав с дерева, вонзила ему зубы в колено и умерла, так как он раздавил ее. Затем он сам покрылся холодным потом, скорчился, почернел и умер. И гиены поужинали его трупом.

#### IV

Между тем Редотт, почувствовав такую силу, что мог бы мешать землю рукой, как мы ложкой мешаем крупу, долго размышлял, что бы теперь предпринять. Он хорошо понимал, что обнаружить силу свою опасно в полном размере, так как его будут бояться, будут ему завидовать, и он наживет себе

врагов. Если враг стреляет в темноте ночью,—какая сила удержит кровь пробитого сердца?

— Что ж, надо работать все-таки, — сказал он себе. — Работать мне теперь будет легко. Вся тяжелая человеческая работа есть для меня сущие пустяки.

Он нанялся на прииск копать землю. Вначале ему было очень смешно притворно ковырять землю лопаткой, делая иногда вид, что устал; однако он скоро приноровился и, возбуждая, правда, великое удивление, начал выкапывать за день столько земли, сколько самый сильный негр мог выкопать только в три дня.

”Вот так силач!” — говорили о нем, но так как такая сила, хотя очень редко, все же существует, то ровно никто не подозревал, что Редотт может разбить каменный дом ударом кулака.

У него было много работы и много денег, так как ему платили в пять раз больше, чем другим. Случилось, что он подружился с одним бельгийцем и, малость подвыпив, открыл ему свою тайну.

Бельгиец захохотал.

— Никак я не думал, — сказал он насупившемуся Редотту, — что вы, такой дельный, честный человек, можете так нагло и глупо врать!

Редотт спокойно посмотрел на него, затем встал.



— Идите за мной! — сурово сказал он.

Они вышли из палатки и подошли к рельсам, сложенным на пути.

— Вот куча рельс, — сказал Редотт, — смотрите и судите.

Затем он взял рельсу и воткнул ее в землю аршина на три, так, что конец торчал вровень с его лицом. Бельгиец попятился, а Редотт, хлопнув ладонью по верхнему концу рельсы, заставил ее исчезнуть в землю.

— В таком случае, — сказал упавший от испуга бельгиец, вставая и вытирая о штаны руки, — надо завтра же завоевать Африку. Я буду вашим министром. Не будете же вы без толка и пользы держать вашу сверх-переверх-силищу?!

— Не знаю, — сказал Редотт. — Я посмотрю. Может, наступит день, когда мне понадобится вся моя сила. Лучше я поберегу ее.

И он взял с бельгийца клятву молчать.

— Клянусь Бельгией! — сказал уstraшенный рабочий.

— Хорошо, я вам верю, — ответил Редотт.

## V

Была ночь, когда разбудил Редотта страшный, глухой гул. Он вскочил и побежал к копиям. Множество народа бежало туда, крича: "Обвал, обвал!" И стало всем ясно, что на

большой глубине под землей, где рыли землю, разыскивая алмазы, тысячи человек, случилось несчастье.

Разные назывались причины. Однако скоро стало известно, что взорвались ящики с динамитом. Взрыв был так силен, что обвалились и засыпались все верхние входы, проникнуть под землю было уже нельзя.

Увидев ряд фонарей, Редотт подошел к ним. Здесь собрались инженеры, горячо спорившие о том, как спасти тех, кто, погребенный обвалом, может быть, еще жив, но должен будет задохнуться от недостатка воздуха. Здесь же громко и тяжело плакали женщины, мужья которых работали под землей. Каждая из них успела уже броситься на колени перед инженером, умоляя спасти близких, но инженеры только разводили руками. И, высчитав приблизительно необходимое количество дней, чтобы открыть шахту, сказали, что потребуется десять дней; только через десять дней можно будет сойти вниз и извлечь мертвых и живых, — если живые не поумирают к тому времени от голода и удушья.

В том месте, где было отверстие шахты, склон горы оканчивался справа отвесной скалой, имевшей высоту не менее двухсот футов. На эту-то скалу обратил свое внимание Редотт, слушая вполуха, что говорят инженеры. Наконец раздумье его окончилось;

он вытряхнул свою трубку и подошел к совещанию. Теперь он не скрывал свою силу, так как торопился. Проходя сквозь толпу, он просто разводил руками, как по воде, и от этих тихих его движений люди посыпались, как горох. Но все это было приписано суматохе и толкотне, поэтому никакого удивления еще не было. Ему только кричали:

— Чего вы толкаетесь!

— Мистер Витсон, — сказал Редотт старшему инженеру, — есть способ спасти всех или почти всех. Разрешите мне это сделать.

Инженеры умолкли. Штейгер, знакомый Редотта, сказал с досадой:

— Ступайте и проспите, Редотт. Нехорошо быть сегодня пьяным.

— Понюхайте! — Редотт взял штейгера за голову, притянул к себе идохнул ему прямо в нос. — Пахнет ли водкой?

— Не пахнет, — сказал тот, — но вы, значит, малость не в своем уме. Идите и не мешайте.

— Витсон, — сказал Редотт, поворачиваясь к инженеру, — слушайте, я говорю правду: я спасу всех. И сейчас.

— Объясните толком, чего вы хотите.

— Вот чего я хочу: чтобы вы и все, кто тут есть, приготовились увидеть небольшое гимнастическое упражнение. Дело, прямо скажу, — ответственное. Кроме того, прикажите публике отступить подальше от шахты, чтобы не произошло новых несчастий.

Все были растеряны, все говорили, перебивая друг друга, и Редотт видел, что ему никто не верит. Тогда подошел и встал рядом с ним бледный, как смерть, бельгиец. Смотря на Редотта, он трясся от ожидания и волнения.

— Он сделает, — сказал бельгиец, — он может, верьте ему, — клянусь Бельгией!

Не зная, что делать, и уступая мольбам рабочих, требовавших разрешения Редотту сделать свою попытку, Витсон приказал разойтись всем как можно дальше от шахты. Едва приказание было исполнено, как Редотт неторопливо подошел к скале, в которую упирался горный скат, и исчез. Во тьме было не видно, что он делает. Толпа, затаив дыхание, ожидала.

И вот произошло великое дело, памятное доселе в летописях алмазных копей Виверы. Редотт уперся в скалу правым плечом, скрестил руки, ногами уперся в камень и, собрав всю силу, двинул весь горный склон прочь. Под этим местом шли ходы шахт. Он сгреб гору своей скалой так же просто, как паровоз грудью сбрасывает с рельс снежный завал, открыв этим усилием сразу несколько вертикальных ходов. Так мальчик сбивает вершину муравейника, обнажая внутренние муравьиные галереи.

Рев сорванных горных пластов напомнил ужасный гул тропических бурь. Ему

ответили крики замурованных обвалом людей. Торопливо выползали они на воздух, вынося обмерших и откопанных. Спасение остальных было уже делом часов, а не дней.

Труп Редотта нашли лежащим у опрокинутой и далеко отъехавшей скалы. От непосильного напряжения у него лопнула на руках и ногах кожа; лопнули жилы шеи и внутренних органов. Среди других за его гробом шел бельгиец, говоря каждому, кто хотел слушать:

— Действительно, он свернул шею горе, клянусь Бельгией!

## СИЛА НЕПОСТИЖИМОГО

В то время как одним в эту ночь снились сказочные богатства Востока, другим снилось, что черти увлекают их в неведомые дали океана, где должны они блуждать до окончания жизни.

*Ф. Купер. "Мерседес-де-Кастилья".*

### I

Среди людей, обладающих острейшей духовной чувствительностью, Грациан Дюплэ занимал то беспокойное место, на котором сила жизненных возбуждений близка к прорыву в безумие. Весьма частым критическим его состоянием были моменты, когда, свободно отдаваясь наплывающим впечатлениям, внезапно вздрагивал он в привлекательно ужасном предчувствии мгновенного озарения, смысл которого был бы откровением смысла всего. Естественно, что человеческий разум инстинктивной конвульсией отталкивал подобный поток, и взрыв нервности сменялся упадком сил; в противном случае — нечто, огромное сознания, основанное, быть может, на син-

тезе гомерическом, неизбежно должно было сокрушить ум, подобно деревенской мельнице, обслуженной Ниагарой.

Основным тоном жизни Дюплэ было никогда не покидающее его чувство музыкального обаяния. Лучшим примером этого, вполне объясняющим такую странность души, может служить кинематограф, картины которого, как известно, сопровождаются музыкой. Немое действие, окрашенное звуками соответствующих мелодий, приобретает поэтический колорит. Теряется моральная перспектива: подвиг и разгул, благословение и злодейство, произведя различные зрительные впечатления, дают суммой своей лишь увлекательное зрелище — возбуждены чувства, но возбуждены эстетически. Меж действием и оркестром расстилается незримая тень элегии, и в тени этой тонут границы фактов, делая их — повторим это — увлекающим зрелищем. Причиной служит музыкальное обаяние; следствием является игра растроганных чувств, ведущих сквозь тень элегии к радости обостренного созерцания.

Такое же именно отношение к сущему — отношение музыкальной приподнятости — составляло неизменный тон жизни Дюплэ. Его как бы сопровождал незримый оркестр, развивая бесконечные вариации некой основной мелодии, звуки которой, недоступные слуху физическому, оставляли впечатление совер-

шеннейшей музыкальной прелести. В силу такого осложнения восприятий личность Дюплэ со всем тем, что делал, думал и говорил, казалась самому ему видимой как бы со стороны — действующим лицом пьесы без названия и конца — предметом наблюдения. Даже страдания в самой их черной и мучительной степени переносились Дюплэ тою же дорогой стороннего впечатления; сам — публика и герой пьесы — был он погружен в яркое созерцание, окрашенное музыкальным волнением.

Вместе с тем во время тревожных и странных снов, переплетавших жизнь с почти осязаемым миром отчетливых сновидений, он несколько раз слышал музыку, от первых же тактов которой пробуждался в состоянии полубезумного трепета. Музыка эта была откровением гармонии, какой не возникало еще нигде. Ее красота ужасала сверхъестественной силой созвучий, способных, казалось, превратить ад в лазурь. Неохватываемое сознанием совершенство этой божественно-ликующей музыки было — как чувствовал всем существом Грациан Дюплэ — полным воплощением теней великого обаяния, с которым он проходил жизнь и которое являлось предположительно эхом сверкающего первоисточника.

Однако память Дюплэ по пробуждении отказывалась восстановить слышанное. На-



прасно еще полный вихренных впечатлений схватывал он карандаш и бумагу в обманчивом восторге ложного захвата сокровища; звуки, удаляясь, бледнели, вспыхивая изредка мучительным звуковым счастьем, смолкали, и тишина ночи ревниво останавливала их эхо — музыкальное обаяние.

Грациан Дюплэ был скрипач.

## II

Изыскания Румиера в области цветной фотографии и гипноза, в двух столь различных ведомствах ищущей деятельности, достигнув значительных успехов, создали тем самым настойчивому ученому многочисленный и беспрерывно увеличивающийся круг почитателей. Поэтому дверной звонок был мучителем Румиера, и он в тот день, о котором идет речь, с мукой выслушивал его двадцатый по числу треск, заметив слуге, что, если посетитель не выкажет особой настойчивости,— не лишним будет напомнить ему об окончании через пять минут приемного часа доктора.

Однако, возвращаясь, слуга доложил, что посетитель, очень болезненный человек с виду, проявил требовательность раздражительную и упорную. Румиер отложил в сторону бледный снимок цветущих утренних облаков и перешел к письменному столу, где

встречал посетителей. Дав знак пропустить неизвестного к себе, он увидел человека вульгарной внешности, типа рыночных проходимцев, одетого безотносительно к моде и с сомнительною опрятностью; он был мал ростом, но страшно худ, что заменяло ему высокие каблуки. Тупое страдание мелькало в его запавших глазах; лоб был высок, но скрыт прядями черных волос, забытых гребнем; нервность интеллигента и огрубение тяжелой жизненной школы смешивались в этом лице, насчитывавшем, быть может, тридцать с небольшим лет.

— Я музыкант, — сказал он после обычных предварительных фраз, произнесенных взаимно, — и чрезвычайно прошу вас не отказать мне в великой помощи. Случай, который видите вы в моем лице, едва ли представлялся разнообразию даже вашей практики. Меня зовут Грациан Дюплэ.

Около года назад среди снов, ощущения и детали которых имеют для меня почти реальное значение, благодаря их, так сказать, печатной яркости, я уловил мотив — неизъяснимую мелодию, преследующую меня с тех пор почти каждую ночь. Мелодия эта переходит всякие границы выражения ее силы и свойств обычным путем слов; услышав ее, я готов уверовать в музыку сфер; есть нечеловеческое в ее величии, меж тем как красота звукосочетаний неизмеримо превосходит

все сыгранное до сих пор трубами и струнами. Она построена по законам, нам неизвестным. Пробуждаясь, я ничего не помню и, тщетно цепляясь за впечатление, — единственное, что остается мне в этих случаях, подобно перу жар-птицы, — пытаюсь открыть источник, сладкая капля которого удесятеряет жажду погибающего в безводии. Быть может, во сне душа наша более восприимчива; раз зная, помня, что слышал эту чудесную музыку, я тем не менее бессилён удержать памятью даже один такт. Как бы то ни было, усердно прошу вас приложить все ваше искусство или к укреплению моей памяти, или же — если это можно — к прямой силе внушения, под неотразимым давлением которой я мог бы сыграть (я захватил скрипку) в присутствии вашем все то, что так отчетливо волнует меня во сне. Два различной важности следствия может дать этот опыт: первое — что совершенство таинственной музыки окажется сонным искажением чувств, как нередко бывает с теми, кому снится, что они читают книгу высокой талантливости, — меж тем, проснувшись, вспоминают лишь ряд бессмысленных фраз; тогда, уверившись в самообмане, я прибегну к систематическому лечению, вполне довольный сознанием, что немного теряю от этого; второе следствие — нотное закрепощение мелодии — неизмеримо важнее. Быть может,

весь музыкальный мир прошлого и настоящего времени исчезнет в новых открытиях, как исчезают семена, став цветками, или как гусеница, перестающая в назначенный час быть скрытой ликующей бабочкой. Быть может, изменится, сдвинувшись на основах своих, самое сознание человечества, потому что, — повторяю и верю себе в этом, — сила той музыки имеет в себе нечто божественное и сокрушительное.

Дюплэ высказал все это, сопровождая речь сильной, но плавной жестикуляцией; его манера говорить выказывала человека, привычного к рассуждениям не только лишь о вещах банальных или семейных; взгляд его, хотя напряженный, изобличая крайнюю нервность, был лишен теней безумия, и Румиер нашел, что опыт, во всяком случае, обещает быть интересным. Однако, прежде чем приступить к этому опыту, он счел нужным предупредить Дюплэ об опасности, связанной с таким сильным возмущением чувств в гипнотическом состоянии.

— Вы, — сказал Румиер, — не подозреваете, вероятно, ловушки, в какую может заманить вас чрезмерное мозговое возбуждение, оказавшееся (надо допустить это) бессильным восстановить несуществующее. Допуская, что эта мелодия — лишь поразительно ясное представление — желание, жажда, — все, что хотите, но не сама музыка, — я могу

наградить вас тяжелым душевным заболеванием: даже смерть угрожает вам в случае мозгового кровоизлияния, что возможно.

— Я готов, — сказал Дюплэ. — Распорядитесь принести мою скрипку.

Когда это было исполнено и Дюплэ со смычком и скрипкою в руках уселся в глубокое покойное кресло, Румиер в течение не более как минуты усыпил его взглядом и приказанием.

— Грациан Дюплэ! — сказал доктор, испытывая непривычное волнение. — Приказываю вам меня слышать и мне повиноваться во всем без исключения.

— Я повинуюсь, — мертвенно ответил Дюплэ.

Квартира Румиера была в первом этаже, окнами выходя на небольшой переулок. Окно кабинета было раскрыто. Музыкант сидел невдалеке от окна. Он был неподвижен и бледен; крупный холодный пот стекал по его лицу. Румиер, помедлив, сказал:

— Дюплэ! Вы слышите музыку, о которой мне говорили.

Дюплэ затрепетал; невидящие глаза открылись широко и безумно, и молния экстаза изменила его лицо, подобно засверкавшему от солнца тусклому до того морю. Долгий как стихающий гул колокола стон огласил комнату.

— Я слышу! — вскричал Дюплэ.

— Теперь, — дрожа сам в потоке этого нервного излучения, незримо рассеиваемого музыкантом, — теперь, — продолжал Румиер, — вы играйте то, что слышите. Скрипка в ваших руках. Начинайте!

Дюплэ встал, резко взмахнул смычком, и сердце гипнотизера, силой мгновенно прихлынувшей крови, болезненно застучало. При первых же звуках, слетевших со струн скрипки Дюплэ, Румиер понял, что слушать дальше нельзя. Эти звуки ослепляли и низвергали. Никто не мог бы р а с с к а з а т ь их. Румиер лишь почувствовал, что вся его жизнь в том виде, в каком прошла она до сего дня, совершенно не нужна ему, постыла и бесполезна и что под действием такой музыки человек — кто бы он ни был — совершит все с одинаковой яростью упоения — величайшее злодеяние и величайшую жертву. Тоскливый страх овладел им; сделав усилие, почти нечеловеческое в том состоянии, Румиер вырвал скрипку из рук Дюплэ с таким чувством, как если бы плюнул в лицо божества, и, прекратив тем уничтожающее очарование, крикнул:

— Дюплэ! Вы ничего не слышали и ничего не играли. Вы совершенно забыли все, что происходило во время вашего сна, сядьте и проснитесь!

Дюплэ, сев, сонно открыл глаза. Пробуждение оставило ему чувство беспредельной

тоски; он помнил лишь зачем пришел к Румиеру, и, восстановив это, задал соответствующий вопрос.

— Следовало ожидать этого, — сказал Румиер, стоя к нему спиной и повернувшись лишь после того, как овладел волнением. — Вы сыграли несколько опереточных арий, перемешанных с обрывками серенады Шуберта.

После краткого разговора, последовавшего за сообщением Румиера, Дюплэ, растерянно извиняясь, поблагодарил его и вышел на улицу. Здесь, с первых шагов, догнал и остановил его неизвестный, прилично одетый человек; он был чрезвычайно возбужден; взглянув на скрипку Дюплэ и мельком поклонившись, человек этот спросил:

— Простите, не вы ли это играли сейчас за окном, выходящим на переулок? Музыка ваша внезапно оборвалась; случайно проходя там, я слышал ее и желал бы еще услышать. Что играли вы?! Вопрос мой не празден: я, бывший офицер, плакал навзрыд, как маленький, среди шума и суеты дня, от неведомых чувств. Что это, ради бога, и кто вы?

Дюплэ, начавший слушать рассеянно, под конец речи прохожего мгновенно уяснил истину. Бешенство овладело им. Оставив своего собеседника, с быстротой оскорбительной и тревожной, он кинулся назад, позвонил и менее чем через минуту снова

стоял перед изумленным гипнотизером. Ярость заставила его потерять всякую связность речи; задыхаясь, он крикнул:

— Ты скрыл!.. Скрыл!.. Негодяй! Знаешь ли ты, что взял у меня?! Хуже убийства! Нет прощения! Смерть!.. Смерть за это!

Он бросился на Румиера и повалил его, нанося удары. В этот момент явились на шум слуги. Они не без труда связали Дюплэ, который после того распоряжением доктора был отвезен в психиатрическую лечебницу.

С тех пор он жил там, проявляя все признаки неизлечимой меланхолии, перемежающейся время от времени припадками самого разнузданного бешенства. В тихом состоянии он обыкновенно подолгу с тоской и слезами играл на своей скрипке, ища потерянное и удивляя врачей оригинальностью некоторых фантазий, сочиняемых непрерывно. Иногда, среди вариаций на одну, особенно грустную тему, из-под смычка слетали странные такты, заставляющие бледнеть, — вспышки обессиленной красоты, намеки на нечто большее... но это повторялось все реже и кончилось с его смертью, пришедшей в бреду, полном горячих просьб поднять безжалостный занавес, скрывающий таинственное, прекрасное зрелище.



## КЛУБНЫЙ АРАП

### I

Некто Юнг, продав дом в Казани, переселился в Петроград. Он был холост. Скучая без знакомых в большом городе, Юнг первое время усиленно посещал театры, а потом, записавшись членом в игорный клуб "Общество престарелых мучеников", пристрастился к карточной игре и каждый день являлся в свой номер гостиницы лишь утром, не раньше семи.

Никогда еще азарт не развивался так сильно в Петрограде. К осени 1917 года в Петрограде образовалось свыше пятидесяти игорных притонов, носивших благозвучные, корректные наименования, как-то: "Собрание вдумчивых музыкантов", "Общество интеллигентных тружеников", "Отдых проплюйского района" и т. п. Кроме карточной игры, ничем не занимались в этих притонах. Каждый, кто хотел, мог прийти с улицы и за 10 — 15 рублей получить членский билет. Публика была самая сборная: чиновники, студенты, мародеры, мастеровые, торговцы, шулера, профес-

сиональные игроки и невероятное количество солдат, располагавших подчас, неведомо откуда, довольно большими деньгами.

Когда Юнг начал играть, у него было около сорока тысяч, вырученных сверх закладной. Крайне нервный и жадный к впечатлениям, он отдавался игре всем существом, входя не только в волнующую остроту данных или же битых карт, но в весь строй игорной ночной жизни. Он настолько познал ее, что не отделял ее от игры; ее наглядность и размышления о ней как бы сдабривали сухое волнение азарта и часто сглаживали мучительность проигрыша, развлекая своей мошеннической, живой сущностью. Не будь этой игорной кулисы, играй Юнг в клубе старинном, чопорном, где "шокинг" не идет дальше пропавшего карточного долга, пули в лоб или же — верх несчастья — уличения опростоволосившегося элегантного шулера, Юнг, может быть, бросил бы скоро игру. Будучи чужим клубной публике, входя только в игру, с ее лицемерной церемонностью сдерживаемых хорошего тона ради страстей, он, быстро утомленный, пресытился бы однообразным прыганием очков в раскрываемых картах. А в "Обществе престарелых мучеников" его заражал азартом и удерживал именно этот густой, крепкий запах жадной безнравственности, нечто животное к деньгам, в силу чего они приобретали вес-

кий, жизненный вкус, разжигая аппетиты и делаясь оттого желанными, как голодному кушанье.

Во всех петроградских клубах игра шла главным образом в "макао" — старинная португальская игра, несколько видоизмененная временем.

В неделю Юнг изучил быт "Престарелых мучеников". Шулеров, в прямом артистическом значении этого слова, здесь не было, отчасти потому, что карты при сдаче вкладывались в особую машинку, мешающую передернуть или сделать н а к л а д к у ( л и ш - н я я, затаенная в рукаве, подобранная сдача на одну или несколько игр); а более всего по причине множества клубов и большого выбора поэтому арен для шулерских доблестей. Кроме того, богатые притоны, с целью развить игру, перебивали друг у друга известных шулеров на гастроли, дабы те заставили говорить о случившемся в таком-то месте крупном выигрыше и проигрыше. Ради рекламы не останавливались даже перед тем, чтобы дать X-су крупный куш специально для "р а з - д а ч и", как называется упорное "невезение" банкомета.

"Престарелые мученики" наполнялись самой отборной публикой. Тут можно было встретить сюртук литератора, пошлую толщиной часовую цепочку мясника или краснотоварца, галуны моряка, кожан, а то и ко-

соворотку рабочего, офицерские погоны и солдатские мундиры, — без погон, по последней моде. Поражало количество денег у солдат и рабочих. Это были едва ли не самые крупные, по азарту и деньгам, игроки почтенного учреждения.

Как сказано, прямого шулерства не было, но существовало "а р а п н и ч е с т в о", среднее в сути своей между попрошайничеством и мошенничеством. Об этом, однако, после.

## II

Юнг на первых порах выигрывал. Пословица — "новичкам везет" — права, может быть, потому что новичок инстинктивно приравнивается к единственному закону игры — случайности, он ставит где попало и как попало; прибавьте к этому, что новичок большею частью затесывается в клуб случайно; таким образом, соединение трех случайностей увеличивает шансы на выигрыш, совершенно так же, как выполнение сразу трех намерений редко увенчивается успехом. Позже, присмотревшись, как играют другие, и возомнив, что научился расчету в том, как и где ставить (вещь нелепая), игрок закрывает глаза на то, что он уже борется с законом случайности и борется во вред себе, так как естественно в этом слу-

чае изнурение нервов, ведущее к растерянности и безволию. Неизвестно, как лежат карты в колоде. Думаешь, что ты угадал, на какие табло вот теперь следует ставить и в какую очередь, — значит думаешь, что з н а е ш ь. Но карты издеваются над такой притязательностью. Есть, правда, небольшое число людей с особо тонко развитой интуицией в смысле угадывания, но выигрывать всегда людям этим мешает их же недоверие к интуиции; зачастую усумнившись в внутреннем голосе, ставят они на другое, чем показалось, табло и, думая, что обманули судьбу, дуют потом на пальцы.

Пока Юнг отделялся только замиранием сердца, ставя куда попало и меча ответы без учитывания ж и р а и д е в я т к и, ему везло. Каждый вечер уходил он с сотнями и тысячами рублей выигрыша. Нужно отметить, что уйти с выигрышем — вещь несколько трудная. Выигрывающий обыкновенно назначает себе предельную сумму, с которой, доиграв ее, и решает уйти. Если ему везет дальше, — из жадности мечтает он уже о высшей предельной сумме и, не добившись, естественно, предела в беспредельности, начинает в некий момент спускать деньги обратно. Желания теперь суживаются, становятся все кургузее и молитвеннее. Вот игрок мечтает уже о том, чтобы достичь снова бывшей кульминационной точки уплывающей

суммы. Вот он говорит: "Проиграю еще не более, как столько-то, и уйду". Вот он проиграл весь выигрыш, и бледный, с потухшим взором, ставит опять свои деньги. Не везет! Он, торопясь в рай, ставит большие куши, удваивает их и остается, наконец, с мелочью на трамвай или извозчика, но часто лишенный и этого, занимает у швейцара целковый.

Юнгу везло, и около месяца, счастливо закладывая банки, мечая удачные ответы или понтируя, купался он в десятках тысяч рублей, привыкнув даже, когда играл, смотреть на них не как на деньги, а как на подобие игорных марок, — некое техническое приспособление для расчета. Но счастье, наконец, повернулось к нему спиной. Проиграв однажды пять тысяч, он приехал на другой день с пятнадцатью и к закрытию клуба совершенно рассорил их. Удар был ошутителен; желание возратить проигранное выразилось в силу возникшего недоверия к своей "метке" тем, что Юнг начал давать деньги в банк и на ответ другим игрокам, бойкость и опытность которых казалась ему достаточной гарантией успеха. Лица эти, играя для него, но более (если им решительно не везло) для многочисленных своих приятелей, ставивших в таких случаях весьма усердно и крупно, не далее как в неделю лишили его трех четвертей собственных денег. Иногда незаметно платили они за ставки больше, чем следует, а затем

делились с получающим разницей. Иногда, после того как карты были уже открыты, на то табло, где сияли выигравшие очки, ловко подсовывалась крупная бумажка и за нее получалось. Иногда банкомет, смешав, как бы ненарочно, юнговы деньги со своими, разделял их затем не без выгоды для себя и клялся, что поступил правильно. С помощью таких нехитрых приемов, бывших обычными среди посетителей "Общества престарелых мучеников", карточные пройдохи привели Юнга в состояние полной растерянности и нерешительности. Оставшись с небольшой суммой, он то ставил мало, когда счастье, казалось, подмигивало ему, то много, когда определенно билась карта за картой, и вскоре, дойдя до придумывания беспроектных "систем" — худшее, что может постигнуть игрока, — кончил он тем, что остался с двадцатью — тридцатью рублями, напился и в клубе появился снова через дней пять, подавленный, измученный, без всяких определенных планов, с одной лишь жаждой — играть, играть во что бы то ни стало, быть в аду вечной жажды, — ожидая случая, толпиться и вздрагивать, сосчитывая слепые очки.

Переход от воздержанности к запойной игре, а от последней к арапничеству, совершается незаметно, как все то, где главное действующее лицо — страсть. Окончательно проигравшись или же став в положение, при

котором вообще неоткуда достать своих денег, игрок начинает обыкновенно собирать долги. Тот ему должен, тот и тот. Суммы эти служат некоторое время, игра для такого человека сделалась страстью, ее зуд прочно завяз в душе, подобно раздражению десен, когда ненасытно жуют вар или грызут семечки. Но вот истребованы, выклячнены и проиграны все долговые суммы. Возможно, что в этом периоде были моменты относительной удачи, — тем хуже. Игрок смотрит уже на них как на чужие, даром доставшиеся деньги. Истрепанные нервы требуют оглушения. Он пьет, развратничает, играет, не соображая ставок пропорционально наличности, и в скорости начинает занимать сам. Сначала ему дают, затем — морщатся, ссылаясь на собственный проигрыш, затем с ругательствами, издевкой над скулением отбивают охоту вообще просить денег взаймы. Все постоянные посетители знают и его и его привычки, даже тот соединенный неписанным уставом кружок "арапов", к которому он уже принадлежит, но, большей частью, не знают ни его жизни, ни имени, ни фамилии. Такова странность всепоглощающих интересы занятий! Налицо здесь лишь зрительная фигура; фигура менее значит для этого общества, чем "жир" в картах.

Когда так называемая нравственная стойкость достаточно потускнела; когда всю жизнь



заполнила и высосала игра, а задерживающие центры перестают обращать внимание на такие пустяки, как унижение и обида, — а р а п готов. Он сделан из попрошайничества, уменья словить момент, шутовства, настойчивости и мелкого мошенничества. Научившись быстро вести расчет по всей сложности и учету ставок, он, как настоящий крупье, за 10 процентов помогает любому желающему метать о т в е т, но медлительному в цифровых соображениях. Геройски распоряжается он чужими деньгами; выхватывает их из рук банкомета или из-под его носа; кричит "С о й д и т е!" — "Швали ушли!" — "Крылья полностью", — "Какие с л о в а?!" (Загнутый угол бумажки, обозначающий меньшую, чем ассигнация, ставку) — "Комплект!" — "Куш платит!" — "Делайте вашу игру!" — и все другое, подобное, штампованные выражения выигрыша, проигрыша и ожидания. Он способствует закладу часов и колец карточнику или швейцару. Он достает водку. Он дает "на счастье" рубль в банк и бывает в случае выигрыша необыкновенно привязчив. Он подбрасывает на выигравшее табло лишние деньги. Он привозит богатых и пьяных игроков. Он пытается из-под локтя собственника стянуть деньги и, если это замечается, говорит, что хотел поправить их, они, мол, намеревались упасть на пол. В таких клубах легко смотрят на обнаруженное покушение смошенничать

или украсть. Н и к о г д а дело не вызывает скандала. В худшем случае — короткий гвалт, в лучшем — гневный взор и угроза трясением пальца.

Постоянно играющие д о л ж н ы б ы т ь всегда в проигрыше. Расчет их таков: клуб в виде платы за места, за закладывание банков и штрафами (за игру позже известного часа) собирает в день, в среднем, — две тысячи. Общая сумма денег, пускаемых в игру (сообразно процентным отношениям с "ответом" и банком) — сто тысяч. Через месяц и двадцать дней эти сто тысяч целиком переходят в клубную кассу.

Юнг стал а р а п о м.

### III

Ему не повезло. Когда он отошел от стола, — денег совсем не было.

Трясаясь, шаря по карманам и часто мигая, как ослепленный облаком пыли, Юнг старался припомнить порядок, в каком произошло несчастье, но ощущал лишь бессилие и тоску. Глубокое отвращение к себе, к игре, к жизни овладело им. Не зная, что делать, он крикнул, как сумасшедший, в отчаянии: "Покрыт банк!". У стола, где давалось сорок рублей, банк выиграл.

— Будет за мной! — глухо сказал Юнг.

Поднялся отвратительный шум. Кто-то из выигравших, внимательно посмотрев на Юнга, внес сорок рублей.

— В банке восемьдесят! — сказал утихомиренный банкомет. — Прием на первое!

#### IV

Юнг прошел в читальню, взял номер статистического журнала, повертел его, бросил и сел в кресло. Глухая подавленность отчаяния держала его вне места и времени.

— Что же делать? — сказал он себе. — Теперь — крышка. Одно остается: броситься с моста в воду. — Он построил это как фразу, но, повторив еще раз, проник наконец в смысл сказанного и понял, что броситься с моста в воду — значит умереть. Решимость покончить самоубийством приходит даже у самых меланхолических натур внезапно. Можно приготовиться к этому в двадцать лет и все же дожидаться внуков; можно, наоборот, никогда не думать серьезно о самоубийстве и, вдруг почувствовав жизнь нестерпимо омерзительной, кинуться, как к отдыху, к смерти. Такое непродуманное, но уже тоскиво влекущее решение вдруг оживило Юнга. В новом, непривычном состоянии безымянного трепета поднялся он с кресла, но в это мгновение случайно взгляд его упал на

одну из картинок стереоскопа, рассыпанных на столе. Картинка изображала женщину, сидящую верхом на конце бревна, выдающемся с озерного берега над водой.

Юнг взял картинку. Болезненное желание увидеть перед концом воду, такую же воду, какая должна была в скорости сомкнуться над ним, заставило его установить изображение в стереоскопе и поднести аппарат к глазам. Сначала освещенное электричеством изображение оставалось плоским, но скоро, уступая напряжению взгляда, выявило понемногу перспективу и жизненность трех измерений. Юнг увидел большое лесное озеро, тень в нем от бревна и босые, обнаженные до колен, напрягающиеся неудобством положения, крепкие ноги женщины. Ее лицо удивило его. Вне аппарата — оно было застывшим, с тем самым неестественным выражением, какое свойственно человеку, снимаемому фотографом, а теперь улыбалось. Тяжелое чувство, предвидение необычайного, родственное тягости перед припадком или в ожидании мрачного известия, овладело им. Он быстро опустил аппарат и вздрогнул, как от внезапной струи холода, заметив, что, когда глаза уже расставались с изображением, — женщина качнула ногой, словно собиралась покинуть бревно и сойти на землю.

— Дико, — сказал он, морщась и прикладывая руку к томительно бьющемуся серд-

цу. "Неужели сумасшествие — начало его?" — подумал Юнг. Тревога его не проходила, а нарастала, подобно приближающемуся барабанному бою. Он оглянулся, переживая странное электризирующее ощущение, подобно воображенному, конечно, — тому, как если бы все предметы ожили, сошли с места, а затем мгновенно разместились в прежнем порядке, с быстротою частиц ртути, вплескивающихся взаимно.

Против него в пустом ранее того кресле сидела смуглая молодая женщина, — та самая, на которую в стереоскоп смотрел Юнг. Ее черные, ровные как шнурки, брови были высоко поставлены над смелыми, большими глазами, блистающими того рода жуткой одухотворенностью, какая свойственна старинным портретам, в колеблющемся и неверном свете. От платья и фигуры ее веяло разрушением действительности. То, что испытал Юнг в течение этого замечательного свидания, никак не может быть названо страхом. Начало сверхъестественного лежит в нас и выявленное тайными силами, противу всяческих ожиданий потрясающего недоумения страха, вводит лишь, правда не без сильного возбуждения, в привычную область в е р ы ф а к т а м. Чтобы понять это, достаточно представить ощущение человека, впервые попадающего под выстрелы или претерпевающего крушение поезда. Контраст факта ра-

зителен с обыденностью предстояния факту, и, однако, что бы ни толковали люди логической психологии, — не страх сопутствует указанным фактам. Оцепенение возбуждения — вот, пожалуй, приблизительно верная оценка переживаний. Что стреляют в тебя, — этому, пока оно не случилось, так же трудно поверить, как явлению демона.

— Это что? — спросил, тяжело дыша, Юнг.

В гостиной, кроме него и неизвестной дамы, никого не было.

— Слушайте внимательно, — сказала женщина, наклоняясь через стол к Юнгу. — Сегодня 23-е число, день, в который я выхожу из тумана. Больше вы меня не увидите. Я предлагаю вам новую, чудную по результатам игру, которая при удаче утысячерит всякое счастье, при неудаче магически усилит несчастье. Это — игра на время. Посмотрите колоду. Возьмите ее себе. У нас она называется Шеес-Магор, что значит — потерянная и возвращенная жизнь.

Юнг взял колоду. В ней, как и в обыкновенной игральной, было пятьдесят два четырехугольных, но квадратных, лоскутка, сделанных из неизвестного материала, черного и твердого, как железо, тонкого, как батист, шелковистого на ощупь, слегка просвечивающего и легкого. До крайности странны были фигуры, разрисованные от руки, как и все остальные карты, красной и белой красками.

Очки пик были изображены в виде коротких стрел; трефы — трилистников; бубны — красных четырехугольных цветов; черви — сердец, сжатых рукой. Тяжелая, гротескная узорность фигур таила в себе нечто идольское, древнее и потустороннее.

— Играйте с любым, с кем хотите, — продолжала дарительница, когда Юнг поднял глаза, весь во власти открывающейся пред ним бездны. — Вам предоставлено ставить в какую хотите азартную игру любое количество лет, месяцев, дней, часов и даже минут. Б и т а я ставка переносит вас в будущее на ставленный интервал времени, ставка в ы и г р а н н а я — отдалит в прошлое.

Последние слова женщины звучали глухо и отдаленно. Договорив, она исчезла — не расплылась, не растаяла, а именно исчезла, как в смене кинематографических сцен. Юнг вскочил, уронил газету и, весь трясаясь еще от волнения, нагнулся, собирая карты. Не поднимая головы, он увидел, что возле его рук движутся, делая что и он, — еще две руки. Пальцы их были покрыты крупными золотыми кольцами.

Юнг посмотрел выше. Перед ним на корточках сидел, помогая собирать, крайне удивленный видом карт известный игрок Бронштейн, — сложная разновидность Джека Гэмлина в русских условиях. Круглый, с небольшим брюшком, если не всегда веселый, то неизменно оживленный, человек этот сказал:

— Турецкие?

— Нет, — машинально ответил Юнг.

— Греческие?

— Не...

— Первый раз вижу такие карты. Где вы их взяли?

К Юнгу вернулось самообладание. Он гладко солгал:

— Это карты неизвестно какого происхождения. Ко мне они перешли от отца, вывезшего их из Дагестана. Слушайте, Яков Адольфович. У меня есть примета (карты были собраны, и оба присели уже к столу), — если я впустую играю перед настоящей игрой один удар с кем-нибудь этой колодой, — мне должно тогда повезти за любым столом.

— Хорошо, — сказал Бронштейн. — Все мы игроки — чудачки. Делайте вашу игру. Закладываю в банк на первый случай, солнце и... хотя бы... луну...

Быстрыми, летающими движениями привычного игрока он сдал, как всегда в макао, на четыре табло и со скучающим видом приподнял свои три карты.

— Девять, — с неизменяющим игроку никогда, даже при игре в "пустую", удовольствием сказал он.

Юнг еле успел взглянуть на свои карты, т. е. на те, что покрывали предполагаемое первое табло. Он проиграл. У него было три.



Приглашая Бронштейна сыграть в "пустую", Юнг мысленно определил ставкой пять лет и два месяца с тем расчетом, что, выиграв, вернется он к особенно любимым в прошлом дням первых свиданий с Ольгой Невзоровой, девушкой, которая должна была стать его женой и которую взял от земли тиф. Проигрыш, наоборот, увлекал в неизвестное, может быть, к смерти. Последнее не беспокоило Юнга. Фантастическая жизнь клуба, где каждая битая ставка являлась, в виде малом и скудном, образом смерти, бесчисленным множеством этих отдельных потрясений, давно уже притупила инстинкт самосохранения; к тому же, как видели мы, Юнг сам желал самоубийственного конца.

У карт не было крапа. Когда они, в числе трех, веером легли перед ним, — в блестящей черноте их, отражавшей, словно водами глубокой пропасти, свет люстры, появились, двигаясь, несколько тихо мерцающих точек. Особым, глубинным и безотчетным знанием Юнг понимал, что точки эти — те годы, которые он поставил. Девятка Бронштейна бросила ему в горло первый комок спазмы. Странные подобию гримасы мысли сопровождали движения его руки, когда он открыл свои три карты.

Юнг повернулся на бок. Все тело нестерпимо ныло, как бы просило уничтожения раздражающих прикосновений одеяла и тюфяка. Прикрученная на круглом столе лампа горела больным светом. В кресле спала сестра милосердия, полнолицая, рябая женщина. Голова ее низко опустилась на грудь, производя такое впечатление, как будто сестрица всматривается в собственные очки.

Ворочаясь, Юнг задел локтем стеклянку с лекарством: звонко ударившись о стакан, она разбудила дремавшую женщину.

— Глупости... некуда-с... — забормотала она спросонок и очнулась. — Что вам? Пить? Беспокойно, может? — спросила она привычно заботливым голосом. — А вы хорошо спали нынче, поправитесь, видно.

— Да. В середине ночи проснулся, — не замечая ее смущения, сердито сказал Юнг. — Смерть идет... Плохо мне.

— Больные все мнительны, — сказала сестрица. — Не такие на моих глазах выздоравливали.

— А ну вас, — с отчаянием прошептал Юнг и закрыл глаза.

Вчера вечером с тонкостью интуиции, присущей тяжелобольным, он видел по напряженному лицу доктора, что дело плохо. Различные воспоминания с беспорядочной яркостью пробегали в его тоскующей голове. Между прочим, он вспомнил, как был

пять лет тому назад клубным арапом, вспомнил подробности некоторых вечеров, но далее того сила воспоминаний гасла, оставляя значительный промежуток неопределенных туманностей, как это часто бывает у людей слабой или рассеянной памяти; так называемый "провал" лежал между текущим моментом и тем, когда он решил идти топиться.

Вдруг Юнг вспомнил о картах. Они лежали под его подушкой. Сознание его не шло дальше возможности очутиться с помощью их в небытии или в новых (старых?) условиях. Оно и не могло идти дальше: магическая игра являла действительность столь опрокинутой, отраженной в себе и послушной необычайному, что Юнг бессильно поморщился. Он хотел быть с Ольгой Невзоровой или не быть совсем.

— Юлия Петровна, — слабым голосом сказал он, — подвиньте мне, пожалуйста, столик.

— Чего вы надумали еще? Лежите, лежите себе!

— Да ну, подвиньте.

Она поспорила еще, но исполнила, наконец, его желание. Юнг с трудом приподнялся на локте, положив перед собой колоду. По причине слабости, а также чтобы избежать вопросов и любопытных взглядов сестры милосердия, в случае если бы она принялась рассматривать карты, Юнг задумал упрощенную игру в "кучки". В игре этой — если иг-

рают двое — колода делится крапом вверх на две равных или неравных половины. Каждый выбирает, какую хочет, выигрывает тот, чья нижняя карта старше нижней карты противной "кучки".

Очки Юлии Петровны с беспокойством и удивлением следили за его действиями.

Юнг стал медленно приподнимать "кучку", лежавшую ближе к нему. "Десять лет... десять лет и четыре месяца", — мысленно твердил он.

— Ах, — дико закричал он, увидев в то же мгновение против короля второй "кучки" свою пиковую десятку.

Все кончилось.

## ИСТРЕБИТЕЛЬ

### I

Когда неприятельский флот потопил сто восемьдесят парусных судов мирного назначения, присоединив к этому четырнадцать пассажирских пароходов, со всеми плывшими на них, не исключая женщин, стариков и детей; затем, после того как он разрушил несколько приморских городов безостановочным трудом тяжких залпов — часть цветущего побережья стала безжизненной; ее пульс замер, и дым и пыль бледными призраками возникли там, где ранее стойко отстукивали мирные часы жизни.

Нет ничего банальнее ужаса, и однако нет также ничего стремительнее, что действовало бы на сознание, подобно сильному яду. Поэтому-то в прибрежных городах и селениях появилось множество сумасшедших. Глаза и неуверенность нелепых движений существенно выдавали их. Они никогда не плакали, — безумие лишено слез, — но произносили темные тоскливые фразы, от которых у слышавших их сильнее стучало сердце.

Между тем неприятельский флот остановился в далеком архипелаге, где, как в раю, солнце мешалось с розовым отблеском голубой воды, — среди нежных пальм, папоротников и старинных цветов; пламенные каскады лучей падали в глубину подводных гротов, на чудовищных иглистых рыб, снующих среди коралла. Из огромных труб неподвижных стальных громад струился густой дым. Тяжелое любопытное зрелище! Крепость и угловатость, зловещая решительность очертаний, соединение колоссальной механичности с океанской стихией, окутанной туманом легенд и поэзии, — сказочная угрюмость форм, причудливых и жестких, — все вызывает представление о жизни иной планеты, полной невиданных сооружений!

В одно из чудесных утр, среди ослепительного сияния радужного тумана, в неге сверкающей голубой воды, взрывая пену, к крейсеру "Ангел бурь" понеслась таинственная торпеда. Удар пришелся по кормовой части. "Ангел бурь" окутался пеной взрыва и погрузился на дно. Флот был в смятении; трепет и тревога поселились среди команд; назначались меры предосторожности; охранители, сторожевые суда и дозорные миноносцы, получив приказание, зарыскали по архипелагу, а в далекой стране сотни молодых женщин надели траурные платья, и сны многих осенило угрюмое крыло страха. Меж

тем самые тонкие хитрости не помогли открыть виновников катастрофы, и это казалось изумительным, так как в тех диких водах не было других судов, кроме судов флота, разрушившего цветущие берега.

— Вы посмотрите, — сказал неделю спустя командир огромного броненосца "Диск" старшему лейтенанту, — посмотрите на эти орудия: они напоминают упавшие стволы лесов Калифорнии. Из всех жерл вылетают конденсированные воздушные поезда, сжавшие в своих округлостях вихри и землетрясения.

Он замолчал и повелительно осмотрел вечернее небо. В этот момент "Диск" дрогнул; свирепый гул скатился по его железным сцеплениям в потрясенную тьму, и броненосец получил смертельную рану.

В течение следующих недель были потоплены миноносец "Раум", крейсера "Флейш", "Роберт-Дьявол" и две подводные лодки. Невозможно было предугадать или отразить катастрофические удары. Их как бы наносил океан. Казалось, в глубоких недрах его отражением напряженной действительности рождались громopodobные силы, принимающие сверхъестественным образом внешность реальную. Морской простор стал угрозой, небо — свидетелем, корабли — жертвами. Угрюмость и отчаяние поселились среди моряков. Тогда, желая раз и навсегда покончить с невидимым ужасным врагом, адмирал

велел тайно вооружить две парусные шхуны с тем, чтобы, плавая по архипелагу, они, защищенные безобидностью своего мнимого назначения, старались отыскать неприятеля. Последний, несмотря на всю осторожность, с какой действовал, мог, наконец, пренебречь ею в виду парусной скорлупы, чего, конечно, не допустил бы с военным разведчиком. Одна шхуна называлась "Олень", другая "Обзор". На "Олене" был капитаном Гирам, человек странный и молчаливый; "Обзором" командовал Лудрей, веселый пьяница апоплексического сложения. Пустившись на розыски, суда взяли противоположные направления: "Обзор" двинулся к материку, а "Олень" — к югу, в пустынное лоно вод, где изредка можно было встретить лишь скалистый риф. На рассвете следующего дня был густой белый туман. К "Обзору" кинулась бесшумная торпеда, разорвала и потопила его, а "Олень", застигнутый тем же туманом, находился в это утро неподалеку от архипелага. Паруса, заполоскав, сникли. Ветер исчез.

Гирам вышел на палубу. В матово-белой тьме, насыщенной душной влагой, царило совершенное молчание. Дышалось тяжело и тревожно. На баке матрос чистил гвоздем трубку, и скрип железа о дерево был так явственно близок, как если бы эти звуки раздавались в жилетном кармане.



## II

Гидам некоторое время смотрел перед собою, словно мог взглядом разогнать туман. Затем, бессильный увидеть что-либо, он сел на складной стул в странном, полугипнотическом состоянии. Оно пришло внезапно. Капитан не дремал, не спал, его ум был возбужден и ясен, но чувствовал он, что при желании встать или заговорить не смог бы выполнить этого. Однако он не беспокоился. Ему случалось переходить за границу чувств, свойственных нашей природе, довольно часто, начиная именно подобным оцепенением, и тогда что-нибудь вне или внутри его принимало особый истинный смысл, родственный глубокому озарению. Скоро он услышал шум воды, рассекаемой невидимым судном. По стуку винта можно было судить, что оно проходит совсем близко от "Оленя". Два человека разговаривали на судне не громко, но так явственно, что все слова, с грустным и величественным оттенком их были слышны, как в комнате:

— Что происходит с нами?

— Не знаю.

— Мы, как во сне.

— Да, это не может быть действительностью.

— Где остальные?

— Все на том свете.

— Кругом море, и нам не уйти отсюда.

— Кажется, сегодня туман.

— Я чувствую сырость и тяжесть в груди.

— О, как мне больно, как безысходно горько!

— В тьме родились мы и в тьме умираем!

Шум отдалился, голоса стихли.

Гирам встрепнулся. Стоя за его плечами, вахтенный офицер вполголоса приводил свои соображения относительно неизвестного судна. Он думал, что оно весьма подозрительно.

— Вы слышали разговор, Тиррен? — спросил капитан.

— Я слышал действительно невнятное бормотание, но был ли это разговор, или проклятие, решать не берусь.

— Нет, это был разговор и очень странный, чтобы не сказать больше.

— А именно?

— Признаюсь, я не мог бы передать его содержания. Однако туман редет.

Туман, точно, редел. Под белым паром просвечивала заспанная вода, а вверху наметился мутный голубой тон. Вскорости, рассекаемый золотым ливнем, туман распался стаями белых теней, в апофеозе блистающих облаков открылось океанское солнце. Сникшие паруса, взяв ветер, крылато потянулись вперед, и "Олень" двинулся дальше, на поиски истребителя. Как ни осматривал

горизонт капитан Гирам, — нигде не было видно следов недавно проскользнувшего судна.

### III

Прошла неделя. "Олень" безрезультатно вернулся к своему флоту, который тем временем потерпел еще две значительные потери. Так как не было оснований ожидать прекращения военных действий со стороны невидимого врага, то адмирал дал приказ идти в море. Флот направился к берегам Новой Зеландии.

Когда он ушел, когда его одуряющее присутствие, его гарные запахи и металлические звуки исчезли, — архипелаг вернул своим лагунам и островам их прежнее выражение — роскошь страстного творчества, и снова стало казаться мне, свидетелю тех событий, что к этим оазисам в живописном сиянии тонко окрашенных лучей летят райские птицы с оранжевыми и синими перьями.

В бурную ночь, когда дьявол тьмы, взбесившись, приподнимал истерзанные волны, целуя их с пеной у рта, за борт почтового парохода упал матрос Кастро. Он хорошо плавал, но, выбившись наконец из сил, потерял сознание и очнулся на пустынных камнях, в утренней тишине маленького залива,

куда погибавшего выбросило случайной волной. Кастро был разбит ужасом и усталостью. Однако уголок океана, приютивший его, был так прелестен, что к несчастному немедленно снизошло настроение ясной живости. Тесный круг сияющих скалистых зубцов отражался в дымчатой синеве моря, а глубина залива, полная облаков, дышала сказочными намеками. Оглядевшись, Кастро заметил недалеко от себя спину подводной лодки, дремлющей в тени каменного навеса. Удивленный таким неожиданным обстоятельством, матрос долго рассматривал опасное судно, пока на его площадку не вышли изнутри два человека, из которых один был, видимо, слеп, так как двигался неуклюжей ощупью, с закрытыми глазами; его лицо, завешенное изнутри тьмой, было грубовато и грустно. Второй, явный моряк, бородач, решительной внешности, говорил с первым, наклоняясь к его уху, и Кастро, хотя и прислушивался, ничего не расслышал. Затем оба они скрылись внутрь лодки; через несколько минут она продвинулась к скале, и тот же моряк вышел на мостик один, с сумкой за плечами и палкой в руке. Он спрыгнул на камни и, поспешно шагая, скоро увидел Кастро.

— Остановитесь, приятель, — сказал матрос, — и если прогулка наша не выйдет длинной, уделите мне чуточку чего-либо съестного.

— Что ты за человек? — подозрительно спросил неизвестный.

— Я человек, умеющий хорошо плавать. В эту ночь меня смыло за борт; но я очень сердит; я рассердился и спасся.

— Идем, — помолчав, сказал моряк. — Моя прогулка длинна, но нам хватит галет.

И молча, осторожно рассматривая друг друга, они выбрались из каменного хаоса побережья в тихую пустыню.

#### IV

— Приятель! — заговорил, не выдержав, Кастро. — Я по природе не любопытен, но если вы не видите во мне врага, то расскажите, как попала в это глухое место подводная лодка? Мы идем вместе. Я ем вашу галету, путь, кажется, предстоит не близкий, так как нет нигде признаков какого-либо селения, а потому осмеливаюсь просить вас приоткрыть маленький уголочек сих странностей.

Неизвестный ничего не ответил, улыбнулся и заговорил о другом, а Кастро в течение дня еще раза три пытался навести разговор на ту же тему, но лишь когда они заночевали у костра под придорожной скалой, моряк открыл тайну подводной лодки:

— Мы плыли из Европы с минным отрядом и, — долго рассказывать, как это про-

изошло в подробностях, — после трех суток бурной погоды потеряли из виду свой отряд, крейсируя вблизи этого берега.

Наконец, волнение стихло; мы остановились неподалеку от старенького монастыря, погрузившего свои белые стены в зелень и аромат цветущих апельсиновых садов. Там жили слепые, тринадцать человек, схоронивших блеск дня и алмазные огни ночей в унылой тьме трагического рождения. Скоро, нуждаясь в пресной воде, я, захватив часть команды, отправился в монастырь.

Пока матросы, руководимые монахами, делали свое дело, я присел в саду; обвеянный теплым ветром, уставший, я не мог противиться смыканию глаз и скоро уснул, а когда очнулся, была ночь. Взошла луна, разостлавшая белый мир среди черных теней. Я вскочил и тревожно стал звать команду. Тогда вздохи и шорохи наполнили сад, и тринадцать слепых мужчин медленно окружили меня, всматриваясь слепыми глазами.

— Вот наш командир, — он ждал нас и мы пришли.

— Мы знаем его, — сказали другие, — но он еще не узнает нас. Капитан Трен, ведите свою команду!

Я был в страхе, но не мог противиться ничему, что совершалось в ту ночь, как не мог бы противиться вулканическому эксцессу. Я спросил:

— Где мои люди?

— Посмотри, — сказали они, указывая на лужайку, блистающую лунным покоем, — они теперь дома и пробудут среди семей до тех пор, куда мы не вернемся.

Я увидел всех пришедших со мной и тех, кто остался на "Этне". Как попали они сюда? Все спали в траве, с улыбкой сладкого отдыха. Тогда нечто сильнее меня наполнило мою душу трепетом и грустным безмолвием. Я двинулся, окруженный слепыми, к морю; с ними же вошел в подводную лодку и здесь, друг Кастро, я увидел, что слепые все видят.

Да, я подозреваю, что мои сны, мои отчетливые сновидения за прошедший месяц — были действительностью. Я просыпался около полудня, всегда в той бухте, где ты встретил меня, как будто "Этна" никогда не покидала ее, и со мной были подлинные слепые, бродившие ощупью в непривычном им сложном помещении военного судна; они громко жаловались на диковинную перемену жизни, спали, много ели и вечно ссорились, и я — объясни мне это? — не мог уйти, как если бы лодка висела на высоте тысячи метров; но, мгновенно засыпая с закатом солнца, видел во сне, что отдаю приказание, что все тринадцать слепых с быстротой и опытностью истинных моряков кипят в боевой работе и что, выплывая рядом хитрых маневров к самому пеклу неиз-

вестного военного флота, мы топим суда, всегда ускользая обратно, а после этого плачем в безысходном отчаянии.

Сегодня меня оставила эта чужая сила, как тучи оставляют поля; я глубоко вздохнул и ушел... Слепые исчезли, остался один, самый старый и равнодушный ко всему, что может произойти с ним. Быть может, на "Этну" скоро вернутся мои проснувшиеся матросы.

— Что же это за монастырь? — спросил Кастро. — Какие демоны живут в нем?

— Не знаю. Но здесь вообще, как я слышал, появилось множество сумасшедших. Они бродят и бредят, — всегда бредят о сияющих берегах, разрушенных синевой моря.



## ВОЛШЕБНОЕ БЕЗОБРАЗИЕ

Этот город был переполнен людьми, за каждым из которых числилась одна, а то и несколько чрезвычайно странных историй. Некоторые из этих людей давно умерли, однако, проходя кладбищем, я узнаю нюхом, в каких именно могилах покоятся их бывшие тела, прошедшие трудный стаж диковинных личных событий. Я вспоминаю их имена, наружность, манеру покашливать или извлекать папиросу.

На углу Кикса Кисляйства и Травоедения стоит еще и ныне старик посыльный, погубивший свою молодость и красивую семейную жизнь с любимой женою тем, что однажды взялся доставить клетку с птицей бесплатно. Это поручение ему дала очень красивая молодая девушка, одетая элегантно и ароматно. Хотя посыльный был сердцеед и лишь недавно женился на премилой хлопотунье-блондинке, однако красота девушки была исключительная; он почувствовал удар в сердце. У красавицы с огненными глазами случайно не было с собой денег, — "Вот что, — сказал посыльный, — я простой человек, но позвольте мне, сударыня, бесплатно услужить вам". —

”Благодарю”, — просто ответила девушка и улыбнулась, и улыбка ее окрасила смущенную душу посыльного пожарным отблеском счастливой тревоги.

Девушка потерялась в толпе, а посыльный с клеткой, где шарахалась маленькая испуганная канарейка, отправился по адресу. Он прибыл к серому высокому дому, в далекую туманную улицу, обвеванную фабричным дымом. Улица была грязна, а дом роскошен. Лестница в коврах и цветах привела посыльного к квартире № 202-й. Он позвонил и ему отперла сама юная красавица.

Посыльный передал клетку, пробормотал несколько слов и, краснея от мучительной внезапной влюбленности, хотел уйти, но девушка, смеясь и приговаривая: ”Ничего, ничего, мой милый, пусть это будет маленьким приключением”, — взяла его большую руку своей маленькой лепестковой рукой и повела через анфиладу высоких угрюмых зал.

Благодаря опущенным занавесям, везде царили нежилые, хмурые сумерки; мебель и картины были в чехлах; где-то таинственно скреблись мыши. Девушка привела посыльного в отдаленную комнату и заперла дверь. Его сердце билось глухим волнением. Здесь было светло и уютно; топился камин, улыбался скульптурный фарфор; лилии и камелии красно-белым узором сияли в голубоватых горшках; среди атласной мебели, всяческого изья-

щества, среди тонкого аромата прелестного женского гнезда посыльный ослабел волей. Дома о нем беспокоилась жена — прошел час обеда. Но он почти не помнил об этом. Скоро его внимание привлек ряд пустых клеток, висевших на стене, против камина.

”Я покупаю и выпускаю их на свободу”, — сказала красавица. Немедля повела она себя пленительно вызывающим образом; посыльный был в ее власти. Он очнулся от тяжелого глубокого сна поздно утром. Неизвестно кем поданный завтрак и кофе дымилась на белом столике; любовники подкрепили свои силы, и девушка, капризная, сказала:

”Вот адрес зоологического магазина. Три раза в день ты будешь ходить туда покупать мне одного дрозда, одного зяблика и одного чижа. Немедленно отправляйся за первой партией”.

Он механически повиновался, вышел и скоро разыскал магазин. Здесь в узкой полутемной лавке, сидел у железной печки суетливый дрожащий старичок; взгляд его был тускл, голос насмешлив и тонок. В стенных клетках блестели идиотические глаза попугаев, их кривляющееся бормотание мешалось с звенящим высвистом синиц, разливной трелью канареек, воркованием голубей и другими звуками, издаваемыми бесчисленными пернатыми существами, прячущимися в глубине клеток. За прилавком виднелись ларьки, где

сохло конопляное семя, разная зерновая смесь, фисташки, японские бобы и прочие блюда птичьего ресторана; пахло пером и нашатырем.

Посыльный, купив назначенных птиц, завернул клетки в газетную бумагу и вернулся к возлюбленной.

По дороге он вспомнил, что ничего не знает ни о ее жизни, ни о личности, не знает даже ее имени, но, позвонив у дверей, снова забыл об этом.

Девушка встретила покупку выражением необузданного восторга, и ее розовое лицо с огненными глазами вспыхнуло пределом оживленной удручающей красоты. Пока посыльный по ее указанию подвешивал клетки в ряду других, девушка умиленно разговаривала с птичками, являясь как бы олицетворением любви к маленьким изящным детям природы.

Случайно взглянув на вчерашнюю клетку с канарейкой, посыльный заметил, что птицы там уже нет. На вопрос свой по этому поводу, он получил ответ, что канарейка выпущена на рассвете.

”И она, конечно, пресчастлива”, — воскликнула девушка.

Посыльный расцеловал ее. Так, среди ласк, еды, страсти и милых разговоров о пустяках, прошел день, за ним другой и третий, и каждый день посыльный ходил покупать каких-нибудь певчих птиц и, просыпаясь, видел новые клетки пустыми. Каждую ночь он спал тя-

желым непробудным сном и не видел, как на рассвете очаровательная любовница его приносила жертву свободе, выпуская нежной рукой крошечных летунов.

На пятую ночь случилось так, что со стены над кроватью сорвалась фарфоровая тарелка и больно ударила посыльного по колену. Он вскочил, огляделся — он был один, возлюбленная его исчезла. Он позвал ее, но безрезультатно. Встав, молодой человек вышел в соседнюю комнату — здесь тоже никого не было. Он прошел несколько пустых помещений и, наконец, толкнув полуспрятанную портьерой дверь, увидел красавицу сидящей перед камином, с клеткой и синицей в руках. Девушка, иступленно смеясь, бросила птицу в бледный жар кучи углей. Судорожно пищащий дымный клубок забился, подняв облако золы среди красных решеток; раза три взлетело нечто бесформенное и жалкое и, сникнув, стало, подергиваясь, тихо шипеть. Девушка оскалилась, ужасное счастье сияло в ее мертвенно-белом лице.

”Гадина, ведьма!” — закричал, холодея, посыльный: волосы его поднялись дыбом и, не помня себя, он бросился на девушку с кулаками.

Полураздетая, она вскочила, выронила пустую клетку и скрылась в противоположную дверь. Трясаясь, посыльный вернулся, оделся наспех и выбежал на улицу. Было раннее

утро. Потрясенный виденным, молодой человек решил отправиться предупредить хозяина птичьей лавки — в расчете, что он не продаст более ничего той женщине; он намеревался сообщить ее приметы и адрес. Однако, к удивлению своему, посыльный не нашел так хорошо знакомого магазина. Это была та улица и то самое место: напротив стояла церковь, ряд домов в приметной комбинации — домов тех же, что были тут вчера, — наполнял маленький загородный квартал, но зоологической лавки с вывеской, изображавшей оленя и павлина, как не бывало. Смутившись, посыльный прошел взад вперед от угла до угла несколько раз, всматриваясь в каждый камень каждого дома. Но лавка исчезла. На том месте, где она была или могла быть, стоял фруктовый ларек. Посыльный стал наконец расспрашивать местных жителей, но все они с удивлением отвечали, что в квартале никогда не было птичьего магазина. Тогда странное подозрение овладело посыльным. Не помня себя, бросился он к дому, где жила девушка, и, вызвав швейцара, спросил его, кто занимает квартиру № 202-й. "Да она пустая, — сказал швейцар, — в нашем доме, видишь ли, давно не производили ремонта; хозяин разорился, и дом теперь бросовый. Неисправно у нас паровое отопление, холодно, жилец и не едет. Пустует он шестой год; да у нас всего жилых-то восемь квартир".

Шатаясь, посыльный вышел на воздух, и, немного оправившись, поехал домой. Он очень торопился. Его мучило терзающее раскаяние. С тоской и жалостью думал он о жене, которая, вероятно, больна от беспокойства и неизвестности, и светленькое теплое свое жилье вспоминал со всеми его милыми подробностями: кочерга у печки, задернутой ситцевой занавеской, старенький яркий самовар, герань на окошке, кот с рассеченным ухом — все видел он так безупречно отчетливо, как если бы уже сидел дома за завтраком. Но приехав, узнал он, что отсутствие его длилось три года: квартиру занимали другие люди, а жена недавно умерла в городской больнице.

Посыльный этот всегда кланяется, завидев меня, так как я охотно даю на чай за небольшие концы. В его глазах есть нечто замолкшее. Он сильно постарел, любит вечером посидеть в чайной. Там он часами неподвижно размышляет о чем-то над остывшим стаканом, смотря вниз, и папираса гаснет в его поникшей руке.

— Да, чудесно, и я повторяю это за ним, так как чудеса — в нас. Не тронул ли меня солнечный свет в лиловых оттенках? И вьюнок на старой панели? И птица — среди вещей? Наконец, эта рукопись, которую он протянул мне с гордой улыбкой, рожденная там, где боятся дышать?

## БЕЛЫЙ ОГОНЬ

### I

”Зал художественных аукционов” — коммерческое учреждение, основанное, как гласила вывеска, в 1868 г., лишилось ценного служащего. То был Джозеф Лейтер, повесивший ударами молотка на золотые гвозди покупателей десятки тысяч картин.

Он продавал с азартом, с пламенным ожесточением проповедника. Его глаза, налитые нервным блеском, останавливались на лицах колеблющихся соперников с затаенным льстивым восторгом; скромно опуская ресницы или вдруг насмешливо озирая публику, он подстрекал самолюбие, дразнил жадность, медля опустить молоток, срывая последние судороги запоздавшего аппетита; он в совершенстве постиг власть пауз, выкрикивая ни раньше, ни позже, но именно в нужный момент, с оттенком непоправимой потери: ”Восемьсот слева! Спереди — центр — тысяча! Сзади — направо — три,— три тысячи сзади; три, три, три,— кто более?!” — в результате чего кто-нибудь, как бы слыша



вызов или презрение, бросал решительную надбавку.

Обстоятельства сложились так, что один из сподвижников Лейтера заболел, другой переменял место, а третий был рассчитан за мошенничество, почему последние одиннадцать дней Лейтер безотлучно стоял на аукционной эстраде. Надсаживаясь и хрипя от переутомления, с горлом, повязанным платком, небритый, бледный и грязный, он не выпускал молотка, следя за выражением лиц, подобно опытному рыболову, которому вздрагивание лесы точно говорит о величине и породе рыбы, схватившей приманку. Его голос срывался, рука дрожала; ослабевающее внимание упускало важные моменты тишины; теряя способность угадать, что даст следующая минута, — падение молотка или взрыв надбавок, — он делал непростительные ошибки, выходя из ритма общего внутреннего движения, тратясь без нужды на вялые моменты и плохо соображая там, где следовало подчеркнуть большую игру.

У его левой руки, меняя форму и силу, сверкала вечная человеческая душа, выраженная художественным усилием. Она появлялась, исчезала и появлялась вновь с номером на лице. Картина, статуя, вышивка, гобелен, бронза, камей, этюд, рисунок, медальон, бюст — и каждый раз в каждом творении Лейтер находил немного себя, тотчас

продавая это немного тем, кто владел силой зажать рот чужому желанию безнадежным холодом высокой цены.

Последний месяц по количеству вещей, выброшенных на аукционные рынки, был исключителен. В том мире есть шквалы и штиты, затмения и ясные дни, приливы и отливы. Эпидемия продаж подобна чуме, в силу обстоятельств весьма сложных и значительных для того, чтобы была возможность без надобности объяснить их в кратком повествовании.

Эта эпидемия, этот непрерывный трепет души, выраженный трагическим усилием и ощупываемый грязной ладонью художественной похоти, треплющей ее по щеке с видом глубокомыслия, — выяснил, наконец, полное бессилие Лейтера стучать впредь молотком по карману и нервам. Решительную роль сыграл рисунок Берн-Джонса — узкая полоса желтой бумаги с изображением обнаженной женской руки. Еще ранее Лейтер оставался перед этим рисунком со вздохом тихого облегчения. У Лейтера было второе внутреннее лицо, над которым он не задумывался.

Эта совершенно прекрасная рука, вытянутая горизонтально от плеча до кисти, которая слегка свешивалась с нежным и твердым выражением, объясняла нечто неназываемое так бесспорно, что зрителю остава-

лось лишь отвечать ей мыслью и чувством так же красиво и чисто, как красиво и чисто было изображение.

— Рисунок Берн-Джонса! — провозгласил Лейтер. — Собственность Марка Твида, заявленная цена двести... — Привычным движением он поднял свою руку и вдруг увидел ее по-новому. Эта рука с нечищенными ногтями тряслась в грязной манжете, облитая набухшими жилами.

Произошло некоторое смещение предметов и мыслей, подобно тому, что называется "двоится в глазах". Лейтер милостиво улыбнулся; у него было сухо и горько во рту, скверно и разносторонне противно на душе. С остротой боли вдохновенно подметил он все оттенки идиотизма, рассеянные в физиономиях, увеселился и рассмеялся. В то же время на него направились глаза всех портретов и статуй. Он выпрямился.

— Я имею сказать, — захрипел Лейтер, — что этот рисунок должен быть куплен безусловно по цене небесной зари. Это оттого, что я очень устал. Давно уже замечаю я, что покупаете вы множество всякой дряни, до которой вам, как и до Берн-Джонса, нет никакого дела. Однако я желал бы продать этот рисунок, предварительно узнав, был ли покупатель рожден женщиной. Закрываю аукцион!

На него хлынул туман, заставив отступить к стене; бормоча: "попала мне пальцем

в глаз какая-то шельма"... — он был подхвачен усердными руками служащих. И неторопливые, степенные, безусловно приличные, вполне нормальные люди отвезли Лейтера в больницу умалишенных.

## II

— Довольно! — сказал Лейтер, еще не открывая глаз. — Я не хочу вашего супа. От него делается изжога. С меня достаточно чая, хлеба и масла.

Никто ему не ответил. Он сел и осмотрелся с досадой, тотчас уступившей место глубокому изумлению.

Он находился в глухом лесу, у ствола старого дуба, на краю узкого зеленого луга, замкнутого со всех сторон чащей. Блаженное солнце поджигало траву. Веселый аромат сырости, зелени и земли возбуждал легкие. За деревьями, в гнездах лесного мрака вспыхивали зеленые искры. Ближайшие птицы, подхватывая или перебивая далекое щебетание, раздражались неистовой трелью; бабочки, сидя на цветах, медленно поникали крыльями; бродил свет, трепетали тени, дымилась роса.

Лейтер, сжав голову, минут пять осваивался с положением, пока не натолкнулся на единственное правильное толкование происшедшего.

— Я бежал, — сказал он, внимательно прислушиваясь к своему голосу, с тревожной и добросовестной подозрительностью человека, не вполне уверенного в благополучном состоянии собственного рассудка. — Да, я, очевидно, бежал из больницы, — тресни она. Я был болен. Теперь, кажется, я здоров, я чувствую, что я здоров, так как у меня нет больше этой проклятой тоски.

Невероятным усилием вырвал он из недр ослабевшей памяти блеск лунного окна, расшатанную решетку и четыре пустых бочки, поставленных одна на другую в углу садовой стены.

— Прекрасно, — продолжал он. — Сделаем экзамен рассудку: "Прямая линия есть кратчайшее расстояние между двумя точками", — "Сомнение в собственном сумасшествии должно быть признано доказательством психического здоровья". Я — Джозеф Лейтер, тридцати лет, нахожусь в дикой лесистой местности с явным желанием немедленно вернуться домой к обычным своим занятиям.

Но он уже понимал, что выздоровел, — и без этих наивных упражнений, — быть может, благодаря потрясению свободы, добытой путем связанных усилий, долгому сну, отдыху, — вернее же всего — силой тех душевных течений, какие при остром помешательстве, бурно выйдя из берегов, скоро нащупывают прежнее основное русло.

Успокоенный и почти счастливый, — так как полному счастью мешало тревожное нетерпение выбраться возможно скорее к заселенным местам, — Лейтер обошел лесной луг, избирая верное направление. По теням скоро заметил он, что двигается спиной к западу, и тотчас повернул обратно, сделав спустя короткое время привал ради орехов и диких слив, что, утолив голод, не вернуло, однако, его смягченному воспоминанию о больничном супе прежнего отращения. Затем Лейтер продолжал путь, следуя течению маленького ручья, бегущего к западу.

В поту, с ободренным лицом и руками, он делал милю за милей то вброд, то по руслу, если растительность, свисавшая над водой, мешала идти берегом, то проваливаясь в овраги, заваленные буреломом, или продираясь в густой тьме, с клочком неба над головой, сквозь заросли, вызывавшие припадок сердцебиения. Чем больше он уставал, тем острее подгоняла его сама усталость, которую он стремился опередить, оставив лес позади. Меж тем, вначале маленький, как струя воды из опрокинутого ведра, ручей расширился; его течение нарастало, ширина увеличивалась, а призрачный блеск мелкого песчаного дна медленно угасал, оставляя местами воду черной, как полоса бархата, трепещущая под ветром. Изменялся характер берегов: довольно просторная опушка, усе-

янная мысами и желтыми мелями, незаметно образовала крутые обрывы, к осыпям которых в угрюмой тесноте и вечном молчании подступали прямые влажные стволы чащи. Их вершины разделялись высоко над головой Лейтера извилистой синей щелью; внизу бродил искаженный свет, еле шевеля черноту потока серыми отблесками. Лейтер принимался кричать, но крики возвращались к нему тупым эхом, запертым на замок. Затем отстаивалась прежняя тишина, нарушаемая так внезапно и редко, что испуганный слух болезненно переносил эти краткие нарушения; подавленный, угнетенный, бессильный, с извращенным удовлетворением раба, возвращался он к прежнему состоянию покорного напряжения. Плеснула рыба, выдра прошумела в траве, скакнула и заверещала пума; отдаленный треск, ворочаясь, как кора в огне, звучал дикой тоской. Эти явления разделялись долгими промежутками лесного безмолвия.

Так проходил день, пока, наконец, не увидел Лейтер впереди себя, сквозь стволы, поворота течения, род просвета, заполненного сверкающей белизной. Вначале показалось ему, что это известковый утес, чему он весьма обрадовался, надеясь с высоты обозреть местность, но, приближаясь, был вынужден неоднократно останавливаться, так как белое нечто усложнялось странными

очертаниями, напоминающими группу человеческих тел или статуй; Лейтер протер глаза. Между тем сомнениям все менее оставалось места; уже, заслоненный ветвями, мелькнул впереди мраморный профиль, за ним другой, третий и, наконец, тонкий рисунок фигуры, стоящей где-то вверху, в полных, как веселый крик, лучах солнца, поднявшегося к зениту.

Лейтер отвернулся, пятясь спиной к таинственному явлению, в надежде, что оно, если, приблизясь, он станет к нему вдруг снова лицом, рассеется, подобно туману; однако поймал себя на том, что невольно прибавляет шагу, подгоняемый любопытством. В том месте лес отступал и был значительно реже; лишь там, где сверкала чудная белизна, его крылья вновь смыкались у берегов пышными остриями. Лейтер не выдержал. Он обернулся шагах в двадцати от зрелища, которое, раскрывшись теперь вполне, исторгло у него крик изумления. Не бред, не галлюцинация поразили его. Пред ним блистало подлинное произведение чистого и высокого искусства, брошенное, подобно аэролиту, — телу непостижимой звезды, — в стомильные дебри лесной пустыни.

Здесь берега ручья несколько возвышались, образуя естественные устои, на которых держалось сооружение. Это была мраморная лестница без перил, согнутая над



ручьём высокой аркой, с круглым под ней отверстием, в которое, серебрясь и темнея, шумно устремлялся поток. Оба конца лестницы повертывались внизу легким винтообразным изгибом так, что нижние их ступени почти сходились, образуя как бы рассеченное снизу кольцо. По лестнице, улыбаясь и простирая руки, сбегал рой молодых женщин в легкой, прильнувшей движением воздуха одежде; общее выражение их порыва было подобно звучному веселому всплеску, овеянному счастливым смехом. Две нижних женщины, коснувшись ногой воды, склонялись над ней в грациозном замешательстве; следующие, смеясь, увлекали их; остальные, образуя группы и пары, спешили вслед, и с их приветливо вытянутых прекрасных рук слетала улыбка.

Это мраморное движение разделялось на обе стороны лестницы, с живописным разнообразием, столь естественным, что строго рассчитанная гармония внутреннего отношения форм казалась простой случайностью. Центром чуда была легкая фигура девственной чистоты линий, стоявшая наверху, с лицом, поднятым к небу, и руками, застывший жест которых следовало приписать инстинкту тела, ощущающего себя прекрасным. Они были приподняты с слабым сокращением маленькой кисти, выражая силу и стыд, смутную прелесть юной души, смело и бессозна-

тельно требующую признания, и запрещение улыбнуться иначе, чем улыбалась она, охваченная тайным наитием.

Внизу и на верху лестницы, свешивая ползучие ветви, покрытые темными листьями, стояло несколько плоских ваз. Растения, выбегающие из них, были, по-видимому, насажены здесь давно, так как, пробравшись на самую лестницу, Лейтер заметил, что земля в вазах и дикий вид старых ветвей, почти высохших, помечены рядом лет. Но ничто не говорило о древности самих ваяний, в них чувствовалась нервная гибкость и сложность новых воззрений, мрамор был бел и чист, на медной доске, врезанной под ногами верхней прекрасной женщины, чернел крупный курсив: *"Я существую — в силе, равной открытию"*.

Какой замысел, какой глубокий каприз, какая могучая прихоть крылись под этой надписью? Более двух часов провел Лейтер, рассматривая фигуры, созданные безвестным резцом для того, чтобы навсегда помнил их лишь некий случайный и — мнилось — столь редкий в этих местах, что самое появление его здесь следовало считать чудом, — одинокий бродяга.

От лестницы ручей резко поворачивал к югу. Лейтер, держась прежнего направления, покинул место, осененное святым мрамором, и через два дня достиг, наконец, поселка, оказавшегося так далеко от города, что он сел в поезд.

Врачи подтвердили его выздоровление, хотя, расскажи он им о своем открытии, больница могла бы его вновь пригласить к супу, вызывающему изжогу. Но другим, тем, кто не имел к психиатрии ни малейшего отношения, Лейтер рассказывал о прекрасной мраморной группе. Никто не верил ему, он стал повторять рассказ все реже и реже, сохранив его, наконец, только для одного себя.

## ПУТЬ

### I

Замечательно, что при всей своей откровенности Эли Стар ни разу не проболтался мне о своем странном открытии; это-то, конечно, и погубило его. Признайся он мне в самом начале, я приложил бы все усилия, чтобы исправить дело. Но он был скрытен; может быть, он думал, что ему не поверят.

Все объяснилось в тот день, когда взволнованный Генникер, не снимая шляпы, появился в моем кабинете, нервно размахивая хлыстом, готовый, кажется, ударить меня, если я помешаю ему выражать свои ощущения. Он сел (нет — он с силой плюхнулся в кресло), и мы несколько секунд бодали друг друга взглядами.

— Кестер, — сказал он наконец, — думаете ли вы, что Эли порядочный человек?

Я встал, снова сел и вытаращил на него глаза.

— Вы выпили немного, Генникер, — сказал я. — Улыбнитесь сейчас же, тогда я поверю, что вы шутите.

— Вчера, — сказал он таким голосом, как будто читал по книге заветное одиго из персонажей романа, — вчера Эли Стар пришел к нам. У него был подавленный, удрученный вид, он просидел с нами, как истукан, почти не разговаривая, до вечера.

После чая явился один из клиентов с просьбой перестроить фасад дома. Я уединился с ним, но сквозь неплотно притворенную дверь кабинета слышал, как моя сестра Синтия предложила Эли прогуляться в саду. Приблизительно через полчаса после этого, когда клиент удалился, Синтия с заплаканным лицом подошла ко мне. На ее голове был шерстяной платок, она только что вернулась из сада.

— Ну, что? — немного встревоженный спросил я. — Вы поссорились?

— Нет, — сказала она, подходя к окну, так что мне были видны только ее вздрагивающие плечи, — но между нами все кончено. Я не буду его женой.

Пораженный, я встал; первой моей мыслью было отыскать Эли. Синтия угадала мое движение. — Он ушел, — сказала она, — ушел так поспешно, что я даже не разобрала, в чем дело. Он говорил, кажется, что должен уехать. — Она рассмеялась злым смехом; действительно, Кестер, что может быть оскорбительнее для женщины?

Я засыпал ее вопросами, но мне не удалось ничего добиться. Эли ушел, отказался от

своего слова, не объясняя причины. Попробуй защитить его, Кестер.

Я внимательно посмотрел на Генникера, его трясло от негодования, кончик хлыста бешено извивался на полу. Для меня это было еще большей неожиданностью.

— Может быть, он скажет тебе в чем дело, — продолжал Генникер. — До сих пор его прямые глаза служили мне отдыхом.

Я взял шляпу и трость.

— Посиди здесь, Генникер. Я прохожу недолго. Кстати, когда ты видел его последний раз? Раньше вчерашнего?

— В прошлое воскресенье, за городом. Он шел от парка к молочной ферме.

— Да, — подхватил я, — постой, вы встретились.

— Да.

— Ты поклонился?

— Да.

— И у него был такой вид, как будто он не заметил твоего существования.

— Да, — сказал изумленный Генникер. — Но тебя ведь с ним не было?

— Это не трудно угадать, милый; в то же самое воскресенье я встретился с ним лицом к лицу; но он смотрел сквозь меня и прошел меня. Он стал рассеян. Я ухожу, Генникер, к нему; я умею расспрашивать.

В серой полутьме комнаты я рассмотрел Эли. Он лежал на диване ничком, без сюртука и штиблет. Шторы были опущены, последний румянец заката слабо окрашивал их плотные складки.

— Это ты, Кестер? — спросил Стар. — Прости, здесь темно. Нажми кнопку.

В электрическом свете тонкое юношеское лицо Эли показалось мне детски-суровым — он смотрел на меня в упор, сдвинув брови, упираясь руками в диван, словно собирался встать, но раздумал. Я подошел ближе.

— Эли! — громко произнес я, стремясь бодростью голоса стряхнуть гнетущее настроение. — Я видел Генникера. Он взбешен. Поставь себя на его место. Он вправе требовать объяснения. Наверное, и меня это также немного интересует, ведь ты мне друг. Что случилось?

— Ничего, — процедил он сквозь зубы, в то время как глаза его силились улыбнуться. — Я попрошу прощения и напишу Синтии письмо, из которого для всех будет ясно, что я, например, негодяй. Тогда меня оставят в покое.

— Конечно, — сказал я мирным тоном, — ты или подделал вексель, или убил тетку. Это ведь так на тебя похоже. Элион Стар, я тебя спрашиваю — отбросим шутки в сторону, — почему ты обидел эту прекрасную девушку?

Эли беспомощно развел руками и стал смотреть вниз. Кажется, он сильно страдал. Я не торопил его; мы молчали.

— Расскажешь, — подозрительно сказал он, испытующе взглянув на меня. — Я не хочу этого, потому что мне нельзя верить, Кестер, — конечно, я отбрасываю прежнюю жизнь в сторону, но я не в силах поступить иначе. Если я расскажу тебе в чем дело, то погублю все. Вы — то есть ты и Генникер — отправите меня с доктором и будете уверять Синтию, что все обстоит прекрасно.

— Эли, я даю слово.

Не знаю почему, — эти мои вялые, неуверенные слова ободрили его. Может быть, он и сам искал случая поделиться с кем-нибудь тем странным и величественным миром, который стал близок его душе.

Он как будто повеселел. "В самом деле", — говорили его глаза. Но он все еще колебался; казалось, желание быть в роли вынужденного рассказчика превышало его собственную потребность в откровенности. Я продолжал уговаривать его, понукать, он сдавался. Излишне приводить здесь те скомканные полуотрывочные фразы, которые обыкновенно предшествуют рассказу всякого потрясенного человека. Эли высыпал их достаточно, пока коснулся сущности дела, и вот что он рассказал мне:

"Две недели назад утром я проснулся в тоскливом настроении духа и тела. К этому



обычному для меня в последнее время постоянно примешивалось непонятное, тревожное ожидание. Вместе с тем я испытывал ощущение глубокого, торжественного простора, который, так сказать, проникал в меня неизвестно откуда; я был в четырех стенах.

Я вышел на улицу, погруженный в молчаливое созерцание солнечных улиц и движущейся толпы. У первого перекрестка меня поразила маленький цветущий холм, пересекавший дорогу как раз в середине каменного тротуара. С глубоким удивлением (потому что это центральная часть города) рассматривал я степную ромашку, маргаритки и зеленую невысокую траву. Тогда господин, шедший впереди меня по тому же самому тротуару, прошел сквозь холм, да, он погрузился в него по пояс и удалился, как будто это была не земля, а легкий ночной туман.

Я оглянулся, Кестер; город принимал странный вид: дома, улицы, вывески, трубы — все было как бы сделано из кисеи, в прозрачности которой лежали странные пейзажи, мешаясь своими очертаниями с угловатостью городских линий; совершенно новая, невиданная мною местность лежала на том же месте, где город. Случалось ли тебе испытывать мгновенный дефект зрения, когда все окружающее двоится в глазах? Это может дать тебе некоторое представление о моих впечатлениях, с той разницей, что для

меня предметы стали как бы прозрачными, и я видел одновременно сливающимися, пронизывающими друг друга — два мира, из которых один был наш город, а другой представлял цветущую, холмистую степь, с далекими на горизонте голубыми горами.

Я был бы идиотом, если бы захотел дать тебе уразуметь степень потрясения, уничтожившего меня до полного паралича мысли: пестрая вереница красок сверкала перед моими глазами, небо стало почти темным от густой синевы, в то время как яркий поток света обнимал землю. Ошеломленный, я поспешил назад. Я пришел домой по каменному настилу мостовой и восхитительно густой траве изумрудного блеска. Поднимаясь по лестнице, я видел внизу, в комнате привратника, продолжение все той же, имевшей полную реальность картины — дикие кусты, ручей, пересекавший улицу.

С наступлением вечера двойственность стала тускнеть; еще некоторое время я различал линию таинственного горизонта, но и она угасла, как солнце на западе, когда мрак ночи охватил город.

На следующий день я проснулся, продолжая разглядывать второй мир земли с чувством непостижимого сладкого ужаса. Не было более оснований сомневаться; тот же странный, великолепный пейзаж сверкал сквозь очертания города; я мог изучать его,

не поднимаясь с постели. Широкая, туманная от голубой пыли, дорога вилась поперек степи, уходя к горам, теряясь в их величавой громаде, полной лиловых теней. Неизвестные, полуголые люди двигались непрерывной толпой по этой дороге; то был настоящий живой поток; скрипели обозы, караваны верблюдов, нагруженных неизвестной кладью, двигались, мотая головами, к таинственному амфитеатру гор; смуглые дети, женщины нездешней красоты, воины в странном вооружении, с золотыми украшениями в ушах и на груди стремились неудержимо, перегоняя друг друга. Это походило на огромное переселение. Сверкающая цветная лента толпы, звуки музыкальных инструментов, скрип колес, крик верблюдов и мулов, смешанный разговор на непонятном наречии — все это действовало на меня так же, как солнечный свет на прозревшего слепца.

Толпы эти проходили сквозь город, дома, и странно было видеть, Кестер, как чистенько одетые горожане, трамваи, экипажи скрещиваются с этим потоком, сливаются и расходятся, не оставляя друг на друге следов малейшего прикосновения. Тогда я заметил, что лица смуглых людей, мужчин и женщин — ясны, как весенний поток.

Снова с наступлением темноты я перестал видеть виденное и проходил всю ночь, не раздеваясь, по комнатам. Куда идут эти люди? —

спрашивал я себя. Движение не прекращалось вплоть до сегодняшнего дня. Кестер, я вижу изо дня в день эту стремительную массу людей, проходящих через великую степь. Несомненно, их привлекает страна, лежащая за горами. Я пойду с ними. Я твердо решил это, я завидую глубокой уверенности их лиц. Там, куда направляются эти люди, непременно должны быть чудесные, невысказанные для нас вещи. Я буду идти, придерживаясь направления степной дороги”.

Он смолк. Лицо его было необыкновенно в этот момент, я действительно верил тогда, что Эли видит что-то непостижимое для обыкновенного человека. Он не мистифицировал. Глубокое волнение, с которым он закончил свой рассказ, производило потрясающее впечатление. Вместе с тем я чувствовал потребность немедленно идти к Генникеру и обсудить качества одной хорошей лечебницы.

Я ушел, оставив Эли в глубокой задумчивости. Мне нечего было сказать ему, вопросы же могли вызвать только новый приступ экзальтации. Генникера я не застал, он ушел, соскучившись ждать. Но на другой же день родственникам Эли пришлось поместить газетную публикацию:

”Разыскивается молодой человек, Элион Стар, среднего роста, блондин, с хорошими манерами, маленькие руки и ноги, тихий голос; вышел из дома с небольшим ручным

саквояжем в 11 ч. утра. Указавшему местопребывание Стара будет выдано хорошее вознаграждение”.

В солидной, купеческой гостиной сидели пожилые люди, коммерсанты, две барышни, их мамаша и я. Хозяин дома, выйдя из кабинета, сказал мне:

— Кестер, помните нашумевшую десять лет назад историю с загадочным исчезновением юноши Элиона Стар? Он был ваш друг.

— Да, помню, — сказал я.

— Он умер. Родственники его получили на днях полицейское официальное уведомление об этом из Рио-Жанейро. При нем нашли документы, указывающие его имя и звание.

Я встал.

— Да... бедняга, — продолжал хозяин, — он умер в отрепьях, с наружностью закоренелого бродяги, если судить по фотографической карточке, снятой полицейским врачом. Умер он в какой-то харчевне. Отец Эли за большие деньги выписал сюда этого врача, чтобы расспросить самому, как выглядел его сын.

— Он лежал совершенно спокойно, — сказал отцу Эли врач, — казалось, что он спит. В лице его было непонятно одно — улыбка. Мертвый, он улыбался.

Я наклонил голову, отдавая этим последнюю дань моему молодому другу. ”Он улыбался”. Неужели он нашел перед смертью страну, лежащую за горами?

## КРЫСОЛОВ

На лоне вод стоит Шильон,  
Там, в подземельи, семь колонн  
Покрывают мрачным мохом лет...

### I

Весной 1920 года, именно в марте, именно 22 числа, — дадим эти жертвы точности, чтобы заплатить за вход в лоно присяжных документалистов, без чего пытливый читатель нашего времени наверное будет спрашивать в редакциях — я вышел на рынок. Я вышел на рынок 22 марта и, повторяю, 1920 года. Это был Сенной рынок. Но я не могу указать, на каком углу я стоял, а также не помню, что в тот день писали в газетах. Я не стоял на углу потому, что ходил взад-вперед по мостовой возле разрушенного корпуса рынка. Я продавал несколько книг — последнее, что у меня было.

Холод и мокрый снег, валивший над головами толпы вдали тучами белых искр, придавали зрелищу отвратительный вид. Усталость и зябкость светились во всех лицах.

Мне не везло. Я бродил более двух часов, встретив только трех человек, которые спросили, что я хочу получить за свои книги, но и те нашли цену пяти фунтов хлеба непомерно высокой. Между тем, начало темнеть, — обстоятельство менее всего благоприятное для книг. Я вышел на тротуар и прислонился к стене.

Справа от меня стояла старуха в бурнусае и старой черной шляпе с стеклярусом. Механически тряся головой, она протягивала узловатыми пальцами пару детских чепцов, ленты и связку пожелтевших воротничков. Слева, придерживая свободной рукой под подбородком теплый серый платок, стояла с довольно независимым видом молодая девушка, держа то же, что и я, — книги. Ее маленькие, вполне приличные башмачки, юбка, спокойно доходящая до носка — не в пример тем обрезанным по колено вертлявым юбчонкам, какие стали носить тогда даже старухи, — ее суконный жакет, старенькие теплые перчатки с голыми подушечками посматривающих из дырок пальцев, а также манера, с какой она взглядывала на прохожих, — без улыбки и зазываний, иногда задумчиво опуская длинные ресницы свои к книгам, и как она их держала, и как покряхтывала, сдержанно вздыхая, если прохожий, бросив взгляд на руки, а затем на лицо, отходил, словно изумясь

чему-то и суя в рот "семечки", — все это мне чрезвычайно понравилось, и как будто на рынке стало даже теплее.

Мы интересуемся теми, кто отвечает нашему представлению о человеке в известном положении, поэтому я спросил девушку, хорошо ли идет ее маленькая торговля. Слегка кашлянув, она повернула голову, повела на меня внимательными серо-синими глазами и сказала: "Так же, как и у вас".

Мы обменялись замечаниями относительно торговли вообще. Вначале она говорила ровно столько, сколько нужно для того, чтобы быть понятой, затем какой-то человек в синих очках и галифе купил у нее "Дон-Кихота"; и тогда она несколько оживилась.

— Никто не знает, что я ношу продавать книги, — сказала она, доверчиво показывая мне фальшивую бумажку, всученную меж другими осмотрительным гражданином, и рассеянно ею помахивая, — то есть, я не краду их, но беру с полок, когда отец спит. Мать умирала... мы все продали тогда, почти все. У нас не было хлеба, и дров, и керосина. Вы понимаете? Однако мой отец рассердится, если узнает, что я сюда похаживаю. И я похаживаю, понашиваю тихонько. Жаль книг, но что делать? Слава богу, их много. И у вас много?

— Н-нет, — сказал я сквозь дрожь (уже тогда я был простужен и немного хрипел), —



не думаю, чтобы их было много. По крайней мере, это все, что у меня есть.

Она взглянула на меня с наивным вниманием, — так, набившись в избу, смотрят деревенские ребятишки на распивающего чай приезжего чиновника, — и, вытянув руку, коснулась голым кончиком пальца воротника моей рубашки. На ней, как и на воротнике моего летнего пальто, не было пуговиц, я их потерял, не пришив других, так как давно уже не заботился о себе, махнув рукой как прошлому, так и будущему.

— Вы простудитесь, — сказала она, машинально заципывая поплотнее платок, и я понял, что отец любит эту девушку, что она балованная и забавная, но добренькая. — Простудитесь, потому что ходите с расхлястаным воротом. Подите-ка сюда, гражданин.

Она взяла книги под мышку и отошла к арке ворот. Здесь, с глупой улыбкой подняв голову, я допустил ее к своему горлу. Девушка была стройна, но значительно менее меня ростом, поэтому, доставая нужное с тем загадочным, отсутствующим выражением лица, какое бывает у женщин, когда они возятся на себе с булавкой, девушка положила книги на тумбу, совершила под жакетом коротенькое усилие и, привстав на цыпочки, сосредоточенно и важно дыша, наглухо соединила края моей рубашки вместе с пальто белой английской булавкой.

— Телячьи нежности, — сказала, проходя мимо, грузная баба.

— Ну вот. — Девушка критически посмотрела на свою работу и хмыкнула. — Все. Идите гулять.

Я рассмеялся и удивился. Не много я встречал такой простоты. Мы ей или не верим или ее не видим; видим же, уввы, только когда нам плохо.

Я взял ее руку, пожал, поблагодарил и спросил, как ее имя.

— Сказать недолго, — ответила она, с жалостью смотря на меня, — только зачем? Не стоит. Впрочем, запишите наш телефон; может быть, я попрошу вас продать книги.

Я записал, с улыбкой поглядывая на ее указательный палец, которым, сжав остальные в кулак, водила она по воздуху, учительским тоном выговаривая цифру за цифрой. Затем нас обступила и разъединила побежавшая от конной облавы толпа. Я уронил книги, когда же их поднял, девушка исчезла. Тревога оказалась недостаточной для того, чтобы совсем уйти с рынка, а книги через несколько минут после этого у меня купил типичный андреевский старикан с козьей бородой, в круглых очках. Он дал мало, но я был рад и этому. Лишь подходя к дому, я понял, что продал также ту книгу, где был записан телефон, и что я его бесповоротно забыл.

## II

Вначале отнесся я к этому с легкой оторопью всякой малой потери. Еще не утоленный голод заслонял впечатление. Задумчиво варил я картофель в комнате с загнившим окном, политым сыростью. У меня была маленькая железная печка. Дрова... в те времена многие ходили на чердаки,— я тоже ходил, гуляя в косо́й полутьме крыш с чувством вора, слушая, как гудит по трубам ветер, и рассматривая в выбитом слуховом окне бледное пятно неба, сеющее на мусор снежинки. Я находил здесь щепки, оставшиеся от рубки стропил, старые оконные рамы, развалившиеся карнизы и нес это ночью к себе в подвал, прислушиваясь на площадках, не загремит ли дверной крюк, выпускающая запоздавшего посетителя. За стеной комнаты жила прачка; я целыми днями прислушивался к сильному движению ее рук в корыте, производившему звук мерного жевания лошади. Там же отстукивала, часто глубокой ночью — как сошедшие с ума часы — швейная машина. Голый стол, голая кровать, табурет, чашка без блюда, сковородка и чайник, в котором я варил свой картофель, — довольно этих напоминаний. Дух быта часто отворачивается от зеркала, усердно представляемого ему безукоризненно грамотными людьми, сквернословя-

щими по новой орфографии с таким же успехом, с каким проделывали они это по старой.

Как наступила ночь, я вспомнил рынок и живо повторил все, рассматривая свою булавку. Кармен сделала очень немного, она только бросила в ленивого солдата цветком. Не более было совершено здесь. Я давно задумывался о встречах, первом взгляде, первых словах. Они запоминаются и глубоко врезают свой след, если не было ничего лишнего. Есть безукоризненная чистота характерных мгновений, какие можно целиком обратить в строки или в рисунок, — это и есть то в жизни, что кладет начало искусству. Подлинный случай, закованный в безмятежную простоту естественно верного тона, какого жаждем мы на каждом шагу всем сердцем, всегда полон очарования. Так немного, но так полно звучит тогда впечатление.

Поэтому я неоднократно возвращался к булавке, твердя на память, что было сказано мной и девушкой. Затем я устал, лег и очнулся, но, встав, тотчас упал, лишившись сознания. Это начался тиф, и утром меня отвезли в больницу. Но я имел достаточно памяти и соображения, чтобы уложить свою булавку в жестяную коробку, служившую табакеркой, и не расставался с ней до конца.

### III

При 41 градусе бред принял форму визитов. Ко мне приходили люди, относительно которых я уже несколько лет не имел никаких сведений. Я подолгу разговаривал с ними и всех просил принести мне кислого молока. Но, как будто сговорившись, все они твердили, что кислое молоко запрещено доктором. Между тем втайне я ожидал, не покажется ли среди их мелькающих как в банном пару лиц лицо новой сестры милосердия, которой должна была быть не кто иная, как девушка с английской булавкой. Время от времени она проходила за стеной среди высоких цветов, в зеленом венке на фоне золотого неба. Так кротко, так весело сияли ее глаза! Когда она даже появлялась, ее незримым присутствием была полна мерцающая притушенным огнем палата, и я время от времени шевелил пальцем в коробке булавку. К утру скончалось пять человек, и их унесли на носилках румяные санитары, а мой термометр показал 36 с дробью, после чего наступило вялое и трезвое состояние выздоровления. Меня выписали из больницы, когда я мог уже ходить, хотя с болью в ногах, спустя три месяца после заболевания; я вышел и остался без крова. В прежней моей комнате поселился инвалид, а ходить по учреждениям, хлопоча о комнате, я нравственно не умел.

Теперь, может быть, уместно будет привести кое-что о своей наружности, пользуясь для этого отрывком из письма моего друга Репина к журналисту Фингалу. Я делаю это не потому, что интересуюсь запечатлеть свои черты на страницах книги, а из соображений наглядности. "Он смугл, — пишет Репин, — с неохотным ко всему выражением правильного лица, стрижет коротко волосы, говорит медленно и с трудом". Это правда, но моя манера так говорить была не следствием болезни, — она происходила от печального ощущения, редко даже сознаваемого нами, что внутренний мир наш интересен немногим. Однако я сам пристально интересовался всякой другой душой, почему мало высказывался, а более слушал. Поэтому когда собиралось несколько человек, оживленно стремящихся как можно чаще перебить друг друга, чтобы привлечь как можно более внимания к самим себе, — я обыкновенно сидел в стороне.

Три недели я ночевал у знакомых и у знакомых знакомых, — путем сострадательной передачи. Я спал на полу и диванах, на кухонной плите и на пустых ящиках, на составленных вместе стульях и однажды даже на гладильной доске. За это время я насмотрелся на множество интересных вещей, во славу жизни, стойко бьющейся за тепло, близких и пищу. Я видел, как печь топят буфетом,

как кипятят чайник на лампе, как жарят конину на кокосовом масле и как воруют деревянные балки из разрушенных зданий. Но все — и многое, и гораздо более этого — уже описано разорвавшими свежинку перьями на мелкие части; мы не тронем схваченного куска. Другое влечет меня — то, что произошло со мной.

#### IV

К концу третьей недели я заболел острой бессонницей. Как это началось, сказать трудно, я помню только, что засыпал все с большим трудом, а просыпался все раньше. В это время случайная встреча привела меня к сомнительному приюту. Блуждая по каналу Мойки и развлекаясь зрелищем рыбной ловли — мужик с сеткой на длинном шесте степенно обходил гранит, иногда опуская свой снаряд в воду и вытаскивая горсть мелкой рыбешки, — я встретил лавочника, у которого несколько лет назад брал бакалейный товар по книжке; человек этот оказался теперь делающим что-то казенное. Он был вхож во множество домов по делам казенно-хозяйственным. Я не сразу узнал его: ни фартука, ни ситцевой рубахи турецкого рисунка, ни бороды и усов; одет был лавочник в строгие изделия военной складки, начисто

выбрит и напоминал собой англичанина, однако с ярославским оттенком. Хотя он нес толстый портфель, но не имел власти поселить меня где захочет, поэтому предложил пустующие палаты Центрального Банка, где двести шестьдесят комнат стоят, как вода в пруде, тихи и пусты.

— Ватикан, — сказал я, слегка содрогаясь при мысли иметь такую квартиру. — Что же, разве там никто не живет? Или, может быть, туда приходят, а если так, то не отправит ли меня дворник в милицию?

— Эх! — только и сказал экс-лавочник, — дом этот недалеко; идите и посмотрите.

Он завел меня в большой двор, перегороженный арками других дворов, огляделся и, так как на дворе мы никого не встретили, уверенно зашагал к темному углу, откуда вела наверх черная лестница. Он остановился на третьей площадке перед обыкновенной квартирной дверью; в нижней ее щели застрял мусор. Площадка была густо засорена грязной бумагой. Казалось, нежилое молчание, стоя за дверью, просачивается сквозь замочную щель громадами пустоты. Здесь лавочник объяснил мне, как открывать без ключа: потянув ручку, встряхнуть и нажать вверх, тогда обе половинки расходились, так как не было шпингалетов.

— Ключ есть, — сказал лавочник, — только не у меня. Кто знает секрет, войдет очень



свободно. Однако про секрет этот никому вы не говорите, а запретить можно как изнутри, так и снаружи, стоит только прихлопнуть. Понадобится вам выйти — сначала оглянитесь по лестнице. Для этого есть окошечко (действительно на высоте лица в стене около двери чернел вас-ис-дас с разбитым стеклом). Я с вами не пойду. Вы человек образованный и увидите сами, как лучше устроиться; знайте только, что здесь можно упрятать роту. Переночуйте дня три; как только разыщу угол — оповещу вас немедленно. Вследствие этого — извините за щекотливость, есть-пить каждому надо — соблаговолите принять в долг до улучшения обстоятельств.

Он распластал жирный кошель, сунул в мою молчаливо опущенную руку, как доктору за визит, несколько ассигнаций, повторил наставление и ушел, а я, закрыв дверь, присел на ящик. Тем временем тишина, которую слышим мы всегда внутри нас, — воспоминаниями звуков жизни, — уже манила меня, как лес. Она пряталась за полузакрытой дверью соседней комнаты. Я встал и начал ходить.

Я проходил из дверей в двери высоких больших комнат с чувством человека, ступающего по первому льду. Просторно и гулко было вокруг. Едва покидал я одни двери, как видел уже впереди и по сторонам другие, ведущие в тусклый свет далее с еще более

темными входами. На паркетах грязным снегом весенних дорог валялась бумага. Ее обилие напоминало картину расчистки сугробов. В некоторых помещениях прямо от двери надо было уже ступать по ее зыбкому хламу, достигающему высоты колен.

Бумага во всех видах, всех назначений и цветов распространяла здесь вездесущее смещение свое воистину стихийным размахом. Она осыпями взмывалась у стен, висела на подоконниках, с паркета в паркет переходили ее белые разливы, струясь из распахнутых шкафов, наполняя углы, местами образуя барьеры и взрыхленные поля. Блокноты, бланки, гроссбухи, ярлыки переплетов, цифры, линейки, печатный и рукописный текст — содержимое тысяч шкафов выворочено было перед глазами, — взгляд разбегался, подавленный размерами впечатления. Все шорохи, гул шагов и даже собственное мое дыхание звучали как возле самых ушей, — так велика, так захватывающе остра была пустынная тишина. Все время преследовал меня скучный запах пыли; окна были в двойных рамах. Взглядывая на их вечерние стекла, я видел то деревья канала, то крыши двора или фасада Невского. Это значило, что помещение огибает кругом весь квартал, но его размеры, благодаря частой и уютной осязаемости пространства, разгороженного непрекращающимися стенами и

дверями, казались путями ходьбы многих дней, — чувство, обратное тому, с каким мы произносим: "Малая улица" или "Малая площадь". Едва начав обход, уже сравнивал я это место с лабиринтом. Все было однообразно — вороха хлама, пустота там и здесь, означенная окнами или дверью, и ожидание многих иных дверей, лишенных толпы. Так мог бы, если бы мог, двигаться человек внутри зеркального отражения, когда два зеркала повторяют до отупения охваченное ими пространство, и недоставало только собственного лица, выглядывающего из двери как в раме.

Не более двадцати помещений прошел я, а уже потерялся и стал различать приметы, чтобы не заблудиться: пласт извести на полу; там — сломанное бюро; вырванная и приставленная к стене дверная доска; подоконник, заваленный лиловыми чернильницами; проволочная корзина; кипы отслужившего клякс-папира; камин; кое-где шкаф или брошенный стул. Но и приметы начали повторяться: оглядываясь, с удивлением замечал я, что иногда попадаю туда, где уже был, устанавливая ошибку только рядом других предметов. Иногда попадался стальной денежный шкаф с отвернутой тяжелой дверцей, как у пустой печи; телефонный аппарат, казавшийся среди опустошения почтовым ящиком или грибом на березе, перенос-

ная лестница; я нашел даже черную болванку для шляп, неизвестно как и когда включившую себя в инвентарь.

Уже сумерки коснулись глубины зал с белеющей по их далям бумагой, смежности и коридоры слились с мглой, и мутный свет ромбами перекошил паркет в дверях, но прилегающие к окнам стены сияли еще кое-где напряженным блеском заката. Память о том, что, проходя, я оставлял позади, свертывалась, как молоко, едва новые входы вставали перед глазами, и я, в основе, только помнил и знал, что иду сквозь строй стен по мусору и бумаге. В одном месте пришлось мне лезть вверх и месить кучи скользких под ногой папок; шум, как в кустах. Шагая, оглядывался я с трепетом, — так вязок, неотделен от меня был в тишине этой самомалейший звук, что я как бы волочил на ногах связки сухих метел, прислушиваясь, не зацепит ли чей-то чужой слух это хождение. Вначале я шагал по нервному веществу банка, топча черное зерно цифр с чувством нарушения связи оркестровых нот, слышимых от Аляски до Ниагары. Я не искал сравнений: они, вызванные незабываемым зрелищем, появлялись и исчезали, как цепь дымных фигур. Мне казалось, что я иду по дну аквариума, из которого выпущена вода, или среди льдов, или же — что было всего отчетливее и мрачнее — брожу в прош-

лых столетиях, обернувшись нынешним днем. Я прошел внутренний коридор, такой извилисто длинный, что по нему можно было бы кататься на велосипеде. В его конце была лестница, я поднялся в следующий этаж и спустился по другой лестнице, миновав средней величины залу с полом, уставленным арматурой. Здесь виднелись стеклянные матовые шары, абажуры тюльпанами и колоколами, змеевидные бронзовые люстры, свертки проводов, кучи фаянса и меди.

Следующий запутанный переход вывел меня к архиву, где в темной тесноте полки, параллельно пересекавшие пространство, соединяя пол с потолком, проход был невыносим. Месиво копировальных книг вздымалось выше груди; даже осмотреться я не мог с должным вниманием — так густо смешалось все.

Пройдя боковой дверью, следовал я в полутьме белых стен, пока не увидел большой арки, соединяющей кулуары с площадью центрального холла, уставленного двойным рядом черных колонн. Перила алебастровых хор тянулись по высотам этих колонн громадным четырехугольником; едва приметен был потолок. Человек, страдающий боязнью пространства, ушел бы, закрыв лицо, — так далеко надо было идти к другому концу этого вместилища толп, где чернели двери величиной в игральную карту. Могла

здесь танцевать тысяча человек. Посредине стоял фонтан, и его маски, с насмешливо или трагически раскрытыми ртами, казались кучей голов. Примыкая к колоннам, ареной развертывался барьер сплошной прилавка с матовой стеклянной завесой, помеченной золотыми буквами касс и бухгалтерий. Сломанные перегородки, обрушенные кабины, сдвинутые к стенам столы были здесь едва приметны по причине величины зала.

С некоторым трудом взгляд набирал предметы равного всему остальному безжизненного опустошения. Я неподвижно стоял, осматриваясь. Я начал входить во вкус этого зрелища, усваивать его стиль. Приподнятое чувство зрителя большого пожара стало понятно еще раз. Соблазн разрушения начинал звучать поэтическими наитиями, — передо мной развертывался своеобразный пейзаж, местность, даже страна. Ее колорит естественно переводил впечатление к внушению, подобно музыкальному внушению оригинального мотива. Трудно было представить, что некогда здесь двигалась толпа с тысячами дел в портфелях и голове. На всем лежала печать тлена и тишины. Веяние неслышанной дерзости тянулось из дверей в двери — стихийного, неодолимого сокрушения, повернувшегося так же легко, как плющится под ногой яичная скорлупа. Эти впечатления сеяли особый головной зуд, притяги-

вая к мыслям о катастрофе теми же магнитами сердца, какие толкают смотреть в пропасть. Казалось, одна подобная эху мысль охватывает здесь собой все формы и звонком в ушах следует неотступно, — мысль, напоминающая девиз:

”Сделано — и молчит”.

## V

Наконец, я устал. Уже с трудом можно было различать переходы и лестницы. Я хотел есть. У меня не было надежды отыскать выход, чтобы купить где-нибудь на углу съестное. В одной из кухонь я утолил жажду, повернув кран. К моему удивлению, вода, хотя слабо, но заструилась, и этот незначительный живой знак по-своему ободрил меня. Затем я стал выбирать комнату. Это заняло еще несколько минут, пока я не наткнулся на кабинет с одной дверью, камином и телефоном. Мебель почти отсутствовала; единственное, на что можно было лечь или сесть, это — скальпированный диван без ножек; обрывки срезанной кожи, пружины и волос торчали со всех сторон. В нише стены помещался высокий ореховый шкаф: он был заперт. Я выкурил папиросу-другую, пока не привел себя к относительному равновесию, и занялся устройством ночлега.

Давно уже я не знал счастья усталости — глубокого и спокойного сна. Пока светил день, я думал о наступлении ночи с осторожностью человека, несущего полный воды сосуд, стараясь не раздражаться, почти уверенный, что на этот раз изнурение победит тягостную бодрость сознания. Но, едва наступал вечер, страх не уснуть овладевал мной с силой навязчивой мысли, и я томился, призывая наступление ночи, чтобы узнать, засну ли я наконец. Однако чем ближе к полуночи, тем явственнее убеждали меня чувства в их неестественной обостренности; тревожное оживление, подобное блеску магния среди тьмы, скручивало мою нервную силу в гулкую при малейшем впечатлении тугую струну, и я как бы просыпался от дня к ночи, с ее долгим путем внутри беспокойного сердца. Усталость рассеивалась, в глазах колело, как от сухого песка; начало любой мысли немедленно развивалось во всей сложности ее отражений, и предстоящие долгие бездеятельные часы, полные воспоминаний, уже возмущали бессильно, как обязательная и бесплодная работа, которой не избежать. Как только мог, я призывал сон. К утру, с телом, как бы налитым горячей водой, я всасывал обманчивое присутствие сна искусственной зевотой, но, лишь закрывал глаза, испытывал то же, что испытываем мы, закрывая без нужды глаза днем, — бессмысленность



этого положения. Я испытал все средства: рассматривание точек стены, счет, неподвижность, повторение одной фразы, — и безуспешно.

У меня был огарок свечи, вещь совершенно необходимая в то время, когда лестницы не освещались. Хотя тускло, но я озарил им холодную высоту помещения, после чего, заложив ямы дивана бумагой, изголовье нагромоздил из книг. Пальто служило мне одеялом. Следовало затопить камин, чтобы смотреть на огонь. К тому же по летнему времени было здесь не довольно тепло. Во всяком случае, я придумал занятие и был рад. Вскоре пачки счетов и книг загорелись в этом большом камине сильным огнем, сваливаясь пеплом в решетку. Пламя шевелило мрак раскрытых дверей, уходя в отдаление тихой блестящей лужей.

Но бесплодно тайно горел этот случайный огонь. Он не озарял привычных предметов, рассматривая которые в фантастическом отсвете красных и золотых углей, сходим мы к внутреннему теплу и свету души. Он был уютен, как костер вора. Я лежал, подпирая голову затекшей рукой, без всякого желания задремать. Все мои усилия в эту сторону были бы равны притворству актера, укладывающегося на глазах толпы, зевая, в кровать. Кроме того, я хотел есть и, чтобы заглушить голод, часто курил.

Я лежал, лениво рассматривая огонь и шкаф. Теперь мне пришло на мысль, что шкаф заперт не без причины. Что, однако, может быть скрыто в нем, как не те же кипы умерших дел? Что еще не вытащено отсюда? Печальный опыт с отгоревшими электрическими лампочками, которых я нашел кучу в одном из таких же шкафов, заставил подозревать, что шкаф заперт без всякого намерения, лишь потому, что хозяйственно повернулся ключ. И, тем не менее, я взирал на массивные створки, солидные, как дверь подъезда, с мыслью о пище. Не очень серьезно надеялся я найти в нем что-нибудь годное для еды. Меня слепо толкал желудок, заставляющий всегда думать по трафарету, свойственному только ему, — так же, как вызывает он голодную слюну при виде еды. Для развлечения я прошел несколько ближайших от меня комнат, но, шаря там при свете огарка, не нашел даже обломка сухаря и вернулся, все более привлекаемый шкафом. В камине сумрачно дотлевал пепел. Мои соображения касались мне подобных бродяг. Не запер ли кто-нибудь из них в шкафу каравай хлеба, а может быть, чайник, чай и сахар? Алмазы и золото хранятся в другом месте; довольно очевидности положения. Я считал себя вправе открыть шкаф, так как, конечно, не тронул бы никаких вещей, будь они заперты здесь, а на съестное, что

ни говори буква закона, — теперь — теперь я имел право.

Светя огарком, я не торопился, однако, подвергать критике это рассуждение, чтобы не лишиться случайно моральной точки опоры. Поэтому, подняв стальную линейку, я ввел ее конец в скважину против замка и, нажав, потянул прочь. Защелка, прозвенев, отскочила, шкаф, туго скрипя, раскрылся — и я отступил, так как увидел необычайное. Я отшвырнул линейку резким движением, я вздрогнул и не закричал только потому, что не было сил. Меня как бы оглушило хлынувшей из бочки водой.

## VI

Первая дрожь открытия была в то же время дрожью мгновенного, но ужаснейшего сомнения. Однако то не был обман чувств. Я увидел склад ценной провизии — шесть полок, глубоко уходящих внутрь шкафа под тяжестью переполняющего их груза. Он состоял из вещей, ставших редкостью, — отборных продуктов зажиточного стола, вкус и запах которых стал уже смутным воспоминанием. Притащив стол, я начал осмотр.

Прежде всего я закрыл двери, стесняясь пустых пространств, как подозрительных глаз; я даже вышел прислушаться, не ходит

ли кто-нибудь, как и я, в этих стенах. Молчание служило сигналом.

Я начал осмотр сверху. Верх, то есть пятая и шестая полки, заняты были четырьмя большими корзинами, откуда, едва я пошевелил их, выскочила и шлепнулась на пол огромная рыжая крыса с визгом, вызывающим тошноту. Я судорожно отдернул руку, застыв от омерзения. Следующее движение вызвало бегство еще двух гадов, юркнувших между ног, подобно большим ящерицам. Тогда я встряхнул корзину и ударил по шкафу, сторонясь, — не посыплется ли дождь этих извилистых мрачных телец, мелькая хвостами. Но крысы, если там было несколько штук, ушли, должно быть, задами шкафа в щели стены — шкаф стоял тихо.

Естественно, я удивился этому способу хранить съестные запасы в месте, где мыши (*Murinae*) и крысы (*Mus decum anus*) должны были чувствовать себя дома. Но мой восторг опередил всякие размышления; они едва просачивались, как в плотине вода, сквозь этот апофеозный вихрь. Пусть не говорят мне, что чувства, связанные с едой, неизменны, что аппетит равняет амфибию с человеком. В минуты, подобные пережитым мной, все существо наше окрылено, и радость не менее светла, чем при виде солнечного восхода с высоты гор. Душа движется в звуках марша. Я уже был пьян видом сокро-

вищ, тем более, что каждая корзина представляла ассортимент однородных, но вкуче разнообразных прелестей. В одной корзине были сыры, коллекция сыров — от сухого зеленого до рочестера и бри. Вторая, не менее тяжеловесная, пахла колбасной лавкой; ее окорока, колбасы, копченые языки и фаршированные индейки теснились рядом с корзиной, уставленной шрапнелью консервов. Четвертую распирало горой яиц. Я встал на колени, так как теперь следовало смотреть ниже. Здесь я открыл восемь голов сахара, ящик с чаем; дубовый с медными обручами бочонок, полный кофе; корзины с печеньем, торты и сухари. Две нижние полки напоминали ресторанный буфет, так как их кладью были исключительно бутылки вина в порядке и тесноте сложенных дров. Их ярлыки называли все вкусы, все марки, все славы и ухищрения виноделов.

Следовало если не торопиться, то, во всяком случае, начать есть, так как, понятно, сокровище, имея свежий вид обдуманного запаса, не могло быть брошено кем-то ради желания доставить случайному посетителю этих мест удовольствие огромной находки. Днем ли или ночью, но мог явиться человек с криком и поднятыми руками, если только не чем-нибудь худшим, вроде ножа. Все говорило за темную остроту случая. Многого следовало опасаться мне в этих простран-

ствах, так как я подошел к неизвестному. Между тем голод заговорил на своем языке, и я, прикрыв шкаф, уселся на остатках дивана, окружив себя кусками, положенными вместо тарелок на большие листы бумаги. Я ел самое существенное, то есть сухари, ветчину, яйца и сыр, заедая это печеньем и запивая портвейном, с чувством чуда при каждом глотке. Вначале я не мог справиться с ознобом и нервным тяжелым смехом, но, когда несколько успокоился, несколько свыкся с обладанием этими вкусными вещами, не более как пятнадцать минут назад витавшими в облаках, то овладел и движениями и мыслями. Сытость наступила скоро, гораздо скорее, чем я думал, когда начинал есть, вследствие волнения, утомительного даже для аппетита. Однако я был слишком истощен, чтобы перейти к резиньяции, и насыщение усладило меня вполне, без той сонливой мозговой одури, какая сопутствует ежедневному поглощению обильных блюд. Съев все, что взял, а затем тщательно уничтожив остатки пира, я почувствовал, что этот вечер х о р о ш.

Между тем, как я ни напрягался в догадках, они, естественно, царапали, подобно тупому ножу, лишь поверхность события, оставляя его суть скрытой непосвященному взору. Расхаживая в спящих громадах банка, я, быть может, довольно верно понял,

чем связан мой лавочник с этим писчебумажным клондайком: отсюда можно было вывезти и унести сотни возов обертки, столь ценимой торговцами в целях обвеса; кроме того, электрические шнуры, мелкая арматура составили бы не одну пачку ассигнаций; не без причины были вырваны здесь шнуры и штепселя почти всюду, где я осматривал стены. Поэтому я не делал лавочника собственником тайной провизии; он, вероятно, пользовался ею в другом месте. Но дальше этого я не ступил шага, все мои дальнейшие размышления были безличны, как при всякой находке. Что ее некоторое время никто не трогал, доказывали следы крыс; их зубы оставили на окороках и сырах обширные ямы.

Насытись, я принялся тщательно исследовать шкаф, заметив много такого, что я пропустил в минуты открытия. Среди корзин лежали пачки ножей, вилок и салфеток; за головами сахара прятался серебряный самовар; в одном ящике сталкивалось, звеня, множество бокалов, рюмок и узорных стаканов. По-видимому, здесь собиралось общество, преследующее гульбильные или конспиративные цели, в расчете изоляции и секрета, может быть, могущественная организация с ведома и при участии домовых комитетов. В таком случае я должен был держаться настороже. Как мог, я тщательно

прибрал шкаф, рассчитывая, что незначительное количество уничтоженного мною на ужин едва ли будет замечено. Однако (не считая себя виноватым в этом) я взял кое-что вместе с еще одной бутылкой вина, завернул плотным пакетом и спрятал под грудой бумаг в извилине коридора.

Само собой, в эти минуты у меня не было настроения не только уснуть, но даже лечь. Я закурил светлую душистую папиросу из волокнистого табака с длинным мундштуком, — единственная находка, которой я вполне отдал честь, набив дивными папиросами все карманы. Я был в состоянии упоительной, музыкальной тревоги, с мнением о себе, как о человеке, которого ожидает цепь громких невероятий. Среди такого блистательного смятения я вспомнил девушку в сером платке, застегнувшую мой воротник английской булавкой, — мог ли я забыть это движение? Она была единственный человек, о котором я думал красивыми и трогательными словами. Бесполезно приводить их, так как, едва прозвучав, они теряют уже свой пленительный аромат. Эта девушка, имени которой я даже не знал, оставила, исчезнув, след, подобный полосе блеска воды, бегущей к закату. Такой кроткий эффект произвела она простой английской булавкой и звуком сосредоточенного дыхания, когда привстала на цыпочки. Это и есть са-



мая подлинная белая магия. Так как девушка тоже нуждалась, я страстно хотел побаловать ее своим ослепительным открытием. Но я не знал, где она, я не мог позвонить ей. Даже благодеяние памяти, вскрикну она забытым мной номером, не могло помочь здесь при множестве телефонов, к одному из которых невольно обращались мои глаза: они не действовали, не могли действовать по очевидным причинам. Однако я смотрел на аппарат с некоторым пытливым сомнением, в котором разумная мысль не принимала никакого участия. Я тянулся к нему с чувством игры. Желание совершить глупость не отпускало меня и, как всякий ночной вздор, украсилось эфемеридами бессонной фантазии. Я внушил себе, что должен припомнить номер, если приму физическое положение разговора по телефону. Кроме того, эти загадочные стенные грибы с каучуковым ртом и металлическим ухом я издавна рассматривал, как предметы, разъясненные не вполне, — род суеверия, навеянного, между многим другим, "Атмосферой" Фламариона, с его рассказом о молнии. Я очень советую всем перечитать эту книгу и задуматься еще раз над странностями электрической грозы; особенно над действиями шаровидной молнии, вешающей, например, на вбитый ею же в стену нож сковородку или башмак, или перелицовывающей черепичную

крышу так, что черепицы укладываются в обратном порядке с точностью чертежа, не говоря уже о фотографиях на теле убитых молнией, фотографиях обстановки, в которой произошло несчастье. Они всегда синеватого цвета, подобно старинным дагерротипам. "Киловатты" и "амперы" мало говорят мне. В моем случае с аппаратом не обошлось без предчувствия, без той странной истомы, заволочнутости сознания, какие сопутствуют большинству производимых нами абсурдов. Итак, я объясняю это теперь, тогда же был лишь подобен железу перед магнитом.

Я снял трубку. Более чем была на самом деле холодной показалась она мне, немая, перед равнодушной стеной. Я поднес ее к уху не с большим ожиданием, чем сломанные часы, и надавил кнопку. Был ли то звон в голове или звуковое воспоминание, но, вздрогнув, я услышал жужжание мухи, ту, подобную гудению насекомого, вибрацию проводов, какая при этих условиях являлась тем самым абсурдом, к которому я стремился.

Разборчивое усилие понять, как червь точит даже мрамор скульптуры, лишая силы все впечатления с скрытым источником. Стaranja понять непонятное не было в числе моих добродетелей. Но я проверил себя. Отняв трубку, я воспроизвел этот характерный шум в воображении, получив его вторично лишь когда снова стал слушать по трубке. Шум не

скакал, не обрывался, не ослабевал, не усиливался; в трубке, как должно, гудело невидимое пространство, ожидая контакта. Мной овладели смутные представления, странные, как странен был этот гул провода, действующего в мертвом доме. Я видел узлы спутанных проводов, порванных шквалом и дающих соединения в неуследимых точках своего хаоса; снопы электрических искр, вылетающих из сгорбленных спин кошек, скачущих по крышам; магнетические вспышки трамвайных линий; ткань и сердце материи в виде острых углов футуристического рисунка. Такие мысли-видения не превышали длительностью толчка сердца, вставшего на дыбы; оно билось, выстукивая на непереводаемом языке ощущения ночных сил.

Тогда из-за стен встал ясно, как молодая луна, образ той девушки. Мог ли я думать, что впечатление окажется таким живучим и стойким? Сто сил человеческих пряло и гудело во мне, когда, воззрясь на стертый номер аппарата, я вел память сквозь вьюгу цифр, тщетно пытаюсь установить, какое соединение их напомним утерянное число. Лукавая, неверная память! Она клянется не забыть ни чисел, ни дней, ни подробностей, ни дорогого лица и взглядом невинности отвечает сомнению. Но наступил срок, и легковёрный видит, что заключил сделку с бесстыдной обезьяной, отдающей за

горсть орехов бриллиантовый перстень. Неполны, смутны черты вспоминаемого лица, из числа выпадает цифра; обстоятельства смешиваются, и тщетно сжимает голову человек, мучаясь скользким воспоминанием. Но, если бы мы помнили, если бы могли помнить все, — какой рассудок выдержит безнаказанно целую жизнь в едином моменте, особенно воспоминания чувств?

Я бессмысленно твердил цифры, шевеля губами, чтобы нащупать их достоверность. Наконец мелькнул ряд, сродный впечатлению забытого номера: 107-21. — "Сто семь двадцать один", — проговорил я, прислушиваясь, но не зная точно, не ошибаюсь ли вновь. Внезапное сомнение ослепило меня, когда я нажимал кнопку вторично, но уже было поздно — жужжание полилось гулом, что-то, звякнув, изменилось в телефонной дали, и прямо в кожу щеки усталый женский контральто сухо сказал: "Станция". "Станция!.." — нетерпеливо повторил он, но и тогда я заговорил не сразу, — так холодно сжалось горло, — потому что в глубине сердца я все еще только играл.

Как бы то ни было, раз я заклил и вызвал духов, — отнести их к "Атмосфере" или к "Киловаттам" общества 86 года, — я говорил, и мне отвечали. Колеса испорченных часов начали поворачивать шестерню. Над моим ухом двинулись стальные лучи стрел.

Кто бы ни толкнул маятник, механизм начал мирно отстукивать. "Сто семь двадцать один", — сказал я глухо, смотря на догорающую среди хлама свечу. — "На группу А", — раздался недовольный ответ, и гул прихлопнуло далеким движением усталой руки.

Мне было у м с т в е н н о - ж а р к о в эти минуты. Я нажимал именно кнопку с литерой А; следовательно, не только действовал телефон, но еще подтверждал эту удивительную реальность тем, что были спутаны провода, — подробность замечательная для нетерпливой души. Стремясь соединить А, я нажал Б. Тогда в вой пущенного гулять тока ворвались, как из внезапно открытой двери, резкие голоса, напоминающие болтовню граммофонной трубы, — неведомые оратели, бьющиеся в моей руке, сжимающей резонатор. Они перебивали друг друга с торопливостью и ожесточением людей, выбежавших на улицу. Смешанные фразы напоминали концерт грачей — "А-ла-ла-ла-ла!" — вопило неведомое существо на фоне баритона чьей-то рассудительно-медлительной речи, разделенной паузами и знаками препинания с медоточивой экспрессией, — "Я не могу дать"... — "Если увидите"... — "Когда-нибудь"... — "Я говорю, что"... — "Вы слушаете"... — "Размером тридцать и пять"... — "Отбой"... — "Автомобиль выслан"... — "Ничего не понимаю"... — "Повесьте трубку"... В этот рыночный транс сла-

бо, как пение комара, ползли стоны, далекий плач, хохот, рыдания, скрипичные такты, перебор неторопливых шагов, шорох и шепот. Где, на каких улицах звучали эти слова забот, окриков, внушений и жалоб? Наконец, звякнуло деловое движение, голоса пропали, и в гул провода вошел тот же голос, сказав: "Группа Б".

— "А"! Дайте "А", — сказал я, — перепутаны провода.

После молчания, во время которого гул два раза стихал, новый голос оповестил певуче и тише: "Группа А". — "Сто семь, двадцать один", — отчеканил я, как можно разборчивее.

— Сто восемь ноль один, — внимательным тоном безучастно повторила телефонистка, и я едва удержал готовую отлететь губительную поправку, — эта ошибка с несомненностью устанавливала забытый номер, — едва услышав, я признал, вспомнил его, как припоминаем мы встречное лицо.

— Да, да, — сказал я в чрезвычайном волнении, бегущим по высоте, по краю головокружительного обрыва. — Да, именно так, — сто восемь ноль один.

Тут все замерло во мне и вокруг. Звук передачи стеснил сердце подступом холодной волны; я даже не слышал обычного "звоню" или "соединила", — я не помню, что было сказано. Я слушал птиц, льющих неотразимые трели. Изнемогая, я прислонился к сте-

не. Тогда, после паузы, равной ожесточению, свежий, как свежий воздух, рассудительный голосок осторожно сказал:

— Это я пробую. Говорю в недействующий телефон, потому что ты слышал, как прозвенело? Кто у телефона? — сказала она, видимо, не ожидая ответа, на всякий случай, тоном легкомысленной строгости.

Почти крича, я сказал:

— Я тот, который говорил с вами на рынке и ушел с английской булавкой. Я продавал книги. Вспомните, прошу вас. Я не знаю имени, — подтвердите, что это вы.

— Чудеса, — ответил, кашлянув, голос в раздумьи. — Пойдите, не вешайте трубку. Я соображаю. Старик, видел ли ты что-нибудь подобное?

Последнее было обращено не ко мне. Ей невнятно отвечал мужской голос, по-видимому, из другой комнаты.

— Я встречу припоминаю, — снова обратилась она к моему уху. — Но я не помню, о какой булавке вы говорите. Ах, да! Я не знала, что у вас такая крепкая память. Но странно мне говорить с вами — наш телефон выключен. Что же произошло? Откуда вы говорите?

— Хорошо ли вы слышите? — ответил я, уклоняясь назвать место, где находился, как будто не понял вопроса, и, получив утверждение, продолжал: — Я не знаю, долог ли бу-

дет разговор наш. Есть причины, по которым я не останавливаюсь более на этом. Я не знаю, как и вы, многих вещей. Поэтому сообщите, не откладывая, ваш адрес, я не знаю его.

Некоторое время ток ровно жужжал, как будто мои последние слова нарушили передачу. Снова глухой стеной легла даль, — отвратительное чувство досады и стыдливой точки едва не смутило меня пуститься в сложные неуместные рассуждения о свойстве разговоров по телефону, не допускающему свободного выражения оттенков самых естественных, простых чувств. В некоторых случаях лицо и слова неразделимы. Это самое, может быть, обдумывала и она, пока длилось молчание, после чего я услышал:

— Зачем? Ну, хорошо. Итак, запишите, — не без лукавства сказала она это "запишите", — запишите мой адрес: 5-я линия, 97, кв. 11. Только зачем, зачем понадобился вам мой адрес? Я, откровенно скажу, не понимаю. Вечером я бываю дома...

Голос продолжал неторопливо звучать, но вдруг раздался тихо и глухо, как в ящике. Я слышал, что она говорит, по-видимому, что-то рассказывая, но не различал слов. Все отдаленнее, смутнее текла речь, пока не уподобилась покрапыванию дождя, — наконец едва слышное толканье тока дало понять, что действие прекратилось. Связь исчезла, аппарат тупо молчал. Передо мной были стена, ящик и труб-



ка. По стеклу выстукивал ночной дождь. Я нажал кнопку, она брякнула и остановилась. Резонатор умер. Очарование отошло.

Но я слышал, я говорил, что было, того не могло не быть. Впечатления этих минут сошли и ушли вихрем, его отзвуками я был еще полон и сел, сразу устав, как от восхождения по крутой лестнице. Между тем я был еще в начале событий. Их развитие началось стуком отдаленных шагов.

## VII

Еще очень далеко от меня — не в самом ли начале сделанного мною пути? — а может быть, с другой стороны, на значительном расстоянии первого уловления звука, слышались неведомые шаги. Как можно было установить, шел кто-то один, ступая проворно и легко, знакомой дорогой среди тьмы и, возможно, освещая путь ручным фонарем или свечой. Однако мысленно я видел его спешащим осторожно, во тьме; он шел, присматриваясь и оглядываясь. Не знаю, почему я вообразил это. Я сидел в оцепенении и смятении, как бы схваченный издали концами гигантских щипцов. Я налился ожиданием до боли в висках, я был в тревоге, отнимающей всякую возможность противодействия. Я был бы спокоен, во всяком случае, начал

бы успокаиваться, если бы шаги удалялись, но я слышал их все яснее, все ближе к себе, теряясь в соображениях относительно цели этого пытающего слух томительного, долгого перехода по опустевшему зданию. Уже предчувствие, что не удастся избежать встречи, отвратительно коснулось моего сознания; я встал, сел снова, не зная, что делать. Мой пульс точно следовал отчетливости или перерыву шагов, но, осилив наконец мрачную тупость тела, сердце пошло стучать полным ударом, так что я чувствовал свое состояние в каждом его толчке. Мои намерения смешались, я колебался, потушить свечу или оставить ее гореть, причем не разумные мотивы, а вообще возможность произвести какое-либо действие казалось мне удачно придуманным средством избегнуть опасной встречи. Я не сомневался, что встреча эта опасна или тревожна. Я нащупал покой среди нежилых стен и жаждал удержать ночную иллюзию. Одно время я выходил за дверь, стараясь ступать неслышно, с целью посмотреть, в какой из прилегающих комнат могу спрятаться, как будто та комната, где я сидел, заслоняя спиной огарок, была уже намечена к посещению и кто-то знал, что я нахожусь в ней. Я оставил это, сообразив, что, делая переходы, поступлю, как игрок в рулетку, который, переменяв номер, видит с досадой, что проиграл только потому, что изменил покинутой цифре. Благо-

разумнее всего следовало мне сидеть и ждать, потушив огонь. Так я и поступил и стал ожидать во тьме.

Между тем не было уже никакого сомнения, что расстояние между мной и неизвестным пришельцем сокращается с каждым ударом пульса. Он шел теперь не далее, как за пять или шесть стен от меня, перебегая от дверей к двери с спокойной быстротой легкого тела. Я сжался, прикованный его шагами к налетающему как автомобиль моменту взаимного взгляда — глаза в глаза, и я молил бога, чтобы то не были зрачки с бешеной полосой белка над их внутренним блеском. Я уже не ожидал, я знал, что увижу его; инстинкт, заменив в эти минуты рассудок, говорил истину, тычась слепым лицом в острие страха. Призраки вошли в тьму. Я видел мохнатое существо темного угла детской комнаты, сумеречного фантома, и, страшнее всего, ужаснее падения с высоты, ожидал, что у самой двери шаги смолкнут, что никого не окажется и что это отсутствие кого бы то ни было заденет по лицу воздушным толчком. Представить такого же, как я, человека не было уже времени. Встреча неслась; скрыться я никуда не мог. Вдруг шаги смолкли, остановились так близко от двери, и так долго я ничего не слышал, кроме возни мышей, бегающих в грудах бумаги, что едва уже сдерживал крик. Мне показалось: некто, согнувшись,

крадется неслышно через дверь с целью схватить. Оторопь безумного восклицания, огласившего тьму, бросила меня вихрем вперед с протянутыми руками, — я отшатнулся, закрывая лицо. Засиял свет, швырнув из дверей в двери всю доступную глазам даль. Стало светло, как днем. Я получил род нервного сотрясения, но, едва задержась, тотчас прошел вперед. Тогда за ближайшей стеной женский голос сказал: "Идите сюда". Затем прозвучал тихий, задорный смех.

При всем моем изумлении я не ожидал такого конца пытки, только что выдержанной мной в течение, может быть, часа. "Кто зовет?" — тихо спросил я, осторожно приближаясь к двери, за которой таким красивым и нежным голосом обнаружила свое присутствие неизвестная женщина. Внимая ей, я представлял ее внешность отвечающей удовольствию слуха, и с доверием ступил дальше, прислушиваясь к повторению слов: "Идите, идите сюда". Но за стеной я никого не увидел. Матовые шары и люстры блистали под потолками, сея ночной день среди черных окон. Так, спрашивая и каждый раз получая в ответ неизменно из-за стены соседнего помещения: "Идите, о, идите скорей!" — я осмотрел пять или шесть комнат, заметив в одной из них в зеркале самого себя, внимательно переводящего взгляд от пустоты к пустоте. Тогда показалось мне, что тени зеркальной глубины

полны согнутых, крадущихся одна за другой женщин в мантильях или покрывалах, которые они прижимали к лицу, скрывая свои черты, и только их черные глаза с улыбкой меж сдвинутых лукаво бровей светились и мелькали неуловимо. Но я ошибался, так как я обернулся с быстротой, не позволившей бы убежать самым проворным существам этого дома. Устав и опасаясь при том волнении, какое переполняло меня, чего-нибудь действительно грозного среди безмолвно озаренных пустот, я наконец резко сказал:

— Покажитесь, или я не пойду дальше. Кто вы и зачем зовете меня?

Прежде, чем мне ответили, эхо скомкало мое восклицание смутным и глухим гулом. Заботливая тревога слышалась в словах таинственной женщины, когда беспокойно окликнула она меня из неведомого угла: "Спешите, не останавливаясь; идите, идите, не возражая". Казалось, рядом со мной были произнесены эти слова, быстрые, как плеск, и звонкие в своем полушепоте, как если бы прозвучали над ухом, но тщетно спешил я в нетерпеливом порыве из дверей в двери, распахивая их или огибая сложный проход, чтобы взглянуть где-то врасплох на ускользящее движение женщины, — везде встречал я лишь пустоту, двери и свет. Так продолжалось это, напоминающая игру в прятки, и несколько раз уже с досадой вздохнул я, не зная, идти далее или

остановиться, остановиться решительно, пока не увижу, с кем говорю так тщетно на расстоянии. Если я умолкал, голос искал меня; все задумчивее и тревожнее звучал он, немедленно указывая направление и тихо восклицая впереди, за новой стеной:

— Сюда, скорее ко мне!

Как ни был я чуток к оттенкам голосов вообще — и особенно в этих обстоятельствах величайшего напряжения, — я не уловил в зовах, в настойчивых подзываниях неслышно убегающей женщины ни издевательства, ни притворства; хотя вела она себя более чем изумительно, у меня не было пока причин думать о зловещем или вообще дурном, так как я не знал вызвавших ее поведение обстоятельств. Скорее можно было подозревать настойчивое желание сообщить или показать что-то наспех, крайне дорожа временем. Если я ошибался, попадая не в ту комнату, откуда спешило ко мне вместе с шорохом и частым дыханием очередное музыкальное восклицание, меня направляли, указывая дорогу вкрадчивым и мягким "Сюда!". Я зашел уже слишком далеко для того, чтобы повернуть назад. Я был тревожно увлечен неизвестностью, стремясь почти бегом среди обширных паркетов, с глазами, устремленными по направлению голоса.

— Я здесь, — сказал, наконец, голос тоном конца истории. Это было на перекрестке

коридора и лестницы, идущей несколькими ступенями в другой коридор, расположенный выше.

— Хорошо, но это последний раз, — предупредил я.

Она ждала меня в начале коридора, направо, где менее блестел свет; я слышал ее дыхание и, пройдя лестницу, с гневом осмотрел полутьму. Конечно, она снова обманула меня. Обе стены коридора были завалены кипами книг, оставляя узкий проход. При одной лампе, слабо озарявшей лишь лестницу и начало пути, я мог на расстоянии не рассмотреть человека.

— Где же вы? — всматриваясь, заговорил я. — Остановитесь, вы так спешите. Идите сюда.

— Я не могу, — тихо ответил голос. — Но разве вы не видите? Я здесь. Я устала и села. Подойдите ко мне.

Действительно, я слышал ее совсем близко. Следовало миновать поворот. За ним была тьма, отмеченная в конце светлым пятном двери. Спотыкаясь о книги, я поскользнулся, зашатался и, падая, опрокинул шаткую кипу гроссбухов. Она рухнула глубоко вниз. Падая на руки, я ушел ими в отвесную пустоту, едва не перекачнувшись сам за край провала, откуда, на невольный мой вскрик, вылетел гул книжной лавины. Я спасся лишь потому, что упал случайно ранее, чем подошел к краю. Если изумление страха

в этот момент отстраняло догадку, то смех, веселый холодный смешок по ту сторону ловушки немедленно объяснил мою роль. Смех удалялся, затихая с жестокой интонацией, и я более не слышал его.

Я не вскочил, не отполз с шумом, лишним в предполагаемом падении моем; поняв шутку, я даже не пошевелился, предоставляя чужому впечатлению отстояться в желательном для него смысле. Однако следовало заглянуть на уготованное мне ложе. Пока не было никаких признаков наблюдения, и я, с великой осторожностью, зажегши спичку, увидел четырехугольный люк проломанного насквозь пола. Свет не озарял низа, но, припоминая паузу, разделяющую толчок от гула удара книг, я определил приблизительно высоту падения в двенадцать метров. Следовательно, пол нижнего этажа был разрушен симметрично к верхней дыре, образуя двойной пролет. Я кому-то мешал. Это я мог понять, имея веские доказательства, но я не понимал, как могла бы самая воздушная женщина перелететь через обширный люк, стены которого не имели никакого бордюра, позволяющего воспользоваться им для перехода; ширина достигала шести аршин.

Выждав, когда происшествие утратило свою опасную свежесть, я переполз назад, к месту, где достигающий издалика свет позволял различать стены, и встал. Я не смел



возвращаться к озаренным пространствам. Но я был теперь не в состоянии также покинуть сцену, на которой едва не разыграл финал пятого акта. Я коснулся вещей довольно серьезных, чтобы попытаться идти далее. Не зная, с чего начать, я осторожно ступал по обратному направлению, иногда прячась за выступами стены, чтобы проверить безлюдие. В одном из таких выступов находилась водопроводная раковина; из крана капала вода; здесь же висело полотенце с сырыми следами только что вытертых рук. Полотенце еще ш е в е л и л о с ь; здесь отошел некто, может быть, на расстоянии десяти шагов от меня, оставшись незамечен, как и я им, силой случайности. Не следовало более искушать эти места. Оцепенев от напряжения, вызванного видом едва не на моих глазах тронутого полотенца, я наконец отступил, сдерживая дыхание, и с облегчением увидел узкую боковую дверь в тени выступа, почти заваленную бумагой. Хотя с трудом, но ее можно было несколько оттянуть, чтобы протиснуться. Я ушел в эту лазейку, как в стену, попав в озаренный тихий и безлюдный проход, очень узкий, с поворотом неподалеку, куда я не рискнул заглянуть, и встал, прислонясь к стене, в нишу заколоченной двери.

Никакой звук, никакое доступное чувствам явление не ускользнули бы от меня

в эти минуты, так был я внутренне заострен, натянут, весь собран в слух и дыхание. Но, казалось, умерла жизнь на земле, — такая тишина смотрела в глаза неподвижным светом белого глухого прохода. По-видимому, все живое ушло отсюда или же притаилось. Я начал изнемогать, таяться с нетерпением отчаяния к какому бы то ни было шуму, но вон из оцепенелого света, сжимающего сердце молчанием. Вдруг звуков появилось более чем достаточно в смысле у с п о к о е н и я — если назвать таким словом "покой в бурях", — множество шагов раздалось за стеной, глубоко внизу. Я различал голоса, восклицания. К этим звукам начинающегося неведомого оживления присоединился звук настраиваемых инструментов; резко пильнула скрипка; виолончель, флейта и контрабас протянули вразброд несколько тактов, заглушаемых передвижением мебели.

Среди ночи — я не знал, который теперь час, — это проявление жизни в глубине трех этажей, после уже испытанного мною над люком, звучало для меня новой угрозой. Наверное, расхаживая неумоимо, я отыскал бы выход из этого бесконечного дома, но не теперь, когда я не знал, что может ожидать меня за ближайшей дверью. Я мог знать свое положение, только определив, что происходит внизу. Тщательно прислушиваясь, я установил расстояние между собой и звуками. Оно было

довольно велико, имея направление через противоположную стену вниз.

Я стоял так долго в своей дверной нише, что наконец осмелился выйти, с целью посмотреть, нельзя ли что-нибудь предпринять. Пройдя тихо вперед, я заметил справа от себя отверстие в стене, размером не более форточки, заделанной стеклом; оно возвышалось над головой так, что я мог коснуться его. Немного далее стояла переносная двойная лестница, из тех, что употребляются малярами при белении потолков. Перетащив лестницу со всей осторожностью, не стукнув, не задев стен, я подставил ее к отверстию. Как ни было запылено стекло с обеих сторон, протерев его ладонью, сколько и как мог, я получил возможность смотреть, но все же как бы сквозь дым. Моя догадка, возникшая путем слуховой ориентации, подтвердилась: я смотрел в тот самый центральный зал банка, где был вечером, но не мог видеть его снизу: окошечко это выходило на хоры. Совсем близко нависал пространный лепной потолок; балюстрада, являясь по этой стороне прямо перед глазами, скрывала глубину зала, лишь далекие колонны противоположной стороны виднелись менее чем наполовину. По всему протяжению хор не было ни души, меж тем как внизу, томя невидимостью, текла веселая жизнь. Я слышал смех, возгласы, передвижение стульев, неразборчивые отрывки бесед,

спокойный гул нижних дверей. Уверенно звенела посуда; кашель, сморкание, цепь легких и тяжелых шагов и мелодические лукавые интонации, — да, это был банкет, бал, собрание, гости, юбилей — что угодно, но не прежняя холодная и громадная пустота с застоявшимся в пыли эхом. Люстры несли вниз блеск огненного узора, и хотя в застенке моем тоже было светло, более яркий свет зала лежал на моей руке.

Почти уверенный, что никто не придет сюда, в закоулок, имеющий отношение скорее к чердакам, чем к магистрали нижнего перехода, я осмелился удалить стекло. Его рама, удерживаемая двумя согнутыми гвоздями, слабо шаталась. Я отвернул гвозди и выставил заграждение. Теперь шум стал отчетлив, как ветер в лицо; пока я осваивался с его характером, музыка начала играть кафешантанную пьесу, но до странности тихо, не умея или не желая развертываться. Оркестр играл "под сурдинку", как бы по приказанию. Однако заглушаемые им голоса стали звучать громче, делая естественное усилие и долетая к моему убежищу в оболочке своего смысла. Насколько я мог понять, интерес различных групп зала вертелся около подозрительных сделок, хотя и без точной для меня связи разговора вблизи. Некоторые фразы напоминали ржание, иные — жесткий визг; увесистый деловой

хохот перемешивался с шипением. Голоса женщин звучали напряженным и мрачным тембром, переходя время от времени к искушающей игривости с развратными интонациями камелий. Иногда чье-нибудь торжественное замечание переводило разговор к названиям цен золота и драгоценных камней; иные слова заставляли вздрогнуть, намекая убийство или другое преступление не менее решительных очертаний. Жаргон тюрьмы, бесстыдство ночной улицы, внешний лоск азартной интриги и оживленное многословие нервно озирающейся души смешивалось с звуками и н о г о оркестра, которому первый подавал тоненькие игривые реплики.

Настала пауза; несколько дверей открылось в глубине далеких низов, и как бы вошли новые лица. Это немедленно подтвердилось торжественными возгласами. После смутных переговоров загремели предупреждения и приглашения слушать. В то время чья-то речь уже тихо текла там, пробираясь, как жук в лесной хвое, покапывающими периодами.

— Привет Избавителю! — ревом возгласил хор. — Смерть Крысолову!

— Смерть! — мрачно прозвенели женские голоса. Отзвуки прошли долгим воем и стихли. Не знаю почему, хотя я был устрaшенно захвачен тем, что слышал, я в это мгновение обернулся, как на глаза сзади; но только глубоко вздохнул — никто не стоял за мной. У

меня было еще время сообразить, как скрыться: за углом поворота явственно прошли, без подозрения о моем присутствии, двое. Они остановились. Их легкая тень легла поперек застенка, но, всматривая в нее, я различал только пятно. Они заговорили с уверенностью собеседников, чувствующих себя наедине. Разговор, видимо, продолжался. Его линия остановилась по пути сюда этих людей на неизвестном для меня вопросе, получившем теперь ответ. От слова до слова запомнил я это смутное и резкое обещание.

— Он умрет, — сказал неизвестный, — но не сразу. Вот адрес: пятая линия, девяносто семь, квартира одиннадцать. С ним его дочь. Это будет великое дело Освободителя. Освободитель прибыл издалека. Его путь томителен, и его ждут в множестве городов. Сегодня ночью все должно быть окончено. Ступай и осмотри ход. Если ничто не угрожает Освободителю, Крысолов мертв, и мы увидим его пустые глаза!

## VIII

Я внимал мстительной тираде, касаясь уже ногой пола, так как едва услышал в точности повторенный адрес девушки, имени которой не успел сегодня узнать, как меня слепо повело вниз, — бежать, скрыться и ле-

теть вестником на 5-ю линию. При всяком самом разумном сомнении цифры и название улицы не могли бы сообщить мне, если бы в квартире этой еще другая семья, — довольно, что я думал о той и что она была там. В таком уstraшенном состоянии мучительной торопливости, равной пожару, я не рассчитал последнего шага вниз; лестница отодвинулась с треском, мое присутствие обнаружилось, и я вначале замер, как упавший мешок. Свет мгновенно погас; музыка мгновенно умолкла, и крик ярости опередил меня в слепом беге по узкому пространству, где, не помня как, ударился я грудью в ту дверь, которой проник сюда. С силой необъяснимой я сдвинул одним порывом заваливающий ее хлам и выбежал в памятный коридор провала. Спасение! Начинаясь рассвет с его первой мутью, указывающий пространство дверей; я мог мчаться до потери дыхания. Но инстинктивно я искал ходов не книзу, а вверх, пробегая одним скачком короткие лестницы и пустынные переходы. Иногда я метался, кружась на одном месте, принимая покинутые двери за новые или забегая в тупик. Это было ужасно, как дурной сон, тем более, что за мной гнались, — я слышал торопливые переходы сзади и спереди, — этот психически нагоняющий шум, от которого я не мог скрыться. Он раздавался с неправильностью уличного движения, иногда так близ-

ко, что я отскакивал за дверь, или же ровно следовал в стороне, как бы обещаая ежесекундно обрушиться мне наперерез. Я ослабевал, отупел от страха и непрерывного грохота гулких полов. Но вот я уже несся среди мансард. Последняя лестница, замеченная мною, упиралась в потолок квадратной дырой, я проскочил по ней вверх с чувством занесенного над спиной удара, — так спешили ко мне со всех сторон. Я очутился в душной тьме чердака, немедленно обрушив на люк все, что смутно белело по сторонам; это оказалось грудой оконных рам, сдвинуть которую с размаха могла лишь сила отчаяния. Они легли, застряв вдоль и поперек, непроходимой чащей своих переплетов. Сделав это, я побежал к далекому слуховому окну, в сером пятне которого виднелись бочки и доски. Путь был изрядно загроможден. Я перескакивал балки, ящики, кирпичные канты стен среди ям и труб, как в лесу. Наконец, я был у окна. Свежесть открытого пространства дышала глубоким сном. За далекой крышей стояла розовая, смутная тень; из труб не шел дым, прохожих не было слышно. Я вылез и пробрался к воронке водосточной трубы. Она шаталась; ее сркепы трещали, когда я начал спускаться; на высоте половины спуска ее холодное железо оказалось в росе, и я судорожно скользнул вниз, едва удержавшись за перехват. Наконец, ноги нащупали тротуар; я



поспешил к реке, опасаясь застать мост разведенным; поэтому, как только передохнул, пустился бегом.

## IX

Едва я повернул за угол, как принужден был остановиться, увидев плачущего хорошенького мальчика лет семи, с личиком, побледневшим от слез; тоскливо тер он кулачками глаза и всхлипывал. С жалостью, естественной для каждого при такой встрече я нагнулся к нему, спросив: "Мальчик, ты откуда? Тебя бросили? Как ты попал сюда?"

Он, всхлипывая, молчал, смотря исподлобья и ужасая меня своим положением. Пусто было вокруг. Это худенькое тело дрожало, его ножки были в грязи и босы. При всем стремлении моем к месту опасности, я не мог бросить ребенка, тем более, что от испуга или усталости он кротко молчал, вздрагивая и ежась при каждом моем вопросе, как от угрозы. Глядя его по голове и заглядывая в его полные слез глаза, я ничего не добился; он мог только поникать головой и плакать. "Дружок, — сказал я, решаясь постучать куда-нибудь в дом, чтобы подобрали ребенка, — посиди здесь, я скоро приду, и мы отыщем твою негодную маму". Но, к моему удивлению, он крепко уцепился

за мою руку, не выпуская ее. Было что-то в этом его усилии ничтожное и дикое; он даже сдвинулся по тротуару, крепко зажмурясь, когда я, с внезапным подозрением, рванул прочь руку. Его прекрасное личико было все сведено, стиснуто напряжением. "Эй ты! — закричал я, стремясь освободить руку. — Брось держать!" И я оттолкнул его. Не плача уже и также молча, уставил он на меня прямой взгляд черных огромных глаз; затем встал и, посмеиваясь, пошел так быстро, что я, вздрогнув, оторопел. — "Кто ты?" — угрожающе закричал я. Он хихикнул и, ускоряя шаги, скрылся за углом, но я еще смотрел некоторое время по тому направлению, с чувством укушенного, затем опомнился и побежал с быстротой догоняющего трамвай. Дыхание сорвалось. Два раза я останавливался, потом шел так скоро, как мог, бежал снова и, вновь задохнувшись, неся безумным шагом, резким, как бег.

Я уже был на Конногвардейском бульваре, когда был обогнан девушкой, мельком взглянувшей на меня с выражением усилия памяти. Она хотела пробежать дальше, но я мгновенно узнал ее силой внутреннего толчка, равного восторгу спасения. Одновременно прозвучали мой окрик и ее легкое восклицание, после чего она остановилась с оттенком милой досады.

— Но ведь это вы! — сказала она. — Как же я не узнала! Я могла пройти мимо, если бы не почувствовала, как вы всполохнулись. Как вы измучены, как бледны!

Великая растерянность, но и величайшее спокойствие осенили меня. Я смотрел на это потерянное было лицо с верой в сложное значение случая, с светлым и острым смущением. Я был так ошеломлен, так внутренне остановлен ею в стремлении к ней же, но при обстоятельствах конца пути, внушенных всегда опережающим нас воображением, что испытал чувство срыва, — милее было бы мне прийти к ней, т у д а.

— Слушайте, — сказал я, не отрываясь от ее доверчивых глаз, — я спешу к вам. Еще не поздно...

Она перебила, отводя меня в сторону за рукав.

— Сейчас рано, — значительно сказала она, — или поздно, как хотите. Светло, но еще ночь. Вы будете у меня вечером, слышите? И я вам скажу все. Я много думала о наших отношениях. Знайте: я вас люблю.

Произошло подобное остановке стука часов. Я остановился жить душой с ней в эту минуту. Она не могла, не должна была сказать так. Со вздохом выпустил я сжимавшую мою, маленькую, свежую руку и отступил. Она смотрела на меня с лицом, готовым дрогнуть от нетерпения. Это выражение искази-

ло ее черты, — нежность сменилась тупостью, взгляд остро метнулся, и, сам страшно смеясь, я погрозил пальцем.

— Нет, ты не обманешь меня, — сказал я, — она там. Она теперь спит, и я ее разбужу. Прочь, гадина, кто бы ты ни была.

Взмах быстро заброшенного перед самым лицом платка был последнее, что я видел отчетливо в двух шагах. Затем стали мелькать тесные просветы деревьев, то напоминающая бегущую среди них женскую фигуру, то указывая, что я бегу сам изо всех сил. Уже виднелись часы площади. На мосту стояли рогатки. Вдали, у противоположной стороны набережной, дымил черный буксир, натягивая канат барки. Я перескочил рогатку и одолел мост в последний момент, когда его разводная часть начала отходить щелью, разняв трамвайные рельсы. Мой летящий прыжок встречен был сторожами отчаянным бранным криком, но, лишь мелькнув взглядом по блеснувшей внизу щели вод, я был уже далеко от них, я бежал, пока не достиг ворот.

## Х

Тогда или, вернее, спустя некоторое время наступил момент, от которого я мог частично восстановить обратным порядком слетевшее и помраченное действие. Прежде

всего я увидел девушку, стоящую у дверей, прислушиваясь, с рукой простертой ко мне, как это делают, когда просят или безмолвно приказывают сидеть тихо. Она была в летнем пальто; ее лицо выглядело встревоженным и печальным. Она спала перед тем, как я появился здесь. Это я знал, но обстоятельства моего появления ускользнули, как вода в сжатой руке, едва я сделал сознательное усилие немедленно связать все. Повинуясь ее полному беспокойства жесту, я продолжал неподвижно сидеть, ожидая, чем кончится это прислушивание. Я силился понять его смысл, но тщетно. Еще немного, и я сделал бы решительное усилие, чтобы одолеть крайнюю слабость, я хотел спросить, что происходит теперь в этой большой комнате, как, словно угадывая мое движение, девушка повернула голову, хмурясь и грозя пальцем. Теперь я вспомнил, что ее зовут Сузи, что так ее назвал кто-то, вышедший отсюда, сказав: "Должна быть совершенная тишина". Спал я или был только рассеян? Пытаясь решить этот вопрос, я машинально опустил взгляд и увидел, что пола моего пальто разорвана. Но оно было цело, когда я спешил сюда. Я переходил от недоумения к удивлению. Вдруг все затряслось и как бы бросилось вон, смешав свет; кровь хлынула к голове: раздался оглушительный треск, подобный выстрелу над ухом, затем крик.

„Хальт!“ — крикнул кто-то за дверь. Я вскочил, глубоко вздохнув. Из двери вышел человек в сером халате, протягивая отступившей девушке небольшую доску, на которой, сжатая дугой проволоки, висела огромная, перебитая пополам черная крыса. Ее зубы были оскалены, хвост свешивался.

Тогда, вырванная ударом и криком из воистину страшного состояния, моя память перешла темный обрыв. Немедленно я схватил и удержал многое. Чувства заговорили. Внутреннее видение обратилось к началу сцены, повторив цепь усилий. Я вспомнил, как перелез ворота, опасаясь стучать, чтобы не привлечь новой опасности, как обошел дверь и дернул звонок третьего этажа. Но разговор через дверь — разговор долгий и тревожный, причем женский и мужской голоса спорили, впустить ли меня, — я забыл бесповоротно. Он был восстановлен впоследствии.

Все эти еще не вполне смыкающиеся черты возникли с быстротой взгляда в окне. Старик, внесший крысоловку, был в плотной шапке седых выстриженных ровным кругом волос, напоминающих чашку желудя. Острый нос, бритые, тонкие, с сложным упрямым выражением губы, яркие, бесцветные глаза и клочки седых бак на розоватом лице, оканчивающемся направленным вперед

подбородком, погруженным в голубой шарф, могли заинтересовать портретиста, любителя характерных линий.

Он сказал:

— Вы видите так называемую черную гвинейскую крысу. Ее укус очень опасен. Он вызывает медленное гниение заживо, превращая укушенного в коллекцию опухолей и нарывов. Этот вид грызуна редок в Европе, он иногда заносится пароходами. "Свободный ход", о котором вы слышали ночью, есть искусственная лазейка, проделанная мною около кухни для опыта с ловушками различных систем; два последних дня ход этот, действительно, был свободен, так как я с увлечением читал Эрта Эртруса: "Кладовая крысиного короля", книгу, представляющую собой отменную редкость. Она издана в Германии четыреста лет назад. Автор был сожжен на костре в Бремене, как еретик. Ваш рассказ...

Следовательно, я рассказал уже все, с чем пришел сюда. Но у меня были еще сомнения. Я спросил:

— Приняли ли вы меры? Знаете ли вы, какого рода эта опасность, так как я не совсем понимаю ее?

— Меры? — сказала Сузи. — О каких мерах вы говорите?

— Опасность... — начал старик, но остановился, взглянув на дочь. — Я не понимаю.

Произошло легкое замешательство. Все трое мы обменялись взглядом ожидания.

— Я говорю, — начал я неуверенно, — что вам следует остережться. Кажется, я уже говорил это, но, простите меня, я не вполне помню, что говорил. Мне кажется теперь, что я был как бы в глубоком обмороке.

Девушка посмотрела на отца, затем на меня и улыбнулась с недоумением: "Как это может быть?"

— Он устал, Сузи, — сказал старик. — Я знаю, что такое бессонница. Все было сказано; и были приняты меры. Если я назову эту крысу, — он опустил ловушку к моим ногам с довольным видом охотника, — словом "Освободитель", вы будете уже кое-что знать.

— Это шутка, — возразил я, — и шутка, конечно, отвечающая занятию Крысолова. — Говоря так, я припомнил вывеску небольшого размера, над которой висел звонок. На ней было написано:

### "КРЫСОЛОВ"

Истребление крыс и мышей.

*О. Иенсен.*

Телеф. 1-08-01.

Я видел ее у входа.

— Вы шутите, так как не думаю, чтобы этот "Освободитель" принес вам столько хлопот.

— Он не шутит, — сказала Сузи, — он знает.



Я сравнивал эти два взгляда, которым отвечал в тот момент улыбкой тщетных догадок, — взгляд юности, полный неподдельного убеждения, и взгляд старых, но ясных глаз, выражающих колебание, продолжать ли разговор так, как он начался.

— Пусть за меня скажет вам кое-что об этих вещах Эрт Эртрус. — Крысолов вышел и принес старую книгу в кожаном переплете, с красным обрезом. — Вот место, над которым вы можете смеяться или задуматься, как угодно.

...”Коварное и мрачное существо это владеет силами человеческого ума. Оно также обладает тайнами подземелий, где прячется. В его власти изменять свой вид, являясь, как человек, с руками и ногами, в одежде, имея лицо, глаза и движения подобные человеческим и даже не уступающие человеку, — как его полный, хотя и не настоящий образ. Крысы могут также причинять неизлечимую болезнь, пользуясь для того средствами, доступными только им. Им благоприятствуют мор, голод, война, наводнение и нашествие. Тогда они собираются под знаком таинственных превращений, действуя как люди, и ты будешь говорить с ними, не зная, кто это. Они крадут и продают с пользой, удивительной для честного труженика, и обманывают блеском своих одежд и мягкостью речи. Они убивают и жгут, мошенничают и подсте-

регают; окружаясь роскошью, едят и пьют довольно и имеют все в изобилии. Золото и серебро есть их любимейшая добыча, а также драгоценные камни, которым отведены хранилища под землей”.

— Но довольно читать, — сказал Крыслов, — и вы, конечно, догадываетесь, почему я перевел именно это место. Вы были окружены крысами.

Но я уже понял. В некоторых случаях мы предпочитаем молчать, чтобы впечатление, колеблющееся и разрываемое другими сообщениями, нашло верный приют. Тем временем мебельные чехлы стали блестеть усиливающимся по окну светом, и первые голоса улицы прозвучали ясно, как в комнате. Я снова погружался в небытие. Лица девушки и ее отца отдалялись, став смутным видением, застилаемым прозрачным туманом. ”Сузи, что с ним?” — раздался громкий вопрос. Девушка подошла, находясь где-то вблизи меня, но где именно, я не видел, так как был не в состоянии повернуть голову. Вдруг моему лбу стало тепло от приложенной к нему женской руки, в то время как окружающее, исказив и смешав линии, пропало в хаотическом душевном обвале. Дикий, дремучий сон уносил меня. Я слышал ее голос: ”Он спит”, — слова, с которыми я проснулся после тридцати несуществовавших часов. Меня перенесли в тесную соседнюю

комнату, на настоящую кровать, после чего я узнал, что "для мужчины был очень легок". Меня пожалели; комната соседней квартиры оказалась на тот же, другой день, в моем полном распоряжении. Дальнейшее не учитывается. Но от меня зависит, чтобы оно стало таким, как в момент ощущения на голове теплой руки. Я должен завоевать доверие...

И более — ни слова об этом.

## ФАНДАНГО

### I

Зимой, когда от холода тускнеет лицо и, засунув руки в рукава, дико бегаешь по комнате человек, взглядывая на холодную печь, — хорошо думать о лете, потому что летом тепло.

Мне представилось зажигательное стекло и солнце над головой. Допустим, это — июль. Острая ослепительная точка, пойманная блистающей чечевицей, дымится на конце подставленной папиросы. Жара. Надо расстегнуть воротник, вытереть мокрую шею, лоб, выпить стакан воды. Однако далеко до весны, и тропический узор замороженного окна бессмысленно расстилает прозрачный пальмовый лист.

Закоченев, дрожа, я не мог решиться выйти, хотя это было совершенно необходимо. Я не люблю снег, мороз, лед — эскимосские радости чужды моему сердцу. Главнее же всего этого — мои одежда и обувь были совсем плохи. Старое летнее пальто, старая шляпа, сапоги с проношенными подошвами — лишь этим мог я противостоять декабрю и двадцати семи градусам.

С. Т. поручил мне купить у художника Брока картину Горшкова. Со стороны С. Т. это было добродушным подарком, так как картину он мог купить сам. Жалея меня, С. Т. хотел вручить мне комиссионные. Об этом я размышлял теперь, насвистывая "Фанданго".

В те времена я не гнушался никаким заработком. Эту небольшую картину открыл я, зайдя неделю назад к Броку за некоторым имуществом, так как недавно занимал ту же комнату, которую теперь занимал он. Я не любил Горшкова, как не любят пожатия холодной, потной и вялой руки, но, зная, что для С. Т. важно "кто", а не "что", сказал о находке. Я прибавил также, что не уверен в законности приобретения картины Броком.

С. Т. — грузный, в халате, задумчиво скребя бороду, зевнул, сказав: "Так, так..." — и стал барабанить по столу красными пальцами. В это время я пил у него настоящий китайский чай, ел ветчину, хлеб с маслом, яйца, был голоден, неловок, говорил с набитым ртом.

С. Т. помешал в стакане резной золоченой ложечкой, поднял ее, схлебнул и сказал: — Вы, это, ее сторгуйте. Пятнадцать процентов дам, а что меньше двухсот — ваше.

Я называю деньги их настоящим именем, так как мне теперь было бы трудно высчи-

тать, какая цепь нолей ставилась тогда после двухсот.

В то время тридцать золотых рублей по ощущению жизни равнялись нынешней тысяче. Держа в кармане тридцать рублей, каждый понимал, что "человек — это звучит гордо". Они весили пятнадцать пудов хлеба — полгода жизни. Но я мог еще выторговать ниже двухсот, заработав таким образом больше чем тридцать рублей.

Я получил толчок к действию, заглянув в шкафчик, где стояли пустые кастрюли, сковорода и горшок. (Я жил Робинзоном.) Они пахли голодом. Было немного рыжей соли, чай из брусники с надписью "отборный любительский", сухие корки, картофельная шелуха.

Я боюсь голода, — ненавижу его и боюсь. Он — искажение человека. Это трагическое, но пошлейшее чувство не щадит самых нежных корней души. Настоящую мысль голод подменяет фальшивой мыслью, — ее образ тот же, только с другим качеством. "Я остаюсь честным, — говорит человек, голодающий жестко и долго, — потому что я люблю честность; но я только один раз убью (украду, солгу), потому что это необходимо ради возможности в дальнейшем оставаться честным". Мнение людей, самоуважение, страдания близких существуют, но как потерянная монета: она есть и ее нет. Хитрость, лукав-

ство, цепкость — все служит пищеварению. Дети съедят вполонину кашу, выданную в столовой, пока донесут домой; администрация столовой скрадет, больница — скрадет, склад — скрадет. Глава семейства режет в кладовой хлеб и тайно пожирает его, стараясь не зашуметь. С ненавистью встречают знакомого, пришедшего на жалкий пир нищей, героически добытой трапезы.

Но это не худшее, так как оно из леса; хуже, когда старательно загримированная кукла, очень похожая на меня (тебя, его...) нагло вытесняет душу из ослабевшего тела и радостно бежит за куском, твердо и вдруг утвердившись, что она-то и есть тот человек, какого она зацапала. Тот потерял уже все, все искажил: вкусы, желания, мысли и свои истины. У каждого человека есть свои истины. И он упорно говорит: "Я, Я, Я", — подразумеваемая куклу, которая твердит то же и с тем же смыслом. Я не раз испытывал, глядя на сыры, окорока или хлебы, почти духовное перевоплощение этих "калорий": они казались испи-санными парадоксами, метафорами, тончайшими аргументами самых праздничных, светлых тонов; их логический вес равнялся количеству фунтов. И даже был этический аромат, то есть собственное голодное вожделение.

— Очевидно, — говорил я, — так естествен, разумен, так прост путь от прилавка к желудку...

Да, это бывало, со всей ложной искренностью таких умопомрачений, а потому я, как сказал, голода не люблю. Как раз теперь встречаю я странно построенных людей с очень живым напоминанием об осьмушке овса. Это воспоминание переломилось у них на романтический лад, и я не понимаю сей музыкальной вибрации. Ее можно рассматривать как оригинальный цинизм. Пример: стоя перед зеркалом, один человек вlepляет себе умеренную пощечину. Это — неуважение к себе. Если такой опыт произведен публично, — он означает неуважение и к себе и к другим.

## II

Я превозмог мороз тем, что закурил и, держа горящую спичку в ладонях, согрел пальцы, насвистывая мотив испанского танца. Уже несколько дней владел мной этот мотив. Он начинал звучать, когда я задумывался.

Я редко бывал мрачен, тем более в ресторане. Конечно, я говорю о прошлом, как бы о настоящем. Случалось мне приходиться в ресторан веселым, просто веселым, без идеи о том, что "вот, хорошо быть веселым, потому что..." и т. д. Нет, я был весел по праву человека находиться в любом настроении. Я сидел, слушая "Осенние скрипки", "Пожа-



лей ты меня, дорогая”, ”Чего тебе надо? Ничего не надо” и тому подобную бездарно-истеричную чепуху, которой русский обычно попирает свое веселье. Когда мне это надоело, я кивал дирижеру, и, проведя в пальцах шелковый ус, румын слушал меня, принимая другой рукой, как доктор, сложенную бумажку. Немного отвернув лицо взад, вполголоса он говорил оркестру:

— Фанданго!

При этом энергичном, коротком слове на мою голову ложилась нежная рука в латной перчатке,— рука танца, стремительного, как ветер, звучного, как град, и мелодического, как глубокий контральто. Легкий холод проходил от ног к горлу. Еще пьяные немцы, стуча кулаками, громогласно требовали прослезившее их: ”Пошалай ты мена, торокая”, но стук палочки о попитр внушал, что с этим покончено.

”Фанданго” — ритмическое внушение страсти, страстного и странного торжества. Вероятнее всего, что он — транскрипция соловьиной трели, возведенной в высшую степень музыкальной отчетливости.

Я оделся, вышел; было одиннадцать утра, холодно и безнадежно светло.

По мостовой спешила в комиссариаты длинная вереница служаших. ”Фанданго” звучало глуше, оно ушло в пульс, в дыхание, но был явствен стремительный перелет такта —

даже в едва слышном напеве сквозь зубы, ставшем привычкой.

Прохожие были одеты в пальто, переделанные из солдатских шинелей, полушубки, лосиные куртки, серые шинели, френчи и черные кожаные бушлаты. Если встречалось пальто штатское, то непременно старое, узкое пальто. Миловидная барышня в платке лапала по снегу огромными валенками, клубя ртом синий и белый пар. Неуклюжей от рукавицы рукой прижимала она портфель. Выветренная, как известняк, — до дыр на игривых щеках, — бойко семенила старуха, подстриженная в "кружок", в желтых ботинках с высокими каблуками, куря толстый "Зефир". Мрачные молодые мужчины шагали с нездешним видом. Не раз, интересуясь всем, спрашивал я, почему прохожие избегают идти по тротуару, и разные получал ответы. Один говорил: "Потому что меньше снашивается обувь". Другой отвечал: "На тротуаре надо сторониться, соображать, когда уступить дорожку, когда и толкнуть". Третий объяснял просто и мудро: "Потому что лошадей нет" (то есть экипажи не мешают идти). "Идут так все, — заявлял четвертый, — иду и я".

Среди этой картины заметил я некоторый ералаш, производимый видом резко отличной от всех группы. То были цыгане. Цыган много появилось в городе в этом году, и встретить можно было их каждый день.

Шагах в десяти от меня остановилась их бродячая труппа, толкая между собой. Густобровый, сутулый старик был в высокой войлочной шляпе, остальные двое мужчин в синих новых картузах. На старике было старое ватное пальто табачного цвета, а в сморщенном ухе блестела тонкая золотая серьга. Старик, несмотря на мороз, держал пальто распахнутым, выказывая пеструю бархатную жилетку с глухим воротником, обшитым малиновой тесьмой, плисовые шаровары и хорошо начищенные, высокие сапоги. Другой цыган, лет тридцати, в стеганом клетчатом кафтане, украшенном на крестце огромными перламутровыми пуговицами, носил бороду чашкой и замечательные, пышные усы цвета смолы; увеличенные подусниками, они напоминали кузнечные клещи, схватившие поперек лица. Младший, статный цыган, с худым воровским лицом напоминал горца — черкеса, гуцула. У него были пламенные глаза с синевой вокруг горбатого переносья, и нес он под мышкой гитару, завернутую в серый платок; на цыгане был новый полушубок с мерлушковой оторочкой.

Старик нес цимбалы.

Из-за пазухи среднего цыгана торчал медный кларнет.

Кроме мужчин, здесь были две женщины: молодая и старая.

Старуха несла тамбурин. Она была укутана в две рваные шали: зеленую и коричневую; из-под углов их выступал край грязной красной кофты. Когда она взмахивала рукой, напоминающей птичью лапу, — сверкали массивные золотые браслеты. Смесь вороватости и высокомерия, наглости и равновесия была в ее темном безобразном лице. Может быть, в молодости выглядела она не хуже, чем молодая цыганка, стоявшая рядом, от которой веяло теплом и здоровьем. Но убедиться в этом было бы теперь очень трудно.

Красивая молодая цыганка имела мало цыганских черт. Губы ее были не толсты, а лишь как бы припухшие. Правильное свежее лицо с пытливым пристальным взглядом, казалось, смотрит из тени листвы, — так затенено было ее лицо длиной и блеском ресниц. Поверх теплой кацавейки, согнутая на сгибах рук, висела шаль с бахромой; поверх шали расцветал шелковый турецкий платок. Тяжелые бирюзовые серьги покачивались в маленьких ушах; из-под шали, ниже бахромы, спускались черные, жесткие косы с рублями и золотыми монетами. Длинная юбка цвета настурции почти скрывала новые башмаки.

Не без причины описываю я так подробно этих людей. Завидев цыган, невольно старался я уловить след той неведомой старин-

ной тропы, которой идут они мимо автомобилей и газовых фонарей, подобно коту Киплинга: кот "ходил сам по себе, все места называл одинаковыми и никому ничего не сказал". Что им история? эпохи? сполохи? переполохи? Я видел тех самых бродяг с магическими глазами, каких увидит этот же город в 2021 году, когда наш потомок, одетый в каучук и искусственный шелк, выйдет из кабины воздушного электромотора на площадку алюминиевой воздушной улицы.

Поговорив немного на своем диком наречии, относительно которого я знал только, что это один из древнейших языков, цыгане ушли в переулочек, а я пошел прямо, раздумывая о встрече с ними и припоминая такие же прежние встречи. Всегда они были вразрез всякому настроению, прямо пересекали его. Встречи эти имели сходство с крепкой цветной ниткой, какую можно неизменно увидеть в кайме одной материи, название которой забыл. Мода изменит рисунок материи, блеск, толщину и ширину; рынок назначит произвольную цену, и носят ее то весной, то осенью, на разный покрой, но в кайме все одна и та же пестрая нить. Так и цыгане — сами в себе — те же, как и вчера, — гортанные, черноволосые существа, внушающие неопределенную зависть и образ диких цветов.

Еще довольно много я передумал об этом, пока мороз не выжал из меня юг, забежав-

ший противу сезона в южный уголок души. Щеки, казалось, сверлит лед; нос тоже далеко не пылал, а меж оторванной подошвой и застывшим до бесчувственности мизинцем набился снег. Я понесся, как мог скоро, пришел к Броку и стал стучать в дверь, на которой было написано мелом: "Звон. не действ. Прошу громко стуч."

### III

Острые мелкие черты, козлиная бородка чеховского героя, выдающиеся лопатки и длинные руки, при худом сложении и очках, делающих тусклые впалые глаза ненормально блестящими, — эта фигура вышла открыть мне дверь. Брок был в длинном сером пиджаке, черных брюках и коричневой жилетке, надетой поверх свитера. Жидкие волосы его, приглаженные, но не везде следующие покатости черепа, торчали местами назад, горизонтально, словно в разных местах он заложил грязные перья. Он говорил медленно и низко, как дьякон, смотрел исподлобья, поверх очков, склоняя голову набок, потирал вялые руки.

— Я к вам, — сказал я (в квартире были и другие жильцы). — Позвольте, однако, прежде всего согреться.

— Что, мороз?

— Да, сильный мороз...

На эту тему говоря, прошли мы темным коридором к светлому ромбу полуоткрытой двери, и Брок, войдя, тщательно закрыл ее, потом сунул дров в пылающую железную печь и, небрежительно вертя папиросу, бросился на пыльную оттоманку, где, облокотясь и скрестив вытянутые ноги, подпернул повыше брюки.

Я сел, наставив ладони к печке, и, смотря на розовые, сквозь свет пламени, пальцы, впивал негу тепла.

— Я вас слушаю, — сказал Брок, снимая очки и протирая глаза концом засморканного платка.

Посмотрев влево, я увидел, что картина Горшкова на месте. Это был болотный пейзаж с дымом, снегом, обязательным, безотрадным огоньком между елей и парой ворон, летящих от зрителя.

С легкой руки Левитана в картинах такого рода предполагается умышленная "идея". Издавна боялся я этих изображений, цель которых, естественно, не могла быть другой, как вызвать мертвящее ощущение пустоты, покорности, бездействия, — в чем предполагался, однако, порыв.

— "Сумерки", — сказал Брок, видя, куда я смотрю. — Величайшая вещь!

— О том особая речь, но что вы взяли бы за нее?

— Что это? Купить?

— Ну-те!

Он вскочил и, став перед картиной, оттянул бородку концами пальцев вперед.

— Э... — сказал Брок, косясь на меня через плечо. — У вас столько и денег нет. Еще подумаю, отдать ли за двести, и то потому только, что деньги нужны. Да и денег у вас нет!

— Найду, — сказал я. — Я потому и пришел, чтобы поторговаться.

Вдали, на парадной, застучали.

— Ну, это ко мне!

Брок кинулся в дверь, выставил в щель из коридора бородку и прикрикнул:

— Одну минуту, я тотчас вернусь поговорить с вами.

Пока его не было, я осматривался по привычке коротать время более с вещами, чем с людьми. Опять уловил я себя в том, что насвистываю "Фанданго", бессознательно ограживаясь мотивом от Горшкова и Брока. Теперь мотив вполне отвечал моему настроению. Я был здесь, но смотрел на все, что вокруг, издалека.

Это помещение было гостиной, довольно большой, с окнами на улицу. Когда я жил здесь, здесь не было избытка вещей, ввезенных Броком после меня. Мольберты, гипс, ящики и корзины с наваленными на них бельем и одеждой, загромождали проход



между стульями, расставленными случайно. На рояле стояла горка тарелок с ножиком и вилкой поверх, среди кожуры от огурца. Оконные пыльные занавеси были разведены углом, весьма нарядливо. Старый ковер с дырами, следами подошв и щепным мусором, дымился у печки, в том месте, где на него выпал каленый уголь. Посредине потолка горела электрическая лампочка; при дневном свете напоминала она клочок желтой бумаги.

На стенах было много картин, частью написанных Брокком. Но я не рассматривал их. Согревшись, ровно и тихо дыша, я думал о неуловимой музыкальной мысли, твердое ощущение которой появлялось всегда, как я прислушивался к этому мотиву — "Фанданго". Хорошо зная, что душа звука непостижима уму, я, тем не менее, пристально приближал эту мысль, и, чем более приближал, тем более далекой становилась она. Толчок новому ощущению дало временное потускнение лампочки, то есть в сером ее стекле появилась красная проволока — знакомое всем явление. Помигав, лампочка загорелась опять.

Чтобы понять последовавший затем странный момент, необходимо припомнить обычное для нас чувство зрительного равновесия. Я хочу сказать, что, находясь в любой комнате, мы привычно ощущаем центр тяжести

закрывающего нас пространства, в зависимости от его формы, количества, величины и расположения вещей, а также направления света. Все это доступно линейной схеме. Я называю такое ощущение центром зрительной тяжести.

В то время, как я сидел, я испытал — может быть, миллионной дробью мгновения, — что одновременно во мне и вне меня мелькнуло пространство, в которое смотрел я перед собой. Отчасти это напоминало движение воздуха. Оно сопровождалось немедленным беспокойным чувством перемещения зрительного центра, — так, задумавшись, я, наконец, определил изменение настроения. Центр исчез. Я встал, потирая лоб и всматриваясь кругом с желанием понять, что случилось. Я почувствовал ничем не выражаемую определенность видимого, причем центр, чувство зрительного равновесия вышло за пределы, став скрытым.

Слыша, что Брок возвращается, я сел снова, не в силах прогнать чувство этой перемены всего, в то время как все было то же и тем же.

— Вы заждались? — сказал Брок. — Ничего, грейтесь, курите.

Он вошел, таща картину порядочной величины, но изнанкой ко мне, так что я не видел, какова эта картина, и поставил ее за шкаф, говоря:

— Купил. Третий раз приходит этот человек, и я купил, только чтобы отвязаться.

— А что за картина?

— А, чепуха! Мазня, дурной вкус! — сказал Брок. — Посмотрите лучше мои. Вот написал две в последнее время.

Я подошел к указанному на стене месту. Да! Вот, что было в его душе!.. Одна — пейзаж горохового цвета. Смутные очертания дороги и степи с неприятным пыльным колоритом; и я, покивав, перешел к второму "изделию". Это был тоже пейзаж, составленный из двух горизонтальных полос; серой и сизой, с зелеными по ней кустиками. Обе картины, лишенные таланта, вызывали тупое, холодное напряжение.

Я отошел, ничего не сказав. Брок взглянул на меня, покашлял и закурил.

— Вы быстро пишете, — заметил я, чтобы не затянуть молчания. — Ну, что же Горшков?

— Да как сказал, — двести.

— Это за Горшкова-то двести? — сорвалось у меня. — Дорого, Брок!

— Вы это сказали тоном, о котором позвольте вас спросить. Горшков... Да вы как на него смотрите?

— Это — картина, — сказал я. — Я намерен ее купить; о том речь.

— Нет, — возразил Брок, уже раздраженный и моими словами и безразличием к картинам своим. — За неуважение к великому

национальному художнику цена будет с вас теперь триста!

Как часто бывает с нервными людьми, я вспыхив, не мог удержаться от острого вопроса:

— Что же вы возьмете за эту капусту, если я скажу, что Горшков просто плохой художник?

Брок выронил из губ папиросу и длительно, зло посмотрел на меня. Это был тонкий, прокалывающий взгляд вздрогнувшей ненависти.

— Хорошо же вы понимаете... Циник!

— Зачем браниться, — сказал я. — Что плохо, то плохо.

— Ну, все равно, — заявил он, хмурясь и смотря в пол. — Двести, как было, пусть так и будет: двести.

— Не будет двести, — сто будет.

— Вот теперь начинаете в ы...

— Хорошо! Сто двадцать пять?!

Еще сильнее обидевшись, он мрачно подошел к шкапу и выгасил из-за него картину, которую принес.

— Эту я отдам даром, — сказал он, потрясая картиной, — на ваш вкус; можете получить за двадцать рублей.

И он поднял в уровень с моим лицом, правильно повернув картину, нечто ошеломительное.

Это была длинная комната, полная света, с стеклянной стеной слева, обвитой плющом и цветами. Справа, над рядом старинных стульев, обитых зеленым плющом, висело по горизонтальной линии несколько небольших гравюр. Вдали была полуоткрытая дверь. Ближе к переднему плану, слева, на круглом ореховом столе с блестящей поверхностью, стояла высокая стеклянная ваза с осыпающимися цветами; их лепестки были рассыпаны на столе и полу, выложенном полированным камнем. Сквозь стекла стены, составленной из шестигранных рам, были видны плоские крыши неизвестного восточного города.

Слова "нечто ошеломительное" могут, таким образом, показаться причудой изложения, потому что мотив обычен и трактовка его лишена не только резкой, но и какой бы то ни было оригинальности. Да, да! — И тем не менее, эта простота картины была полна немедленно действующим внушением стойкой летней жары. Свет был горяч. Тени прозрачны и сонны. Тишина — эта особенная тишина знойного дня, полного молчанием замкнутой, насыщенной жизни — была передана неощутимой экспрессией; солнце горело на моей руке, когда, придерживая раму, смотрел я перед собой, силясь найти м а з к и — ту расхолажи-

вающую математику красок, какую, приблизив к себе картину, видим мы на месте лиц и вещей.

В комнате, изображенной на картине, никого не было. С разной удачей употребляли этот прием сотни художников. Однако, самое высокое мастерство не достигало еще никогда того психологического эффекта, какой, в данном случае, немедленно заявил о себе. Эффект этот был — неожиданное похищение зрителя в глубину перспективы та, что я чувствовал себя стоящим в этой комнате. Я как бы зашел и увидел, что в ней нет никого, кроме меня. Таким образом, пустота комнаты заставляла отнестись к ней с точки зрения личного моего присутствия. Кроме того, отчетливость, вещьность изображения была выше всего, что доводилось видеть мне в таком роде.

— Вот именно, — сказал Брок, видя, что я молчу. — Обыкновеннейшая мазня. А вы говорите...

Я слышал стук своего сердца, но возражать не хотел.

— Что же, — сказал я, отставляя картину, — двадцать рублей я достану и, если хотите, найду вечером. А кто рисовал?

— Не знаю, кто рисовал, — сказал Брок с досадой. — Мало ли таких картин вообще. Ну, так вот: Горшков... Поговоримте об этом деле.

Теперь я уже боялся сердить его, чтобы не ушла из моих рук картина солнечной комнаты. Я был несколько оглушен; я стал рассеян и терпелив.

— Да, я куплю Горшкова, — сказал я. — Я непременно его куплю. Так это ваша окончательная цена? Двести? Хорошо, что с вами поделаешь. Как сказал, вечером буду и принесу деньги, двести двадцать. А когда вас застать?

— Если наверное, то в семь часов буду вас ждать, — сказал Брок, кладя показанную мне картину на рояль, и, улыбаясь, потер руки. — Вот так люблю: раз, два — и готово, — по-американски.

Если бы С. Т. был теперь дома, я немедленно пошел бы к нему за деньгами, но в эти часы он сам слонялся по городу, разыскивая старый фарфор. Поэтому, как ни было велико мое нетерпение, от Брока я направился в "Дом ученых", или КУБУ, как сокращенно называли его, узнать, не состоялось ли зачисление меня на паек, о чем подавал прошение.

## V

Тепло одетому человеку с холодной душой мороз мог показаться изысканным удовольствием. В самом деле, — все окоченело

и посинело. Это ли не восторг? Под белым небом мерз стиснутый город. Воздух был неприятно, голо прозрачен, как в холодной больнице. На серых домах окна были ослеплены инеем. Мороз придал всему воображаемый смысл: заколоченные магазины с сугробами на ступенях подъездов, с разбитыми зеркальными стеклами; гробовое молчание парадных дверей, развалившиеся киоски, трактиры с выломанными полами, без окон и крыш, отсутствие извозчиков, — вот, казалось, как жестоко распорядился мороз. Автомобиль, ехавший так себе, но вдруг затыркнувшийся на месте, потому что испортился механизм, — и тот, казалось, попал в зубы морозу. Еще более напоминали о нем действия людей, направленные к теплу. По мостовой, тротуарам, на руках, санках и подводах, с скрипучей медленностью привычного отчаяния, ползли дрова. Вozы скрипели, как скрипит снег в мороз: пронзительно и ужасно. Заледеневшие бревна тащились по тротуару руками изнемогающих женщин и подростков того типа, который знает весь непринятый в общежитии лексикон и просит "прикурить" басом. Между прочим, среди промыслов, каких еще не видел город, за исключением "пастушества на дому" (сено, рассыпанное в помещении, как трава для коз) и "новое-старое" (блестящая иллюзия новизны, придаваемая найденной на свалке "обуви"), о



чем говорит А. Ренье в своей любопытной книге "Задворки Парижа", следовало бы теперь отметить также профессию "продавцов щепок". Эти оборванные люди продавали связки щепок весом не более пяти фунтов, держа их под мышкой, для тех, кто мог позволить себе крайне осторожную роскошь: держать, зажигая одну за другой, щепки под дном чайника или кастрюли, пока не закипит в них вода. Кроме того, с санок продавались малые порции дров, охапки, — кому что по средствам. Проезжали тяжело нагруженные дровами подводы, и возница, идя рядом, стегал кнутом воров — детей, таскающих на ходу поленья. Иногда, само упав с воза, полено воспламеняло страсти: к нему мчались, сломя голову, прохожие, но добычу получал, большей частью, какой-нибудь усач-проходимец, — того типа, что в солдатстве варят из топора суп.

Я шел быстро, почти бежал, отскрипывая квартал за кварталом и растирая лицо. На одном дворе я увидел толпу благодушно настроенных людей. Они выламывали из каменного флигеля деревянные части. Невольно я приостановился, — был в этом зрелище широкий деловой тон, нечто из того, что на лаконическом языке психологии нашей называется: "Валяй, ребята!.." Вылетела двойная дверь, половая балка рухнула концом в снег. В углу двора двое, яростно

наскакивая друг на друга, пилили толстый, как бочка, обрез бревна. Я вошел в двор, переживая чувство человеческой солидарности, и сказал наблюдавшему за работой сонному человеку в синей поддевке:

— Гражданин, не дадите ли вы мне пару досок?

— Что такое? — сказал тот после долго натянутого молчания. — Я не могу, это слом на артель, а дело от учреждения.

Ничего не поняв, я понял, однако, что досок мне не дадут и, настаивая, удалился.

— Как?! Едва встретились и уже расстаемся, — подумал я, вспомнив поговорку одного интересного человека: "Встречаемся без радости, расстаемся без печали"...

Меж тем временно изгнанная морозом картина солнечной комнаты снова так разволновала меня, что я устремил все мысли к ней и к С. Т. Добыча была заманчива. Я сделал открытие. Меж тем начало жечь щеки, стрелять в носу и ушах. Я посмотрел на пальцы, их концы побелели, став почти бесчувственными. То же произошло с щеками и носом, и я стал тереть отмороженные места, пока не восстановил чувствительность. Я не продрог, как в сырость, но все тело ломило и вязало нестерпимо. Коченея, побежал я на Миллионную. Здесь, у ворот КУБУ, я испытал второй раз странное чувство мелькнувшего перед глазами пространства, но му-

чаясь, не так был удивлен этим, как у Брока, — лишь потер лоб.

У самых ворот, среди извозчиков и автомобилей, явилась взгляду моему группа, на которую я обратил бы больше внимания, будь немного теплее. Центральной фигурой группы был высокий человек в черном берете с страусовым белым пером, с шейной золотой цепью поверх бархатного черного плаща, подбитого горностаем. Острое лицо, рыжие усы, разошедшиеся иронической стрелкой, золотистая борода узким винтом, плавный и властный жест...

Здесь внимание мое ослабело. Мне показалось еще, что за острой, блестящей фигурой этой, покачиваясь, остановились закрытые носилки с перьями и бахромой. Три смуглых рослых молодца в плащах, закинутых через плечо по нижнюю губу, молча следили, как из ворот выходят профессора, таща за спиной мешки с хлебом. Эти три человека составляли как бы свиту. Но не было места дальнейшему любопытству в такой мороз. Не задерживаясь более, я прошел в двор, а за моей спиной произошел разговор, тихий, как перебор струн.

— Это тот самый дом, сеньор профессор! Мы прибыли!

— Отлично, сеньор кабалерро! Я иду в главную канцелярию, а вы, сеньор Эвтерп, и вы, сеньор Арумито, приготовьте подарки.

— Немедленно будет исполнено.

Уличные зеваки, глашатаи "непререкаемого" и "достоверного", а также просто любопытные содрали бы с меня кожу, узнав, что я не потолкался вокруг загадочных иностранцев, не понюхал хотя бы воздуха, которым они дышат в тесном проходе ворот, под красной вывеской "Дома ученых". Но я давно уже приучил себя ничему не удивляться.

Вышеуказанный разговор произошел на чистом кастильском наречии, и так как я довольно хорошо знаю романские языки, мне не составило никакого труда понять, о чем говорят эти люди. "Дом ученых" время от времени получал вещи и провизию из различных стран. Следовательно, прибыла делегация из Испании. Едва я вошел в двор, как это соображение подтвердилось.

— Видели испанцев? — сказал брюшковатый профессор тощему своему коллеге, который, в хвосте очереди на соленых лещей, выдаваемых в дворовом лабазе, задумчиво жевал папиросу. — Говорят, привезено много всего и на следующей неделе будут раздавать нам.

— А что будут давать?

— Шоколад, консервы, сахар и макароны.

Большой двор КУБУ был занят посередине, почти до главного внутреннего подъезда, длинным строением служб великой княгини.

ни, которой ранее принадлежал этот дворец. Слева и справа служб шли узкие, плохо мощенные проходы с лестницами и кладовыми, где, время от времени, выдавались на паек рыба, картофель, мясо, мармелад, сахар, капуста, соль и тому подобное кухонное снабжение. В кладовых двора выдавалось главным образом все то, что затрудняло выдачу других продуктов из центральной кладовой, находившейся в нижнем этаже бывшего дворца. Там каждому члену КУБУ, в раз навсегда определенный для него день недели и в известный час, вручался основной недельный паек: порции крупы, хлеба, чая, масла и сахара. Эта любопытная, сильная и деятельная организация еще ждет своего историка, а потому мы не будем скупно изображать то, чему надлежит некогда развернуться полной картиной.

Смысл этих замечаний моих тот, что на дворе было много народа преимущественно интеллигентного типа. Народ этот если не проходил по двору, то стоял в очередях у дверей нескольких кладовых, где приказчики рассекали топорами мясные кости или сваливали с весов в ведро кучу мокрых селедок. В одной лавке раздавали лещей, фунтов 10 на человека, и я заметил ржаво-жестяной хвост этой рыбы, торчавший из разорванного мешка, поставленного на маленькие салазки. Владелец поклажи, старик с

обильно заросшим седым лицом и такими же длинными волосами, прихватив локтем веревку санок, хотел вручить понурой, немолодой женщине какую-то бумажку, но тщетно искал ее в пачке документов, вытащенных из бокового кармана пальто.

— Пстой, Люси, — говорил он с начинающимся раздражением, — посмотрим еще. Гм... гм... розовая — банная карточка, белая — кооперативная, желтая — по основному пайку, коричневая — по семейному, это — талон на сахар, это — на недополученный хлеб, а тут что? — свидетельства домкомбеда, анкета вуза, старый просроченный талон на селедки, квитанция починки часов, талон на прачечную и талон... Матушки! — вскричал он, — я потерял вторую белую карточку, а сегодня последний день сахарного пайка!

Так воскликнув, воскликнув горько, потому что, уже в пятый раз листая свои бумажки, должен был признаться в потере, он поспешно затолкал весь том обратно в карман и прибавил:

— Если я не забыл ее на кухне, где чистил сапоги!.. Я успею! Я вернусь! Я побегу и буду через час, а ты подожди меня!

Они уговорились, где встретиться, и старик, намотав веревку на варежку, засеменял, таща санки, к воротам. От резкого движения лещ выпал из дыры в снег, и я, подняв его, закричал:

— Рыба! Рыба! Вы потеряли рыбу!

Но уже старик скрылся в воротах, а женщины не было. Тогда, по болезненному чувству находки съестного, без особой практической мысли и без жгучей радости, единственно потому, что лежала у ног пища, я поднял леща и сунул его в карман. Затем я стал пересекать разные очереди, то и дело спотыкаясь о ползущие санки. Сквозь тесную толпу первого коридора я проник в канцелярию с целью навести справку о своем заявлении.

Секретарь с мрачным лицом, стол которого обступили дамы, дети, старики, художники, актеры, литераторы и ученые, каждый по своему тоскливому делу (была здесь и особая разновидность — пайковые авантюристы), взрыл наконец груды бумаг, где разыскал пометку против моей фамилии.

— Еще дело ваше не решено, — сказал он. — Очередное заседание комиссии состоится во вторник, а теперь пятница.

Несколько остыв от надежд, с какими пробирался к столу, я двинулся вверх, в буфет, где мог за последнюю свою тысячу выпить стакан чая с куском хлеба. Движение вокруг меня было так велико, что напоминало бал или банкет с той разницей, что все были в пальто и шапках, а за спиной тащили мешки. Двери хлопали по всему дому, вверху и внизу. Везде уже переходил слух об иностранной делегации, привезшей подар-

ки; о том говорили на каждом повороте, в буфете и кулуарах.

— Вы слышали о делегации из Аргентины?

— Не из Аргентины, а из Испании.

— Из Испании, да.

— Ах, все равно, но скажите — что? что? жиры? А есть ли материя?

— Говорят, много всего и раздавать будут на следующей неделе.

— А что именно?

Некто авторитетный, громкий, с снисходящим взглянуть иногда вокруг сводом бровей, утверждал, что делегация прибыла с острова Кубы.

— А не из Саламанки?

— Нет, с Кубы, с Кубы, — говорили, проходя, всеведущие актрисы.

— Как, с Кубы?

Уже родился каламбур, и я слышал его дважды: "Кубу от Кубы". Две молодые девушки, сбегая по лестнице, как это делают девушки, то есть через ступеньку, остановили своих знакомых, крикнув:

— Шоколад! Да-с!

Оживились даже старухи и те сутуловатые, близорукие люди в очках, с лицами, лишенными заметной растительности, которые кажутся бесчувственными и которым всегда узко пальто. Во взглядах появился знак душевного равновесия. Голодные лица, с напряженной заботой о еде в усталых



глазах, спешили повторить новость, а кто направился уже в канцелярию с точностью разузнать обо всем.

Так прошло несколько времени, пока я толкался на мраморной лестнице, украшенной статуями, и пил в буфете чай, сидя за стеклянным столом под пальмой, — ранее в помещении этом был зимний сад. Не понимая, отчего хлеб пахнет рыбой, взглянул я на руку, заметил приставшую чешую и вспомнил леща, который торчал в кармане. Утолкав удобнее леща, чтобы не тер хвостом локтя, я поднял голову и увидел Афанасия Терпугова, давно знакомого мне повара из ресторана "Мадрид". Это был сухой, пришибленный человек с рыскающим взглядом и некоторой манерностью в выражении лица; тонкие, плотно сжатые его губы были выбриты, а смотрел он поверх очков.

На нем были длинное, как труба, пальто и тесная мерлушковая шапка. Человек этот, шутя, дергал за хвост моего леща.

— С запасцем! — сказал Терпугов. — А я думал сначала сечка, боялся порезаться, хе-хе-хе!

— А, здравствуйте, Терпугов, — ответил я. — Вы что здесь делаете?

— Да вот один знакомый хлопотал для меня место в лавке или на кухне. Так я зашел ему сказать, что отказываюсь.

— Куда же вы поступили?

— Как куда? — сказал Терпугов, — Впрочем, вы этого дела еще не знаете. Одно вам скажу, — приходите завтра в "Мадрид". Я снял ресторан и открываю его. Кухня — мое почтение! Ну, да вы знаете, вы мои расстегаи, подвыпивши, на память с собой брали, помните? И говорили: "К стенке приколочу, в рамку вставлю". Хе-хе! Бывало! Вот еще польские колдуны с маслом... Ну, ну, я ведь вас дразнить не хочу. Далее — оркестр, первейший сорт, какой мог только найти. Ценой не обижу, а уж так и быть, для открытия, сыграем вам испанские танцы.

— Однако, Терпугов, — сказал я, поперхнувшись от изумления, — вы воображаете, что говорите?! Что, вам одному, противу всех правил, разрешат такое дело, как "Мадрид"? Это в двадцать-то первом году?

Здесь произошло со мной нечто, подобное всем известному моменту раздвоения зрения, когда все видишь вдвойне. Что-то мешало смотреть, ясно видеть перед собой. Терпугов отдалился, потом стал виден еще далее, и, хотя стоял он рядом со мной, против окна, я видел его на фоне окна, как бы вдали, нюхающего табак с задумчивым видом. Он говорил, словно не обращаясь ко мне, а в сторону:

— Там как вы хотите, а приходите. Ко всему тому отдайте-ка мне леща, а я вымочу, вычищу — да обработаю под кашу и хрен со

сметаной, уж будете вы довольны! Я думаю, что у вас и дров нет.

Продолжая дивиться, я протер глаза и снова овладел зрением.

— Хотя говорите вы чепуху, — сказал я с досадой, — леща, однако, возьмите, потому что мне не изготовить его самому. Берите! — повторил я, вручая рыбу.

Терпугов внимательно осмотрел ее, потрепал хвост и даже заглянул в рот.

— Рыба хороша, жирна, — сказал он, пряча леща за пазуху. — Будьте покойны. Терпугов знает свое дело, — все косточки удалю. Пока до свидания! Так не забудьте, завтра в "Мадриде" в восемь часов открытие!

Он тронул шапочку, шаркнул ногой, серьезно посмотрел на меня и исчез за стеклянной дверью.

— Бедняга рехнулся! — сказал я, выходя на лестницу к резным дверям Розового Зала. Я отогрелся, голод так не мучил меня, и я, вспомнив Терпугова, улыбнулся, думая: "Лещ попал к Терпугову. Какая странная у леща судьба!"

## VII

Массивная двойная дверь зала была полуотворена. Едва я подошел к ней, как несколько лиц высшей администрации, с порт-

фелями и без оных, ворвались мимо меня в дверь один за другим, заглядывая через головы передних, — так все они торопились увидеть нечто, без сомнения, связанное с испанцами. Я помнил разговор в воротах, а потому заглянул сам и увидел, что большой зал полон народом. Пожав плечами, в знак равенства, степенно вошел и я и, так как было довольно тесно, стал несколько в стороне, наблюдая происходящее.

Обычно занят был этот зал канцелярской работой, но теперь столы были сдвинуты к стенам, а машины куда-то исчезли. Один большой стол, накрытый синим сукном, стоял ближе к дальней, от двери, стене, меж зеркальных окон с видом на занесенную снегом реку. По правому концу стола восседал президиум КУБУ, а по левому — тот рыжий человек в берете и плаще с горностаевым отложным воротником, которого видел я у ворот. Он сидел прямо, слегка откинувшись на твердую спинку стула, и обводил взглядом собрание. Его правая рука лежала прямо перед ним на столе, сверх бумаг, а левой он небрежно шевелил шейную золотую цепь, украшенную жемчугом. Его три спутника стояли сзади него, выказывая лицами и позой терпение и внимание. Перед столом возвышалась баррикада тюков, зашитых в кожу и холст, и я подивился, что админи-

страция разрешила внести сюда столько товаров.

Смотря крайне внимательно, я в то же время слышал, что говорят и шепчут с разных сторон. Публика была обыкновенная, п а й к о в а я публика: врачи, инженеры, адвокаты, профессора, журналисты и множество женщин. Как я узнал скоро, набились они все сюда постепенно, но быстро, привлеченные оригиналами — делегатами.

Основное качество "слуха" есть тончайшая эманация факта, всегда истинная по природе своей, какую бы уродливую форму не придумал ей наш аппарат восприятия и распространения, то есть ум и его лукавый слуга — язык. Поэтому я слушал не безразлично. Дыша мне в затылок, сказал кто-то соседу:

— Этот испанский профессор — странный человек. Говорят, большой оригинал и с ужаснейшими причудами: ездит по городу на носилках, как в средние века!

— Да профессор ли он? А знаете, что я слышал? Говорят, что эта личность не та, за кого себя выдает!

— Вот те на!

— А что прикажете думать?!

Стоявшая впереди меня, протискалась назад, к разговаривающим, подслушивая их,

старуха, и приняла немедленно участие в обсуждении дела.

— Что же это такое и как же понять? — прошамкала она лягушачьим ртом; серые жадные ее глаза таинственно просветлели. Она понизила голос:

— А мне, мне, слушайте-ка меня, слышите? Будто, говорят, проверили полномочия, а печать-то не та, нет...

Я понял, что общественный нюх работает. Но не было времени прислушиваться к другим шепотам потому, что комиссия потребовала удаления посторонних.

Испанец, встав, кратко повел рукой.

— Мы просим, — сказал он сильным и звучным голосом, — разрешить остаться здесь всем, так как мы рады быть в обществе тех, кому привезли скромные наши подарки.

Переводчик (это был литератор, выпустивший в печать несколько томов испанской словесности) оказался не совсем сведущим в языке. Он перевел: "мы должны быть", неверно, на что, протиснувшись вперед, я тотчас же указал.

— Сеньор кабалерро знает испанский язык? — обратился ко мне приезжий с обольстительной змеиной улыбкой и стал вдруг глядеть так пристально, что я смутился. Его черно-зеленые глаза с острым стальным зрачком направились на меня взглядом, напоминающим хладнокровно засученную руку, погру-

зив которую в мешок до самого дна, неумолимо нащупывает там человек искомый предмет.

— Знаете испанский язык? — повторил иностранец. — Хотите быть переводчиком?

— Сеньор, — возразил я, — я знаю испанский язык, как русский, хотя никогда не был в Испании. Я знаю, кроме того, английский, французский и голландский языки; но ведь переводчик уже есть?!

Произошел общий перекрестный разговор между мной, испанцем, переводчиком и членами комиссии, причем выяснилось, что переводчик сознает несовершенное знание им языка, а потому охотно уступает мне свою роль. Испанец ни разу не взглянул на него. По-видимому, он захотел, чтоб переводил я. Комиссия, устав от переполоха, тоже не возражала. Тогда, обратясь ко мне, испанец назвал себя:

— Профессор Мигуэль-Анна-Мария-Педре-Эстебан-Алонзе-Бам-Гран, — на что ответил я так, как следовало, то есть:

— Александр Каур (мое имя), — после чего заседание вновь приняло официальный характер.

Пока что я переводил обычный обмен приветствий, выражаемых, поочередно, комиссией и испанцем, составленных в духе того времени и не заслуживающих подробной передачи теперь. Затем Бам-Гран прочел

список даров, присланных учеными острова Кубы. Перечень этот вызвал общее удовольствие. Два вагона сахара, пять тысяч килограммов кофе и шоколада, двенадцать тысяч — маиса, пятьдесят бочек оливкового масла, двадцать — апельсинового варенья, десять — хереса и сто ящиков манильских сигар. Все было уже взвешено и погружено в кладовые. Но те тюки, что лежали перед столом, заключали в е щ и, о чем Бам-Гран сказал только, что, с разрешения пайковой комиссии, он "будет иметь честь немедленно показать собранию все, что есть в тюках".

Как только перевел я эти слова, в зале прошел гул одобрения: предстояло зрелище, вернее, дальнейшее развитие зрелища, во что уже обратилось присутствие делегации. Всем, а также и мне, стало отменно весело. Мы были свидетелями щедрого и живописного ж е с т а, совершаемого картинно, как на рисунках, изображающих прибытие путешественников в далекие страны.

Испанцы переглянулись и стали тихо говорить между собой. Один из них, протянув руку к тюкам, вдруг улыбнулся и добродушно посмотрел на толпу.

— Все взрослые — дети, — сказал ему Бам-Гран довольно отчетливо, так что я расслышал эти слова; затем, поняв по моему лицу,



что я расслышал, он наклонился ко мне и, заглядывая в глаза лезвием своих блестящих зрачков, шепнул:

”На севере диком, над морем,  
Стоит одиноко сосна.  
И дремлет,  
И снегом сыпучим  
Засыпана, стонет она.

Ей снится: в равнине,  
В стране вечной весны,  
Зеленая пальма... Отныне  
Нет снов иных у сосны...

## VIII

Так мягко, так изысканно пошутил он, только пошутил, конечно, но мне как будто крепко пожали руку, и, с сильно забившимся сердцем, не обратив даже внимания, как смело и легко он придал в странном намеке своем особый смысл стихотворению Гейне, — смысл которого безграничен, — я нашелся лишь сказать:

— Правда? Что хотели вы выразить?

— Мы знаем кое-что, — сказал он обычным своим тоном. — Итак, приступите, кабалерро!

Едва настроение это, этот момент, подобный неожиданному звону струны, замер среди возни, поднявшейся вокруг тюков, как я был снова погружен в свое дело, внимательно слу-

шая отрывистые слова Бам-Грана. Он говорил о поспешности своего отъезда, извиняясь, что привез меньше, чем могло быть. Тем временем руки испанцев, с уверенностью кошачьих лап, взвились из-под плащей, сверкнув узкими ножами; повернув тюки, они рассекли веревки, затем быстро вспороли кожу и холст. Наступила тишина. Зрители толпились вокруг, ожидая, что будет. Было только слышно, как за дверью соседней комнаты телеграфически трещит пишущая машинка под угрюмой, ко всему равнодушной рукой.

К этому времени зал набился так плотно клиентами и служащими КУБУ, что видеть действие могли только стоящие впереди. Уже испанцы вынули из тюка коробку с темными, короткими свечками.

— Вот! — сказал Бам-Грам, беря одну свечку и ловко зажигая ее. — Это ароматические курительные свечи для освежения воздуха!

Сухой, бледной рукой поднял он огонек, и по накуренному скверным табаком залу прошло тонкое благоухание, напоминающее душистое тепло сада. Многие засмеялись, но тень недоумения легла на некоторых ученых физиономиях. Не расслышав моего перевода, эти люди сказали:

— А, свечи, хорошо! Наверное, есть и мыло!

Однако в большинстве лиц скользнуло разочарование.

— Если все подарки таковы... — сказал седой человек с красным носом багровому от переполняющей его мрачности молодому человеку, скрестившему на груди руки, — то что же это такое?

Молодой человек презрительно сощурил глаза и сказал:

— Н-да...

Меж тем работа шла быстро. Еще три тюка распались под движениями острых ножей. Появились куски замечательного цветного шелка, узорная кисея, белые панамские шляпы, сукно и фланель, чулки, перчатки, кружева и много других материй, видя цвет и блеск которых, я мог только догадываться, что они лучшего качества. Разрезая тюк, испанцы брали кусок или образец, разворачивали его и опускали к ногам. Шелестя, одна за другой лились из смуглых их рук ткани, и скоро образовалась гора, как в магазине, когда приказчики выбрасывают на прилавок все новые и новые образцы. Наконец материи окончились. Лопнули, упав, веревки нового тюка, и я увидел морские раковины, рассыпавшиеся с сухим стуком; за ними посыпались красные и белые кораллы.

Я отступил, так были хороши эти цветы дна морского среди складок шелка и полотна, — они хранили блеск подводного луча, проникающего в зеленую воду. Как стало смеркаться, зал был освещен электричеством,

что еще больше заставило блеснуть груды подарков.

— Это — очень редкие раковины, — сказал Бам-Гран, — и нам будет очень приятно, если вы возьмете их на память о нашем посещении и об океане, который там, далеко!..

Он обратился к помощникам, жестом торопя их:

— Живей, кабалерро! Не задерживайте впечатления! Сеньор Каур, передайте собранию, что пятьдесят гитар и столько же мандолин доставлено нами; вот мы сейчас покажем вам образцы.

Теперь шесть самых больших и длинных тюков встали перед нами на возвышение; развернув их, испанцы обнажили пальмовое дерево тонких, крепких ящичков и осторожно взломали их. Там, упакованные шерстяной ватой, лежали новые инструменты. Вынимая гитары, одну за другой, бережно, как спящих детей, испанцы вытирали их шелковыми платками, ставя затем к столу или опуская на кучи цветных материй. Но скоро класть стало некуда, как одну на другую, и пришлось попросить зрителей расступиться. Грифы, а также деки гитар цвета темной сигары были украшены перламутровой инкрустацией, местами — золотой тонкой резьбой.

Пока с ними возились, стоял смутный звон; иногда толчок гитары о дерево возвышал это беспорядочное звенение в нежный аккорд.

Скоро появились и мандолины, также украшенные перламутром и золотом. Мандолины, распространяя острый, металлический звон, вызываемый, непроизвольно, движениями людей, трогавших их, заняли весь стол и все пространство под ним. Работа эта была кончена сравнительно нескоро, так что я имел время всмотреться в лица членов комиссии и уразуметь их чрезвычайно напряженное состояние.

В самом деле, происходящее начало принимать характер драматической сцены с сильным декоративным моментом. Канцелярия, караваи хлеба, гитары, херес, телефоны, апельсины, пишущие машины, шелка и ароматы, валенки и бархатные плащи, постное масло и кораллы образовали наглядным путем странно дегустированную смесь, попирающую серый тон учреждения звоном струн и звуками иностранного языка, напоминающего о жаркой стране. Делегация вошла в КУБУ, как гребень в волосы, образовав пусть недолгий, но яркий и непривычный эксцентр, в то время как центры административный и продовольственный невольно уступали прищельцу первенство и характер жеста. Теперь хозяевами положения были эти церемонные смуглые оригиналы, и гостеприимство не позволяло даже самого умеренного намека на желательность прекращения сцены, ставшей апофеозом непосредственности, рас-

кинувшей пестрый свой лагерь в канцелярии "общественного снабжения". Вопреки обычаю, деловой день остановился. Служащие собрались отовсюду — из лавок, присутственных мест, агентур, кладовых, топливного отдела, из бани, парикмахерской, прачечной, из буфета и дежурных комнат, из библиотеки и санитарии, и если пришли не все, то без тех, кто не пришел, не могла двинуться ни одна бумага. Пайщики, пришедшие за пайком, отложили получение продуктов своих, не желая предпочесть то, что видели каждый день, редкому инциденту. Несколько скоро поспевающих, все и везде пронюхивающих шмыгальцев уже побежали в о т д е л ы хлопотать о выдаче им шоколада и хереса, чтобы, получив, таким образом, талоны, избежать грядущих очередей.

Хотя я проницал настроение членов комиссии, но должен был также принять в соображение, что теперь только один тюк — самый длинный, тщательнее всех иных заштукатуренный, остался нетронутым. Шел четвертый час дня, так что более получаса депутация в этом зале пробыть не могла. Зал, естественно, должен был затем быть заперт для учета и уборки разбросанного товара, а испанцы — перейти в комнату заседаний для делового окончания своего посещения КУБУ. По всему этому я уверился, что неприятностей не случится.

Испанцы ухватились за длинный тюк и поставили его вертикально. Ножи оттянули веревки тупым углом, и они, надрезанные, лопнули, упав вокруг тюка змеей. Тюк был зашит в несколько слоев полотна. Развертывая его, набросали кучу белых полос. Тогда, расцветиваясь и золотясь, вышел из саженного кокона огромный свиток шелка, шириной футов пятнадцать и длиной почти во весь зал. Трепля и распушивая его, испанцы разошлись среди расступившейся толпы в противоположные углы помещения, причем один из них, согнувшись, раскатывал сверток, а два других на вытягивающихся все выше руках донесли конец к стене и там, вскочив на стулья, прикрепили его гвоздями под потолок. Таким образом, наклонно спускаясь из отделения, лег на весь беспорядок товарных груд замечательно искусный узор, вышитый по золотистому шелку карминными перьями фламинго и перьями белой цапли — драгоценными перьями Южной Америки. Жемчуг, серебряные и золотые блёстки, розовый и темно-зеленый стеклярус в соединении с другим материалом являли дикую и яркую красоту, овеянную нежностью композиции, основной мотив которой, быть может, был заимствован от рисунка кружев.

Шумя, ахая, множа шум шумом и в шуме становясь шумливыми еще больше, зрители смешались с комиссией, подступив к сверкаю-

щему изделию. Возник беспорядок удовольствия — истинный порядок естества нашего. И покрывало заколыхалось в десятках рук, трогавших его с разных сторон. Я выдержал атаку энтузиасток, требующих немедленно запросить Бам-Грана, кто и где смастерил такую редкую роскошь.

Смотря на меня, Бам-Гран медленно и внушительно произнес:

— Вот работа девушек острова Кубы. Ее сделали двенадцать самых прекрасных девушек города. Полгода вышивали они этот узор. Вы правы, смотря на него с заслуженным восхищением. Прочтите имена рукодельниц!

Он поднял край шелка, чтобы все могли видеть небольшой веночек, вышитый латинскими литерами, и я перевел вышитое: "Лаура, Мерседес, Нина, Пепита, Конхита, Паула, Винсента, Кармен, Инеса, Долорес, Анна и Клара".

— Вот что они просили передать вам, — громко продолжал я, беря поданный мне испанским профессором лист бумаги: "Далекие сестры! Мы, двенадцать девушек-испанок, обнимаем вас издалека и крепко прижимаем к своему сердцу! Нами вышито покрывало, которое пусть будет повешено вами на своей холодной стене. Вы на него смотрите, вспоминая нашу страну. Пусть будут у вас заботливые женихи, верные мужья и дорогие друзья, среди которых — все мы! Еще мы желаем вам



счастья, счастья и счастья! Вот все. Простите нас, неученых, диких испанских девушек, растущих на берегах Кубы!”

Я кончил переводить, и некоторое время стояла полная тишина. Такая тишина бывает, когда внутри нас ищет выходы не переводимая ни на какие языки речь. Молча течет она...

”Далекие сестры...” Была в этих словах грациозная чистота смуглых девичьих пальцев, прокалывающих иглой шелк ради неизвестных им северянок, чтобы в снежной стране усталые глаза улыбнулись фантастической и пылкой вышивке. Двенадцать пар черных глаз склонились издалека над Розовым Залом. Юг, смеясь, кивнул Северу. Он дотянулся своей жаркой рукой до отмороженных пальцев. Эта рука, пахнувшая розой и ванильным стручком, — легкая рука нервного, как коза, создания, носящего двенадцать имен, внесла в повесть о картофеле и холодных квартирах наивный рисунок, подобный тому, что делает на полях своих книг Сетон Томпсон: арабеск из лепестков и лучей.

## IX

На острие этого впечатления послышался у дверей шум,— настойчивые слова неизвестного человека, желавшего выбраться к середине зала.

— Позвольте пройти! — говорил человек этот сумрачно и многозначительно.

Я еще не видел его. Он восклицал громко, повышая свой режущий ухо голос, если его задерживали:

— Я говорю вам, — пропустите! Гражданин! Вы разве не слышите? Гражданка, позвольте пройти! Второй раз говорю вам, а вы делаете вид, что к вам не относится. Позвольте пройти! Позво... — но уже зрители расступились поспешно, как привыкли они расступаться перед всяким сердитым увальнем, имеющим высокое о себе мнение.

Тогда в двух шагах от меня просунулся локоть, отталкивающий последнего, заслоняющего дорогу, профессора, и на самый край драгоценного покрывала ступил человек неопределенного возраста, с толстыми губами и вздернутой щеткой рыжих усов. Был он мал ростом и как бы надут — очень прямо держал он короткий свой стан; одет был в полушубок, валенки и котелок. Он стал, выпятив грудь, откинув голову, расставив руки и ноги. Очки его отважно блестели; под локтем торчал портфель.

Казалось, в лице этого человека вошло то невыразимое бабье начало, какому, обыкновенно, сопутствует истерика. Его нос напоминал трфовый туз, выраженный тремя измерениями, дутые щеки стягивались к ноздрям, взгляд блестел таинственно и высокомерно.

— Так вот, — сказал он тем же тоном, каким горячился, протискиваясь, — вы должны знать, кто я. Я — статистик Ершов! Я все слышал и видел! Это какое-то обалдение! Чушь, чепуха, возмутительное явление! Этого быть не может! Я не... верю, не верю ничему! Ничего этого нет, и ничего не было! Это фантомы, фантомы! — прокричал он.— Мы одержимы галлюцинацией или угорели от жаркой железной печки! Нет этих испанцев! Нет покрывала! Нет плащей и горностаев! Нет ничего, никаких фиглей-миглей! Вижу, но отрицаю! Опомнитесь! Ущипните себя, граждане! Я сам ущипнусь! Все равно, можете меня выгнать, проклинать, бить, задарить или повесить, — я говорю: ничего нет! Не реально! Не достоверно! Дым!

Члены комиссии повскакали и выбежали из-за стола. Испанцы переглянулись. Бам-Гран тоже встал. Закинув голову, высоко подняв брови и подбоченясь, он грозно улыбнулся, и улыбка эта была замысловата, как ребус. Статистик Ершов дышал тяжело, словно в беспомощности, и вызывающе прямо гладел всем в глаза.

— В чем дело? Что с ним? Кто это?! — слышались восклицания.

Бегун, секретарь КУБУ, положил руку на плечо Ершова.

— Вы с ума сошли! — сказал он. — Опомнитесь и объясните, что значит ваш крик?!

— Он значит, что я более не могу! — кричал ему в лицо статистик, покрываясь красными пятнами. — Я в истерике, я вопию и скандалю, потому что дошел! Вскипел! Покрывало! На кой мне черт покрывало, да и существует ли оно в действительности?! Я говорю: это психоз, видение, черт побери, а не испанцы! Я, я — испанец, в таком случае!

Я переводил, как мог, быстро и точно, став ближе к Бам-Грану.

— Да, этот человек — не дитя, — насмешливо сказал Бам-Гран. Он заговорил медленно, чтобы я успевал переводить, с несколько злой улыбкой, обнажившей его белые зубы. — Я спрашиваю кабаллерио Ершова, что имеет он против меня?

— Что я имею? — вскричал Ершов. — А вот что: я прихожу домой в шесть часов вечера. Я ломаю шкаф, чтобы немного согреть свою конуру. Я пеку в буржуйке картошку, мою посуду и стираю белье! Прислуги у меня нет. Жена умерла. Дети заиндевели от грязи. Они режут. Масла мало, мяса нет, — вой! А вы мне говорите, что я должен получить раковину из океана и глазеть на испанские вышивки! Я в океан ваш плюю! Я из розы папироску сверну! Я вашим шелком законопачу оконные рамы! Я гитару продам, сапоги куплю! Я вас, заморские птицы, на вертел насажу и, не ошипав, испеку! Я... эх! Вас н е т, так как я не позволю! Скройся, видение, и, аминь, рассыпья!

Он разошелся, загремел, стал топтать ногами. Еще с минуту длилось оцепенение, и затем, вздохнув, Бам-Гран выпрямился, тихо качая головой.

— Безумный! — сказал он. — Безумный! Так будет тебе то, чем взорвано твое сердце: дрова и картофель, масло и мясо, белье и жена, но более — ничего! Дело сделано. Оскорбление нанесено, и мы уходим, кабалерро Ершов, в страну, где вы не будете никогда! Вы же, сеньор Каур, в любой день, как пожелаете, явитесь ко мне, и я заплачу вам за ваш труд переводчика всем, что вы пожелаете! Спросите цыган, и вам каждый из них скажет, как найти Бам-Грана, которому нет причин больше скрывать себя. Прощай, ученый мир, и да здравствует голубое море!

Так сказав, причем едва ли успел я произнести десять слов перевода, — он нагнулся и взял гитару; его спутники сделали то же самое. Тихо и высокомерно смеясь, они отошли к стене, став рядом, отставив ногу и подняв лица. Их руки коснулись струн... Похолодев, услышал я быстрые, глухие аккорды, резкий удар так хорошо знакомой мелодии: зазвенело "Фанданго". Грянули, как поцелуй в сердце, крепкие струны, и в этот набегающий темп вошло сухое щелканье кастаньет. Вдруг электричество погасло. Сильный толчок в плечо заставил меня потерять

равновесие. Я упал, вскрикнув от резкой боли в виске, и среди гула, криков, беснования тьмы, сверкающей громом гитар, лишился сознания.

## Х

Я очнулся тяжело, как прикованный. Я лежал на спине. С потолка светила под зеленым абажуром электрическая лампа.

В голове, около правого виска, стояло неприятное онемение. Когда я повернул голову, онемение перешло в тупую боль.

Я стал осматриваться. Узкая, вся белая комната с покрытым белой клеенкой полом была, по-видимому, амбулаторией. Стоял здесь узкий стеклянный шкаф с инструментами и лекарствами, два табурета и белый пустой стол.

Я не был раздет, заключив поэтому, что ничего опасного не произошло. Моя фуражка лежала на табурете. В комнате никого не было. Ощупав голову, я нашел, что она забинтована, следовательно, я рассек кожу об угол стола или о другой твердый предмет. Я снял повязку. За ухом горел сильный, постреливающий ушиб.

На круглых стенных часах стрелки указывали полчаса пятого. Итак, я провел в этой комнате минут десять, пятнадцать.

Меня положили, перевязали, затем оставили одного. Вероятно, это была случайность, и я не сетовал на нее, так как мог немедленно удалиться. Я торопился. Припомнив все, я испытал томительное острое беспокойство и неудержимый порыв к движению. Но я был еще слаб, в чем убедился, привстав и застегивая пальто. Однако медицина и помощь неразделимы. Ключи висели в скважине стеклянного шкафа, и, быстро разыскав спирт, я налил полную большую мензурку, выпив ее с облегчением и великим удовольствием, так как в те времена водка была редкостью.

Я скрыл следы самоуправства, затем вышел по узкому коридору, достиг пустого буфета и спустился по лестнице. Проходя мимо двери Розовой Залы, я потянул ее, но дверь была заперта.

Я постоял, прислушался. Служащие уже покинули учреждение. Ни одна душа не попала мне, пока я шел к выходной двери; лишь в вестибюле сторож подметал сор. Я поостерегся спросить его об испанцах, так как не знал в точности, чем закончилось дело, но сторож дал сам повод для разговора.

— Которые выходят в дверь, — сказал он, — это правильно. Не как духи или нечистая сила!

— В дверь или в окно, — ответил я, — какая разница?!

— В окно... — сказал сторож, задумавшись. — В окно, скажу вам, особь статья, если оно открыто. А испанцы после скандала вышли поперек стены. Так, говорят, прямо на Небу, и в том месте, слышь, где опустились, будто лед лопнул. Побежали смотреть.

— Как же это понять? — сказал я, надеясь что-нибудь разузнать дальше.

— Там разберут! — Сторож поплевал на ладони и стал мести. — Чудасия!

Покинув его одолевать непонятное, я вышел во двор. Сторож у ворот, в огромной шубе, не торопясь, поднялся со скамейки с ключами в руке и, всматриваясь в меня, пошел открывать калитку.

— Чего смотришь? — крикнул я, видя, что он назойливо следит за мной.

— Такая моя должность, — заявил он, — смотрю, как приказано не выпускать подозрительных. Слышали ведь?!

— Да, — сказал я, и калитка с треском захлопнулась.

Я остановился, соображая, как и где разыскать цыган. Я хотел видеть Бам-Грана. Это было страстное и безысходное чувство, понятие о котором могут получить игроки, тщетно разыскивающие шляпу, спрятанную женой.

О моя голова! Ей была задана работа в неподходящих условиях улицы, мороза и пустоты, пересекаемой огнями автомобилей.



Озадаченный, я должен был бы сесть у камина в глубокое и спокойное кресло, способствующее течению мыслей. Я должен был отдаться тихим шагам наития и, прихлебывая столетнее вино вишневого цвета, слушать медленный бой часов, рассматривая золотые угли. Пока я шел, образовался осадок, в котором нельзя уже было откинуть возникающие вопросы. Кто был человек в бархатном плаще, с золотой цепью? Почему он сказал мне стихотворение, вложив в тон своего шепота особый смысл? Наконец, "Фанданго", разыгранное ученой депутацией в разгаре скандала, внезапная тьма и исчезновение, и я, кем-то перенесенный на койку амбулатории, — какое объяснение могло утолить жажду рассудка, в то время как сверхрасудочное беспечно поглощало обильную алмазную влагу, не давая себе труда внушить мыслительному аппарату хотя бы слабое представление об удовольствии, которое оно испытывает незаконно и абсолютно, — удовольствие той самой бессвязности и необъяснимости, какие составляют горшую муку каждого Ершова, и, как в каждом сидит Ершов, хотя бы и цыкнувший, я был в этом смысле настроен весьма пытливо.

Я остановился, стараясь определить, где нахожусь теперь, после полубеспамятного устремления вперед и без мысли о направлении. По некоторым домам я сообразил, что иду

недалеко от вокзала. Я запустил руку в карман, чтобы закурить, и коснулся неведомого твердого предмета, вытащив который, разглядел при свете одного из немногих озаренных окон желтый кожаный мешочек, очень туго завязанный. Он весил не менее как два фунта, и лишь горячностью своей я объясняю то обстоятельство, что не заметил ранее этой оттягивающей карман тяжести. Нажав его, я прощупал сквозь кожу ребра монет. "Теряясь в догадках..." — говорили ранее при таких случаях. Не помню, терялся ли я в догадках тогда. Я думаю, что мое настроение было как нельзя более склонно ожидать необъяснимых вещей, и я поспешил развязать мешочек, думая больше о его содержимом, чем о причинах его появления. Однако было опасно располагаться на улице, как у себя дома. Я присмотрел в стороне развалины и направился к их снежным проломам по холму из сугробов и щебня. Внутри этого хаоса вело в разные стороны множество грязных следов. Здесь валялись тряпки, замерзшие нечистоты; просветы чередовались с простенками и рухнувшими балками. Свет луны сплетал ямы и тени в один мрачный узор. Забравшись поглубже, я сел на кирпичи и, развязав желтый мешок, вытряхнул на ладонь часть монет, тотчас признав в них золотые пиастры. Сосчитав и пересчитав, я определил все количество в двести

штуку, ни больше, ни меньше, и, несколько ослабев, задумался.

Монеты лежали у меня между колен, на поле пальто, и я шевелил их, прислушиваясь к отчетливому прозрачному стуку металла, который звенит только в воображении или когда две монеты лежат на концах пальцев и вы соприкасаете их краями. Итак, в моем беспамятстве меня отыскала чья-то доброжелательная рука, вложив в карман этот небольшой капитал. Еще я не был в состоянии производить мысленно покупки. Я просто смотрел на деньги, пользуясь, может быть, бессознательно наставлением одного замечательного человека, который учил меня искусству смотреть. По его мнению, постичь душу предмета можно лишь, когда взгляд лишен нетерпения и усилия, когда он, спокойно соединясь с вещью, постепенно проникается сложностью и характером, скрытыми в кажущейся простоте общего.

Я так углубился в свое занятие, — смотреть и перебирать золотые монеты, — что очень не скоро начал чувствовать помеху, присутствие посторонней силы, тонкой и точной, как если бы с одной стороны происходило легчайшее давление ветра. Я поднял голову, соображая, что бы это могло быть и не следит ли за моей спиной бродяга или бандит, невольно передавая мне свое алчное напряжение? Слева направо я медленным

взглядом обвел развалины и не открыл ничего подозрительного, но хотя было тихо, а хрупко застоявшаяся тишина была бы резко нарушена малейшим скрипом снега или щорохом щебня, — я не осмеливался обернуться так долго, что наконец возмутился против себя. Я обернулся в д р у г. Стук крови отдался в сердце и голове. Я вскочил, рассыпав монеты, но уже был готов защищать их и схватил камень...

Шагах в десяти, среди смешанной и неверной тени, стоял длинный, худой человек, без шапки, с худым улыбающимся лицом. Он нагнул голову и, опустив руки, молча рассматривал меня. Его зубы блестели. Взгляд был направлен поверх моей головы с таким видом, когда придумывают, что сказать в затруднительном положении. Из-за его затылка шла вверх черная прямая черта, конец ее был скрыт от меня верхним краем амбразуры, через которую я смотрел. Обратный толчок крови, вновь хлынувшей к сердцу, возобновил дыхание, и я, шагнув ближе, рассмотрел труп. Было трудно решить, что это — самоубийство или убийство. Умерший был одет в черную сатиновую рубашку, довольно хорошее пальто, новые штиблеты, неподалеку валялась кожаная фуражка. Ему было лет тридцать. Ноги не достигали земли на фут, а веревка была обвязана вокруг потолочной балки. То, что он не был раздет,

а также некая обстоятельность в прикреплении веревки к балке и — особенно — мелкие бесхарактерные черты лица, обведенного по провалам щек русой бородкой, склоняло определить самоубийство.

Прежде всего я подобрал деньги, утрамбовал их в мешочек и спрятал во внутренний карман пиджака; затем задал несколько вопросов пустоте и молчанию, окружавшим меня в глухом углу города. Кто был этот безрадостный и беспечальный свидетель моего счета с необъяснимым? Уколотся ли он о шип, пытаясь сорвать розу? Или это — отчаявшийся дезертир? Кто знает, что иногда приводит человека в развалины с веревкой в кармане?! Быть может, передо мной висел неудачный администратор, отступник, разочарованный, торговец, потерявший четыре вагона сахара, или изобретатель "перпетуум-мобиле", случайно взглянувший в зеркало на свое лицо, когда проверял механизм?! Или хищник, которого родственники усердно трясли за бороду, приговаривая: "Вот тебе, коршун, награда за жизнь воровскую твою!" — а он не снес и уничтожил себя?

И это и все другое могло быть, но мне было уже нестерпимо сидеть здесь, и я, миновав всего лишь один квартал, увидел как раз то, что разыскивал, — уединенную чайную.

На подвальном этаже старого и мрачного дома желтела вывеска, часть тротуара была

освещена снизу заплывшими сыростью окнами. Я спустился по крутым и узким ступеням, войдя в относительное тепло просторного помещения. Посреди комнаты жарко трещала кирпичная печь с железной трубой, уходящей под потолком в полутемные недра, а свет шел от потускневших электрических ламп; они горели в сыром воздухе тускло и красновато. У печки дремала, зевая и почесывая под мышкой, простоволосая женщина в валенках, а буфетчик, сидя за стойкой, читал затрепанную книгу. На кухне бросали дрова. Почти никого не было, лишь во втором помещении, где столы были без скатертей, сидело в углу человек пять плохо одетых людей дорожного вида; у ног их и под столом лежали мешки. Эти люди ели и разговаривали, держа лица в пару блюдец с горячим цикорием. Буфетчик был молодой парень нового типа, с солдатским худощавым лицом и толковым взглядом. Он посмотрел на меня, лизнул палец, переворачивая страницу, а другой рукой вырвал из зеленой книжки чайный талон и загремел в жестяном ящике с конфетами, сразу выкинув мне талон и конфету.

— Садитесь, подадут, — сказал он, вновь увлекаясь чтением.

Тем временем женщина, вздохнув и собрав за ухо волосы, пошла в кухню за кипятком.

— Что вы читаете? — спросил я буфетчика, так как увидел на странице слова: "принцессу мою светлоокою..."

— Хе-хе! — сказал он. — Так себе, театральная пьеса. "Принцесса Греза". Сочинение Ростанова. Хотите посмотреть?

— Нет, не хочу. Я читал. Вы довольны?

— Да, — сказал он нерешительно, как будто конфузясь своего впечатления, — так, фантазия... О любви. Садитесь, — прибавил он, — сейчас подадут.

Но я не отходил от стойки, заговорив теперь о другом.

— Ходят ли к вам цыгане? — спросил я.

— Цыгане? — переспросил буфетчик. Ему был, видимо, странен резкий переход к обычному от необычной для него книги. — Ходят. — Он механически обратил взгляд на мою руку, и я угадал следующие его слова:

— Это погадать, что ли? Или зачем?

— Хочу сделать рисунок для журнала.

— Понимаю, иллюстрацию. Так вы, гражданин, — художник? Очень приятно!

Но я все же мешал ему, и он, улыбнувшись, как мог широко, прибавил:

— Ходят их тут две шайки, одна почему-то еще не была этот день, должно быть, скоро придет... Вам подано! — и он указал пальцем стол за печкой, где женщина расставляла посуду.

Один золотой был зажат у меня в руке, и я освободил его скрытую мощь.

— Гражданин, — сказал я таинственно, как требовали обстоятельства, — я хочу несколько оживиться, поесть и выпить. Возьмите этот кружок, из которого не сделаешь даже пуговицы, так как в нем нет отверстий, и возместите мой ничтожный убыток бутылкой настоящего спирта. К нему что-либо мясное или же рыбное. Приличное количество хлеба, соленых огурцов, ветчины или холодного мяса с уксусом и горчицей.

Буфетчик оставил книгу, встал, потянулся и разобрал меня на составные части острым, как пила, взглядом.

— Хм... — сказал он. — Чего захотели!.. А что, это какая монета?

— Это монета испанская, золотой пиастр, — объяснил я. — Ее привез мой дед (здесь я солгал ровно наполовину, так как дед мой, по матери, жил и умер в Толедо), но вы знаете, теперь не такое время, чтобы дорожить этими безделушками.

— Вот это правильно, — согласился буфетчик. — Обождите, я схожу в одно место.

Он ушел и вернулся через две-три минуты с проясненным лицом.

— Пожалуйста сюда, — объявил буфетчик, заводя меня за перегородку, отделяющую буфет от первого помещения, — вот сидите здесь, сейчас все будет.



Пока я рассматривал клетушку, в которую он меня привел — узкую комнату с желто-розовыми обоями, табуретками и столом со скатертью в жирных пятнах, — буфетчик явился, прикрыв ногой дверь, с подносом из лакированного железа, украшенным посередине букетом фантастических цветов. На подносе стоял большой трактирный чайник, синий с золотыми разводами, и такие же чашка с блюдцем. Особо появилась тарелка с хлебом, огурцами, солью и большим куском мяса, обложенным картофелем. Как я догадался, в чайнике был спирт. Я налил и выпил.

— Сдачи не будет, — сказал буфетчик, — и, пожалуйста, чтоб тихо и благородно.

— Тихо и благородно, — подтвердил я, наливая вторую порцию.

В это время, проскрипев, хлопнула наружная дверь, и низкий, гортанный голос странно прозвучал среди подвальной тишины русской чайной. Стукнули каблуки, отряхивая снег; несколько человек заговорили сразу громко, быстро и непонятно.

— Явилось, фараоново племя, — сказал буфетчик, — хотите, посмотрите, какие они, может, и не годятся!

Я вышел. Посреди залы, оглядываясь, куда присесть или с чего начать, стояла та компания цыган из пяти человек, которых я видел утром. Заметив, что я пристально

рассматриваю их, молодая цыганка быстро пошла ко мне, смотря беззастенчиво и прямо, как кошка, почуявшая рыбный запах.

— Дай погадаю, — сказала она низким, твердым голосом, — счастье тебе будет, что хочешь, скажу, мысли узнаешь, хорошо жить будешь!

Насколько раньше я быстро прекращал этот банальный речитатив, выставив левой рукой так называемую "джеттатуру" — условный знак, изображающий рога улитки двумя пальцами, указательным и мизинцем, — настолько же теперь, поспешно и охотно, ответил:

— Гадать? Ты хочешь гадать? — сказал я. — Но сколько тебе нужно заплатить за это?

В то время как цыгане-мужчины, сверкая чернейшими глазами, уселись вокруг стола в ожидании чая, к ним подошел буфетчик и старуха-цыганка.

— Заплатить, — сказала старуха, — заплатить, гражданин, можешь, сколько твое сердце захочет. Мало дашь — хорошо, много дашь — спасибо скажу!

— Что же, погадай, — сказал я, — впрочем, я вперед сам погадаю тебе. Иди сюда!

Я взял молодую цыганку за — о боги! — маленькую, но такую грязную руку, что с нее можно было снять копию, приложив к чистой бумаге, и потащил в свою конуру. Она шла охотно, смеясь и говоря что-то по-

цыгански старухе, видимо, чувствующей поживу. Войдя, они быстро огляделись, и я усадил их.

— Дай корочку хлеба, — тотчас заговорила моя смуглая пифия и, не дожидаясь ответа, ловко схватила кусок хлеба, оторвав тут же половину огурца; затем принялась есть с характерным и естественным бесстыдством дикой степной натуры. Она жевала, а старуха равномерно твердила:

— Положи на ручку, тебе счастье будет! — и, вытащив колоду черных от грязи карт, облизнула большой палец.

Буфетчик заглянул в дверь, но, увидев карты, махнул рукой и исчез.

— Цыганки! — сказал я. — Гадать вы будете после меня. Первый гадаю я.

Я взял руку молодой цыганки и стал притворно всматриваться в линии смуглой ладони.

— Вот что скажу тебе: ты увидела меня, но не знаешь, что тебе придется сделать в самое ближайшее время.

— Ну, скажи, будешь цыган! — захохотала она.

Я продолжал:

— Ты скажешь мне... — и тихо прибавил, — как найти человека, которого зовут Бам-Гран.

Я не ожидал, что это имя подействует с такой силой. Вдруг изменились лица цыганок. Старуха, сдернув платок, накрыла ли-

цо, по которому судорогой рванулся страх, и, согнувшись, хотела, казалось, провалиться сквозь землю. Молодая цыганка сильно выдернула из моей руки свою и приложила ее к щеке, смотря прямо и дико. Лицо ее побелело. Она вскрикнула, вскочив, оттолкнула стул, затем, быстро шепнув старухе, поспешно увела ее, оглядываясь, как будто я мог погнаться. Видя, что я улыбаюсь, она опомнилась и, уже на пороге, кивнув мне, тяжело и порывисто дыша, сказала изменившимся голосом:

— Молчи! Все скажу, ожидай здесь; тебя не знаем, толковать будем!

Не знаю, струсил ли я, когда таким внезапным и резким образом подтвердилась сила странного имени, но мысли мои "заколонуло", как будто в ночи над ухом, чутким к молчанию, прозвучала труба. Нервно пожимаясь, выпил я еще чашку специи, основательно закусив мясом, но рассеянно, не чувствуя голода сквозь туман чувств, кипящих беззвучно. Тревожась от неизвестности, я повернул голову к перегородке, слушая загадочный тембр цыганского разговора. Они совещались долго, споря, иногда крича или понижая голос до едва слышного шепота. Это продолжалось немалое время, и я успел несколько поостыть, как вошли трое, обе цыганки и старик-цыган, кинувший мне еще через порог двусмысленный, резкий взгляд.

Уже никто не садился. Говорили все стоя, с волнением, вогнавшим их в пот; его капли блестели на лбу старика и висках цыганок и, вздохнув, вытерли они его концом бахромчатого платка. Лишь старик, не обращая на них внимания, рассматривал меня в упор, молча, словно хотел изучить сразу, наспех, что скажет мое лицо.

— Зачем такое слово имеешь? — произнес он. — Что знаешь? Расскажи, брат, не бойся, свои люди. Расскажешь, мы сами скажем; не расскажешь, верить не можем!

Допуская, что это входит почему-либо в план обращения со мной, я, как мог толково и просто, рассказал об истории с испанским профессором, упустив многое, но назвав место и перечислив аксессуары. При каждом странном упоминании цыгане взглядывали друг на друга, говоря несколько слов и кивая, причем, увлекшись, на меня тогда не обращали внимания, но, кончив говорить между собой, все разом вцепились в мое лицо тревожными взглядами.

— Все верно говоришь, — сказала мне старуха, — истинную правду сказал. Слушай меня, что я тебе говорю. Мы, цыгане, его знаем, только идти не можем. Сам ступай, а как — скоро скажу. По картам тебе будет и что надо делать, — увидишь. Говорить по-русски плохо умею; не все сказать можно; дочка моя тебе объяснять будет!

Она вытасила карты и, потасовав их, пристально заглянула мне в глаза; затем положила четыре ряда карт, один на другой, снова смешала и дала мне снять левой рукой. После этого вытасила она семь карт, расположив их неправильно, и повела пальцем, толкая по-цыгански молодой женщине.

Та, кашлянув, с чрезвычайно серьезным лицом нагнулась к столу, слушая, что твердит ей старуха.

— Вот, — сказала она, подняв палец и, видимо, затрудняясь в выборе выражений, — одно место, где был сегодня, туда снова иди, оттуда к нему пойдешь. Какое место, не знаю, только там твое сердце тронуту. Сердце разгорелось твое, — повторила она, — что там увидел, тебе знать. Деньги обещал, снова прийти хотел. Как придешь, один будь, никого не пускай. Верно говорю? Сам знаешь, что верно. Теперь думай, что от меня слышал, чего видел.

Естественно, я мог только признать в этих указаниях Брока с его картиной солнечной комнаты и, соглашаясь, кивнул.

— Это правда, — сказал я, — сегодня случилось то, что ты рассказываешь. Теперь говори дальше.

— Туда придешь... — она выслушала старуху и стала размышлять, вытерев нос рукой. — Не просто можно прийти. Кого увидишь, ни с кем не говори, пока дело сделаешь. Что

увидишь, ничего не пугайся, что услышишь, молчи, будто и нет тебя. Войдешь, — огонь потуши, и какое тебе средство дадим, разверни и в сторону положи, а двери запри, чтобы никто не вошел. Что сделается, что будет, сам поймешь и дорогу найдешь. Теперь денег дай, на карты положи, дай бедной цыганке, не жалея, брат, тебе счастье будет.

Старуха тоже начала попрошайничать.

— Сколько же тебе дать? — сказал я, не от колебания, а чтобы испытать эту силу привычки, не изменяющую им ни в каких случаях.

— Мало дашь — хорошо, много дашь — спасибо скажу! — повторили цыганки с напряжением и настойчивостью.

Запустив руку в карман, я взял в горсть восемь или десять пиастров, сколько захватил сразу.

— Ну, держи, — сказал я красавице.

Взглянув подобострастно и жадно, схватила она монеты. Одна упала, и ее проворно поймал старик; старуха рванулась с места, суя мне согбенную горсть.

— Положи, положи на ручку, не жалея бедной цыганке! — завопила она, пересыпая русские слова восклицаниями на цыганском языке. Все трое дрожали, то рассматривая монеты, то снова протягивая ко мне руки.

— Больше не дам, — сказал я, однако прибавил к даянию своему еще пять штук. — За молчите или я скажу Бам-Грану!

Казалось, это слово имеет универсальное действие. Азарт смолк; лишь старуха вздохнула тяжело, как будто у нее умер ребенок. Поспешно спрятав монеты в тайниках своих шалей, молодая цыганка протянула старику руку ладонью вверх, чего-то требуя. Он начал спорить, но старуха прикрикнула, и, медленно расстегнув жилет, старик вытащил небольшой острый конус из белого металла, по которому, когда он блеснул при свете, мелькнула внутренняя зеленая черта. Тотчас цыган завернул конус в синий платок и подал мне.

— Не раскрывай на воздухе, — сказал цыган, — раскрой, как придешь, положи на стол, будешь уходить, снова заверни, а с собой не бери. Все равно у меня будет, место себе найдет. Ну, будь здоров, брат, чего не так сказали, — не сердись.

Он отступил к двери, делая цыганкам знак выйти.

— Скажи мне еще, кто такой Бам-Гран? — спросил я, но он только махнул рукой.

— У него спроси, — сказала старуха, — больше мы ничего не скажем.

Цыгане вышли, говоря друг с другом тихо, взволнованно и опасливо. Их поразила я. Я видел, что их изумление огромно,



ошеломленность и поспешность угодить смешаны со страхом, что в их жизни произошло событие. Я сам волновался так сильно, что спирт не действовал. Я вышел и столкнулся с буфетчиком, который неоднократно заглядывал уже в дверь, однако не мешал нам, и я был ему за это крайне признателен. Цыганки обыкновенно уводят выгодного клиента за дверь или в другой укромный уголок, где заставляют его смотреть в воду, а также повторять какое-нибудь нехитрое заклинание, поэтому буфетчик мог думать, что, отложив рисование, поддастся я соблазну узнать будущее.

— Убежали, фараоново племя! — сказал он, смотря на меня с мрачным интересом. — Чай им подали, они не стали пить, погорланили и ушли. Испугались они вас или как?

Я поддержал эту догадку, сообщив, что цыгане очень суеверны и их трудно уговорить позволить нарисовать себя незнакомому человеку. На том мы расстались, и я вышел на улицу, выдвинутую из тьмы строем теней. Луны не было видно, но светлый туман одевал небо, сообщая перспективе сонную белизну, переходящую в мрак.

Я отошел подальше, остановился и вытащил из внутреннего кармана пальто синий платок. В нем прощупывался конус. Я должен был узнать, почему цыгане запрещают обнажать эту вещь прежде, чем приду на ме-

сто, то есть к Броку, так как указание не подавалось никакому другому толкованию. Говоря "должен", я подразумеваю долю скептицизма, которая еще осталась во мне вопреки странностям этого дня. К тому же разительная неожиданность, являющаяся, опрокинув сомнение, всегда слаще голой уверенности. Это я знал твердо. Но я не знал, что произойдет, иначе потерпел бы еще не один час.

Остановясь на углу, я развернул платок, и увидел, что сверкание зеленой черты в конусе имеет странную форму приближающегося издалека света — точно так, как если бы конус был отверстием, в которое я наблюдаю приближение фонаря. Черта скрывалась, оставляя светлое пятно, или выступала на самой поверхности, разгораясь так ярко, что я видел собственные пальцы, как при свете зеленого угля. Конус был довольно тяжел, высотой дюйма четыре и с основанием в разрез яблока, совершенно гладкий и правильный. Его цвет старого серебра с оливковой тенью был замечателен тем, что при усилии зеленоватого света казался темно-лиловым.

Увлеченный и очарованный, я смотрел на конус, замечая, что вокруг зеленоватого сияния образуется смутный рисунок, движение частей и теней, подобных черному бу-мажному пеплу, колеблемому в печи при

свете углей. Внутри конуса наметилась глубина, мрак, в котором отчетливо двигался ручной фонарь с зеленым огнем. Казалось, он выходит из третьего измерения, приближаясь к поверхности. Его движения были прихотливы и магнетичны; он как бы разыскивал скрытый выход, светя сам себе вверху и внизу. Наконец фонарь стал решительно увеличиваться, устремясь вперед, и, как это бывает на кинематографическом экране, его контур, выросши, пропал за пределами конуса; резко, прямо мне в глаза сверкнул дивный зеленый луч. Фонарь исчез. Весь конус озарился сильнейшим блеском, и не прошло секунды, как ужасное, зеленое зарево, хлынув из моих пальцев, разлилось над крышами города, превратив ночь в ослепительный блеск стен, снега и воздуха — возник зеленоватый день, в свете которого не было ни одной тени.

Этот безмолвный удар длился одно мгновение, равное судорожному сжатию пальцев, которыми я скрыл поверхность изумительного предмета. И, однако, это мгновение было чревато событиями.

Еще дрожал в моих пораженных глазах всеразрывающий блеск, полный слепых пятен, но, как гигантская стена, рухнул наконец мрак, такой мрак, благодаря мгновенному переходу от пределов сияния к густой тьме, что я, потеряв равновесие, едва не упал.

Я шатался, но устоял. Весь трясясь, я завернул конус в платок с чувством человека, только что швырнувшего бомбу и успевшего повернуть за угол. Едва я совершил это немеющими руками, как в разных местах города поднялся шум тревоги. Надо думать, что все, кто был в этот час на улицах, вскрикнули, так как со всех сторон донеслось далекое "а-а-а", затем послышался отскакивающий звук выстрелов. Лай собак, ранее редкий, возвысился до остервенения, как будто все собаки, соединясь, гнали одинокого и редкого зверя, соскучившегося в тесных трущобах. Мимо меня пробежали испуганные прохожие, оглашая улицу неистовыми и жалкими воплями. Нервно вспотев, я кое-как шел вперед. Во тьме сверкнул красный огонь; грохот и звон выскочили из-за угла, и дорогу пересек пожарный обоз, мчась, видимо, наудачу, куда придется. От факелов летел с дымом и искрами волнующий блеск пожара, отражаясь в блестящих касках адским трепетом. Колокольцы дуг били резкий набат, повозки гремели, лошади мчались, и все проскакало, исчезнув, как стремительная атака.

Что произошло еще в этот вечер с перепуганным населением, — я не узнал, так как подходил к дому, где жил Брок. Я поднялся по лестнице с тяжким сердцебиением, лишь крайним напряжением воли заставляя слушаться ноги. Наконец я достиг площадки

и отдышался. В полной темноте я нащупал дверь, постучал и вошел, но ничего не сказал открывшему. Это был один из жильцов, знавший меня ранее, когда я жил в этой квартире.

— Вам Брока? — сказал он. — Его, кажется, нет. Он был недавно и ждал вас.

Я молчал, боясь произнести хотя одно слово, так как уже не знал, что за этим последует. Разумная мысль пришла мне: приложив руку к щеке, я стал ворочать языком и мычать.

— Ах, эта зубная боль! — сказал жилец. — Я сам хожу с дурной пломбой и часто лезу на стенку. Может быть, вы будете его ждать?

Я кивнул, разрешив, таким образом, затруднение, которое, хотя было пустячным, могло пресечь все мои дальнейшие действия. Брок никогда не запирает комнату, потому что при множестве коммерческих дел интересовался оставляемыми на столе записками. Таким образом, ничто не мешало мне, но если бы я застал Брока дома, на этот случай был мной уже придуман хороший выход: дать ему, ни слова не говоря, золотую монету и показать знаками, что хорошо бы достать вина.

Схватясь за щеку, я вошел в комнату, благодаря впустившего меня кивком и кислой улыбкой, как надлежит человеку, помраченному болью, и тщательно прикрыл дверь.

Когда в коридоре затихли шаги, я повернул ключ, чтобы мне никто не мешал. Осветив жилье Брока, я убедился, что картина солнечной комнаты стоит на полу, между двумя стульями, у простенка, за которым лежала ночная улица. Эта подробность имеет безусловное значение.

Подступив к картине, я всмотрелся в нее, стараясь понять связь этого предмета с посещением мною Бам-Грана. Как ни был силен толчок мыслям, произведенный ужасным опытом на улице, даже втрое более раскаленный мозг не привел бы сколько-нибудь сносной догадки. Еще раз подивился я великой и легкой живости прекрасной картины. Она была полна летним воздухом, распространяющим изящную полуденную дремоту вещей, ее мелочи, недопустимые строгим мастерством, особенно бросались теперь в глаза. Так, на одном из подоконников лежала снятая женская перчатка, — не на виду, как поместил бы такую вещь искатель легких эффектов, но за деревом открытой оконной рамы; сквозь стекло я видел ее, снятую, маленькую, существующую особо, как существовал особо каждый предмет на этом диковинном полотне. Более того, следя взглядом возле окна с перчаткой, я заметил медный шарнир, каким укрепляются рамы на своем месте, и шляпки винтов шарнира, причем было

заметно, что поперечное углубление шляпок замазано высохшей белой краской. Отчетливость всего изображения была не меньше, чем те цветные отражения зеркальных шаров, какие ставят в садах. Уже начал я размышлять об этой отчетливости и подозревать, не расстроено ли собственное мое зрение, но, спохватясь, извлек из платка конус и стал, оцепенев, всматриваться в его поверхность.

Зеленая черта едва блистала теперь, как бы подстерегая момент снова ослепить меня изумрудным блеском, с силой и красотой которого я не сравню даже молнию. Черта разгорелась, и из тьмы конуса выбежал зеленый фонарь. Тогда, положась на судьбу, я утвердил конус посередине стола и сел в ожидании.

Прошло немного времени, как от конуса начал исходить свет, возрастая с силой и быстротой направляемого в лицо рефлектора. Я находился как бы внутри зеленого фонаря. Все, за исключением электрической лампы, казалось зеленым. В окнах до отдаленнейших крыш протянулись яркие зеленые коридоры. Это было озарением такой силы, что, казалось, развалится и сгорит дом. Странное дело! Вокруг электрической лампы начала сгущаться желтая масса, дымящая золотым паром; она, казалось, проникает в стекло, крутясь там, как кипящее масло. Уже

не было видно проволочной раскаленной петли, вся лампочка была подобна пылающей золотой груше. Вдруг она треснула звуком выстрела; осколки стекла разлетелись вокруг, причем один из них попал в мои волосы, и на пол пролились пламенные желтые сгустки, как будто сбросили со сковороды кипящие яичные желтки. Они мгновенно потухли, и один зеленый свет, едва дрогнув при этом, стал теперь вокруг меня как потоп.

Излишне говорить, что мои мысли и чувства лишь отдаленно напоминали обычное человеческое сознание. Любое, самое причудливое сравнение даст понятие лишь об усилиях моих сравнить, но ничего — по существу. Надо пережить самому такие минуты, чтобы иметь право говорить о никогда не испытанном. Но, может быть, вы оцените мое напряженное, все отмечающее смятение, если я сообщу, что, задев случайно рукой о стул, я не почувствовал прикосновения так, как если бы был бестелесен. Следовательно, нервная система моя была поражена до физического бесчувствия. Поэтому здесь предел памяти о том, что было испытано мной душевно, с чем согласится всякий, участвовавший хотя бы в штыковом бою: о себе не помнят, действуя тем не менее точно так, как следует действовать в опасной борьбе.



То, что произошло затем, я приведу в моей последовательности, не ручаясь за достоверность.

— Откройте! — кричал голос из непонятного мира и как бы по телефону, издалека.

Но это ломались в дверь. Я узнал голос Брока. Последовал стук кулаком. Я не двигался. Рассмотрев дверь, я не узнал этой части стены. Она поднялась выше, имея вид арки с запертыми железными воротами, сквозь верхний ажур которых я видел глубокий свод. Больше я не слышал ни стука, ни голоса. Теперь, куда я ни оглядывался, везде наметились разительные перемены. С потолка спускалась бронзовая массивная люстра. Часть стены, выходящей на улицу, была как бы уничтожена светом, и я видел в открывшемся пространстве перспективу высоких деревьев, за которыми сиял морской залив. Направо от меня возник мраморный балкон с цветами вокруг решетки; из-под него вышел матадор с обнаженной шпагой и бросился сквозь пол, вниз, за убегающим быком. Вокруг люстры сверкала живопись. Это смешение несоединимых явлений образовало подобие набросков, оставляемых ленью или задумчивостью на бумаге, где профили, пейзажи и арабески смешаны в условном порядке минутного настроения. То, что оставалось от комнаты, было едва видимо и с изменившимся существом. Так, например,

часть картин, висевших на правой от входа стене, осыпалась изображениями фигур; из рам вывалились подобия кукол, предметов, образовав глубокую пустоту. Я запустил руку в картину Горшкова, имевшую внутри форму чайного цыбика, и убедился, что ели картины вставлены в деревянную основу с помощью столярного клея. Я без труда отломил их, разрушив по пути избу с огоньком в окне, оказавшимся просто красной бумагой. Снег был обыкновенной ватой, посыпанной нафталином, и на ней торчали две засохшие мухи, которых раньше я принимал за классическую "пару ворон". В самой глубине ящика валялась жестянка из-под ваксы и горсть ореховой скорлупы.

Я повернулся, не зная, что предстоит сделать, так как, согласно указаниям, мое положение было лишь выжидательным.

Вокруг сверкал движущийся световой хаос. Под роялем стояли дикий камень и лесной пень, обросший травой. Все колебалось, являлось, меняло форму. По каменной тропе мимо меня пробежал осел, нагруженный мехами с вином; его погонщик бежал сзади, загорелый босой детина с повязкой на голове из красной бумажной материи. Против меня открылось внутрь комнаты окно с железной решеткой, и женская рука выплеснула с тарелки помои. В воздухе, под углом, горизонтально, вертикально, про-

тив меня из-за моих плеч проходили, исчезая в пропастях зеленого блеска, неизвестные люди южного типа; все это было отчетливо, но прозрачно, как окрашенное стекло. Ни звука: движение и молчание. Среди этого зрелища едва заметной чертой лежал угол стола с блистающим конусом. Находя, что потрудились довольно, и опасаясь также за целостность рассудка, я бросил на конус свой карманный платок. Но не наступил мрак, как я ожидал, лишь пропал разом зеленый блеск и окружающее восстало вновь в прежнем виде. Картина солнечной комнаты, приняв несравненно большие размеры, напоминала теперь открытую дверь. Из нее шел ясный дневной свет, в то время как окна брокковского жилища были по-ночному черны.

Я говорю: "Свет шел из нее", потому что он, действительно, шел с этой стороны, от открытых внутри картины высоких окон. Там был день, и этот день сообщал свое ясное озарение моей территории. Казалось, это и есть путь. Я взял монету и бросил ее в задний план того, что продолжал называть картиной; и я видел, как монета покатилась через весь пол к полуоткрытой в конце помещения стеклянной двери. Мне оставалось только поднять ее. Я перешагнул раму с чувством сопротивления встречных вихрей, бесшумно ошеломивших меня, когда я находился в плоскостях рамы; затем все стало, как

по ту сторону дня. Я стоял на твердом полу и машинально взял с круглого лакированного стола несколько лепестков, ощутив их шелковистую влажность. Здесь мной овладело изнеможение. Я сел на плюшевый стул, смотря в ту сторону, откуда пришел. Там была обыкновенная глухая стена, обтянутая обоями с лиловой полоской, и на ней, в черной узкой раме, висела небольшая картина, имевшая, бессознательно для меня, отношение к моим чувствам, так как, совладав с слабостью, естественной для всякого в моем положении, я поспешно встал и рассмотрел, что было изображено на картине. Я увидел изображение, сделанное превосходно: вид плохой, плохо обставленной комнаты, погруженной в едва прорезанные лучом топящейся печи сумерки; и это была железная печь в той комнате, из которой я перешел сюда.

Я принадлежу к числу людей, которых загадочное не поражает, не вызывает дикого оживления и расстроенных жестов, перемешанных с криками. Уже было довольно загадочного в этот зимний день с воткнутым в самое его горло льдистым ножом мороза, но ничто не было так красноречиво загадочно, как это явление скрытой без следа комнаты, отраженной изображением. Я кончил тем, что завязал в памяти узелок: спокойно я подошел к окну и твердой рукой отвел раму, чтобы разглядеть город. Каково было

мое спокойствие, если теперь, только вспоминая о нем, я волнуюсь неизменно, нетрудно представить. Но тогда это было спокойствие — состояние, в котором я мог двигаться и смотреть.

Как можно понять уже из прежних описаний моих, помещение, залитое резким золотым светом, было широкой галереей с большими окнами по одной стороне, обращенной к постройкам. Я дышал веселым воздухом юга. Было тепло, как в полдень в июне. Молчание прекратилось. Я слышал звуки, городской шум. За уступами крыш, разбросанных ниже этого дома, до судовых мачт и моря, блестящего чеканной синевой волн, стучали колеса, пели петухи, нестройно голосили прохожие.

Ниже галереи, выступая из-под нее, лежала терраса, окруженная садом, вершины которого зеленели наравне с окнами. Я был в подлинно живом, но неизвестном месте и в такое время года или под такой широтой, где в январе палит зной.

Стая голубей перелетела с крыши на крышу. Пальнула пушка, и медленный удар колокола возвестил двенадцать часов.

Тогда я все понял. Мое понимание не было ни расчетом, ни доказательством, и мозг в нем не участвовал. Оно явилось подобно горячему рукопожатию и потрясло меня не меньше, чем прежнее изумление. Это понима-

ние охватывало такую сложную сущность, что могло быть ясным только одно мгновение, как чувство гармонии, предшествующее эпилептическому припадку. В то время я мог бы рассказать о своем состоянии лишь сбитые и косноязычные вещи. Но само по себе, внутри, понимание возникло без недочетов, в резких и ярких линиях, характером невиданного узора.

Затем оно стало уходить вниз, кивая и улыбаясь, как женщина, посылающая со скрывающих ее ступеней лестницы прощальный привет.

Я был снова в границе обычных чувств. Они вернулись из огненной сферы опаленные, но собранные твердо и точно. Мое состояние мало отличалось теперь от обычного состояния сдержанности при любом разительном эпизоде.

Я прошел в дверь и пересек сумерки помещения, которое не успел рассмотреть. Ступени, покрытые ковром, вели вниз. Я спустился в большую комнату с низким потолком, очень светлую, заставленную красивой мебелью, с диванами и цветами. Ее стены были обиты пестрым шелком. На полпути я был остановлен взглядом Бам-Грана, сидевшего на диване с тростью и шляпой в руке; он дразнил куском печенья фокстерьера, скакавшего с забавным лаем, в восторге и от неудач и от ожидания.

Бам-Гран был в костюме цвета морской воды. Его взгляд напоминал конец бича, мелькающий в воздухе.

— Я знал, что увижу вас, — сказал он, — и, хотя собрался гулять, предоставляю себя в ваше полное распоряжение. Если хотите, я назову город. Это — Зурбаган, Зурбаган в мае, в цвету апельсиновых деревьев, хороший Зурбаган шутников, подобных мне!

Говоря так, он расстался с печеньем и, встав, пожал мою руку.

— Вы смелы, дон Каур, — воскликнул он, — и это мне нравится, как все значительное. Что чувствуете вы, одолев тысячи миль?

— Жажду, — сказал я. — Воздушное давление изменилось, а волнение было велико!

— Я понимаю.

Он сжал мордочку фокса своими тонкими пальцами и, заглядывая с улыбкой в его восторженные глаза, приказал:

— Ступай, скажи Ремму, что у нас гость. Пусть даст вина и льду.

Собака, твякнув, унеслась прочь.

— Нет, нет, — сказал Бам-Гран, заметив мое невольное движение, — это лишь отличная дрессировка. Слово "Ремм" значит — бежать к Ремму, а Ремм знает сам, что сделать, завидев Пли-Пли. Между тем дорожите временем, сеньор Каур, — вы можете пробыть здесь только тридцать минут. Я не хотел бы, чтобы вы жалели об этом. Во вся-

ком случае, мы успеем выпить по стакану вина. Ремм, как умилительна твоя быстрота!

Вошел слуга. Он был в белой пижаме, с бритой головой. Поставив на стол поднос с кувшином из цветного стекла, в котором было вино, графин с гранатовым соком и лед в серебряной вазе, обложенный соломинками, он отступил и посмотрел на Бам-Грана взглядом обожания.

— Лед весь вышел, сеньор!

— Возьми в Норвежском фиорде или у Сибирской реки!

— Я взял Ремма с Тристан д'Акунья, — сказал Бам-Гран, когда тот ушел, — я взял его из страшной тайны зеркального стекла, куда он засмотрелся в о с о б у ю для себя минуту. Выпьем!

Он погрузил соломинку в смесь льда с вином и задумчиво пососал ее, но я, измученный жаждой, просто опрокинул бокал в рот.

— Итак, — сказал он, — "Фанданго"! Это прекрасная музыка, и мы сейчас услышим ее в исполнении барселонского оркестра Ван-Герда.

Я взглянул с изумлением, так как действительно думал в этот момент о гитарах, грянувших замечательный танец, когда скрылся Бам-Гран. И я мысленно напевал его.

— Барселона не Зурбаган, — сказал я, — а потому не знаю, каким р а д и о вы дадите этот оркестр!



— О простота! — заметил Бам-Гран, вставая с несколько заносчивым видом. — Ван-Герд, сыграйте нам "Фанданго" в переложении Вальтера.

Густой бас вежливо и коротко ответил из пустоты:

— Очень хорошо! Сейчас.

Я услышал кашель, шум, шорох нот, стук инструментов. Бам-Гран, закусив губу, прислушивался. Писк скрипичной струны оборвался при сухом стуке дирижерского жезла, и я посмотрел кругом, стараясь угадать шутку, но, вспомнив все, откинулся и стал ждать.

Тогда, как если бы оркестр был действительно здесь, хлынуло наконец полной мерой единственное "Фанданго", о котором я мог сказать, что слышал его при необычайном возбуждении чувств, и тем не менее оно еще подняло их до высоты, с которой едва заметна земля. Чрезвычайная чистота и пластичность этой музыки в соединении с воскрешенной оркестровкой заставила онеметь ноги. Я сам звучал, как зазвеневшее от грома стекло. С трудом понимал я, что говорит рядом Бам-Гран, и бессмысленно посмотрел на него, кружась в стремительных кругообразных наплывах блестящего ритма. "Все уносит, — сказал тот, кто вел меня в этот час, подобно твердой руке, врезающей алмазом в стекло прихотливую и чудесную линию, — уносит,

разбрасывает и разрывает, — говорил он, — гонит ветер и внушает любовь. Бьет по крепчайшим скрепам. Держит на горячей руке сердце и целует его. Не зовет, но сзывает вокруг тебя вихри золотых дисков, вращая их среди безумных цветов. Да здравствует ослепительное "Фанданго"!

Оркестр замедлил и отпустил глухую паузу последнего перехода. Она перевернулась в сотрясающем нервы взрыве последнего ликования. Музыка взяла обаятельный верх, перенеслась там из вышины в вышину и трогательно, гордо сошла вниз, сдерживая экспрессию. Наступила тишина поезда, остановившегося у станции; тишина, резко обрывающая мелодию, напеваемую под стук бегущих колес.

Я очнулся, как приведенный в негодность часовой механизм, если ему качнуть маятник.

— Вы видите, — сказал Бам-Гран, — что у Ван-Герда действительно лучший оркестр в мире, и он для нас постарался. Теперь выйдем, так как время уходит, и если вы пробудете здесь еще десять минут, то, может быть, пожалеете о гостеприимстве Бам-Грана!

Он встал, я тоже поднялся с дымом в голове, все еще полный быстрым, как полет, ритмом фантастического оркестра. Мы прошли в дверь с синим стеклом и очутились на площадке каменной лестницы довольно грязного вида.

— Теперь мне не следует оставаться здесь, — сказал Бам-Гран, отходя в тень, где стал рисунком обвалившейся на стене известки, рисунком, имеющим, правда, отдаленное сходство с его острой фигурой. — Прощайте!

Голос прозвучал не то со двора, не то из хлопнувшей внизу двери, и я был снова один...

Лестница шла вниз узким семиэтажным пролетом.

В открытое окно площадки сиял летний голубой воздух. Внизу лежал знакомый двор — двор дома, в котором я жил.

Я осмотрел три двери, выходящие на площадку. На одной из них, под № 7, была медная доска с фамилией моей квартирной хозяйки: "Марья Степановна Кузнецова".

Под этой доской висела моя визитная карточка, которую я прикрепил кнопками. Карточка была на своем месте, но сама она изменилась.

Я прочел: "Александр Каур" и "и", выведенное чернилами "и". Оно было между верхней и нижней строкой. Нижняя строка, соединенная в смысле своем с верхней строкой этим с о ю з о м, была тоже прописана чернилами. Она гласила: "и Елизавета Антоновна Каур". Так! Я был у двери, за которой в отдаленной небольшой комнате меня ждала жена Лиза. Я вспомнил это, полу-

чив как бы сильный удар в лоб. Но я не очнулся, ибо последовательность только что окончивших владеть мною событий ярко текла назад. Я упал в этот момент, как спрыгнул бы в темноте на живое, закричавшее существо. Я ожил исчезнувшей без следа жизнью, с ужасом изнемогающего рассудка. Силы оставили меня; между тем два вышедших из пустоты года рванулись в сознание, как вода в лопнувшую плотину. Я грянул по двери кулаками и продолжал стучать, пока быстрые шаги Лизы и звук ключа не подтвердили законность неистовства моего перед лицом собственной жизни.

Я вскочил внутрь и обнял жену.

— Это ты? — сказал я. — Это ты, это ты?

Я сжимал ее, повторяя:

— Ты, ты, ты?..

— Что с тобой? — сказала она, освобождаясь, с пораженным, бледным лицом. — Ты не в себе? Почему так скоро вернулся?

— Скоро?!

— Пойдем. — Она сказала это с решительностью внезапного и крайнего возбуждения, вызванного испугом.

В дверях показались лица любопытных жильцов. Обычное возвращало утраченную власть; я прошел в комнату и сел на кровать.

Я сидел, не двигаясь. Лиза взяла с моей головы фуражку и повертела ее в руках.

— Слушай, что произошло? — сказала она глухо, в разрастающемся испуге. — На голове присохли волосы. Тебе больно? Обо что ты ударился?

— Лиза, скажи мне, — заговорил я, взяв ее за руку, — и не пугайся вопросов: когда я вышел из дома?

Она побледнела, но тотчас подчинилась таинственной внутренней передаче моего состояния. Ее голос был неестественно звонок; не отрываясь, она смотрела в мои глаза. Слова были покорны и быстры.

— Ты вышел в почтовое отделение минут двадцать назад, может быть, полчаса.

— Я сказал что-нибудь, уходя?

— Я не помню. Ты слегка хлопнул дверью, и я слышала, как ты, уходя, насвистываешь "Фанданго".

Память сделала поворот, и я вспомнил, что пошел сдать заказное письмо.

— Какой теперь год?

— Двадцать третий год, — сказала она, заплакав, но не утирая слез и, вероятно, не замечая, что плачет.

Необычным было напряжение ее взгляда.

— Месяц?

— Май.

— Число?

— 23-е мая 1923 года. Я схожу в аптеку.

Она встала и быстро надела шляпу. Затем взяла со стола мелкие деньги. Я не мешал.

Особенно взглянув на меня, жена вышла, и я услышал ее быстрые шаги к выходной двери.

Пока ее не было, я восстановил прошлое, не удивляясь ему, так как это было мое прошлое, и я отлично видел все его мельчайшие части, составившие эту минуту. Однако мне предстояла задача уложить в прошлое некую параллель. Физическое существо параллели выражалось желтым кожаным мешочком, который весил на моей руке те же два фунта, как и какое-то время тому назад. Затем я осмотрел комнату с полной связью между отдельными моментами мелькнувших двух лет и историей каждого предмета, как она ввязывает свою петлю в кружево бытия. И я устал, потому что снова пережил прожитое, как бы небывшее.

— Саша! — Лиза стояла передо мной, протягивая пузырек. — Это капли, прими двадцать пять капель. Прими...

Но следовало, наконец, дать движение и выход всему. Я посадил ее рядом с собой, сказав:

— Слушай и думай. Я вышел сегодня утром не из этой комнаты. Я вышел из той комнаты, в которой жил до встречи с тобой в январе 1921 года.

Сказав так, я взял желтый мешочек и высыпал на колени жены сверкающие пиастры.

Изобразить наш разговор и наше волнение после такого доказательства истины мо-

жет только повторение этого разговора при тех же условиях. Мы садились, вставали, садились опять и перебивали друг друга, пока я не рассказал случившегося со мной с начала до конца. Жена несколько раз вскрикивала:

— Ты бредишь! Ты пугаешь меня! И ты хочешь, чтобы я поверила?

Тогда я указывал ей на золотые монеты.

— Да, правда, — говорила она, закруженная безвыходным положением рассудка так, что могла только сказать: — Фу! Если я ничего не пойму, я умру!

Наконец она стала спрашивать и переспрашивать в глубоком утомлении, почти механически, то смеясь, то падая головой на руки и обливаясь слезами. Я был спокойнее. Мое спокойствие постепенно передалось ей. Уже стало темнеть, когда она подняла голову с расстроенным и значительным видом, озаренным улыбкой.

— Ну, я просто дура! — сказала она, прерывисто вздыхая и начиная поправлять волосы, — признак конца душевной бури. — Очень понятно! Все перевернулось и в е р н у т и и оказалось на своем месте!

Я подивился женской способности определять положение двумя словами и должен был согласиться, что точность ее определения не оставляет желать ничего лучшего.

После этого она снова заплакала, и я спросил — почему?

— Но ведь тебя не было два года! — проговорила она с ужасом, сердито вертя пуговицу моего жилета.

— Ты сама знаешь, что я не был дома тридцать минут.

— А все-таки...

С этим я согласился, и, еще немного поговорив, Лиза, как сраженная, уснула крепчайшим сном. Я вышел быстро и тихо, — стремясь по следам жизни или видения? На это, ощупывая в жилетном кармане золотые кружки, я не мог и не могу дать положительного ответа.

Я достиг "Мадрида" почти бегом. В полупустом зале расхаживал Терпугов; увидев меня, он бросился ко мне, трясая мою руку с живостью хозяйственной и сердечной встречи.

— Вот и вы, — сказал он. — Присядьте, сейчас подадут. Ваня! Ихнего леща! Поди, спроси у Нефедина, готов ли?

Мы сели, стали говорить о разных вещах, и я сделал вид, что объяснять нечего. Все было просто, как в обыкновенный день. Официант принес кушанье, открыл бутылку мадеры. На тарелке шипел поджаренный лещ, и я убедился, что это та самая рыба, которую я дал Терпугову, так как запомнил сломанную поперек жабру.

— Итак, — сказал я, не утерпев, — вы сдержали, Терпугов, свое слово, которое дали мне два года назад!



Он хитро посмотрел на меня.

— Хе-хе! — сказал бывший повар. — О чем вспомнили! Мы с вами вчера встретились, и леща вы несли с рынка, а я был выпивши и пристал к вам, ну, скажу прямо, чтобы вас затащить!

Он был прав. Я вспомнил это теперь с досадной неуязвимостью факта. Но я был тоже прав, и о правоте своей, склоняясь к уху Терпугова, шепнул:

”В равнине над морем зыбучим,  
Снегом и зноем полна,  
Во сне и в движенье текучем  
Склоняется пальма-сосна”.

— Хе-хе — сказал он, наливая в стакан мадеру, — шутить изволите!

Был вечер. Моросил дождь.

## СОДЕРЖАНИЕ

Состязание в Лиссе . . . . .	3
Рассказ Бирка . . . . .	16
Система мнемоники Атлея . . . . .	42
Лунный свет . . . . .	50
Редкий фотографический аппарат . . . . .	70
Загадка предвиденной смерти . . . . .	78
Происшествие в квартире г-жи Сериз . . . . .	89
Ночью и днем . . . . .	100
Таинственная пластинка . . . . .	119
Львиный удар . . . . .	127
Отравленный остров . . . . .	143
Ученик чародея . . . . .	168
Преступление Отпавшего Листа . . . . .	191
Гатт, Витт и Редотт . . . . .	200
Сила непостижимого . . . . .	217
Клубный арап . . . . .	228
Истребитель . . . . .	248
Волшебное безобразие . . . . .	260
Белый огонь . . . . .	267
Путь . . . . .	279
Крысолов . . . . .	289
Фанданго . . . . .	351

**Александр  
ГРИН**  
**НОЧЬЮ И ДНЕМ**  
*Рассказы и повести*

Художественный редактор *И. Е. Сайко*  
Технический редактор *З. А. Прусакова*  
Корректор *А. В. Пятковская*  
Оригинал-макет изготовлен ТОО «Галактика»  
Оператор набора *О. А. Шеховцова*

ЛР № 030129 от 02.10.91. Подписано в печать 16.10.93.

Формат 70×100<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Бумага офсетная.

Печать высокая. Усл. печ. л. 18,2.

Усл. кр.-отт. 18,52. Уч.-изд. л. 14,52.

Тираж 100 000 (1 — 50 000) экз. Заказ 685.

Издательский центр «ТЕРРА».  
109280, Москва, Автозаводская, 10, а/я 73.

Отпечатано с оригинал-макета  
в АООТ «Ярославский полиграфкомбинат».  
150049, Ярославль, ул. Свободы, 97.

Грин А. С.  
Г 82 Ночью и днем: Рассказы и повести / Ред.-  
сост. М. Латышев. Худ. В. Гусейнов. — М.:  
ТЕРРА, 1994. — 448 с. — (Серия «Четвертое  
измерение»).

ISBN 5-85255-347-6

Произведения разных лет составили книгу Александ-  
дра Грина. Большинство из них редко переиздаются, хотя  
мало в чем уступают знаменитым романам писателя —  
«Алые паруса», «Блистающий мир» и другим.

Г 4702010000-007 Без объявл.  
А30(03)-94

ББК 84 Р7

**В СЕРИИ "ЧЕТВЕРТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ"**

**ВЫШЛИ:**

**Александр Амфитеатров. ЖАР-ЦВЕТ.** *Фантастический роман в двух частях.*

**ХРАМ СНОВ.** *Русская фантастика 10–30 годов XX века.*

**Сигизмунд Кржижановский. БОКОВАЯ ВЕТКА.** *Рассказы и повести.*

**Александр Грин. НОЧЬЮ И ДНЕМ.** *Рассказы и повести разных лет.*

**В СЕРИИ "ЧЕТВЕРТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ"**

**НАХОДЯТСЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ:**

**Владимир Орлов. АЛЬТИСТ ДАНИЛОВ.** *Роман.*  
**Вадим Шефнер. ЛАЧУГА ДОЛЖНИКА.** *Роман.*  
**ТРАПЕЗА КНЯЗЯ.** *Фантастические повести и рассказы.*

**Алексей Скалдин. СТРАНСТВИЯ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ НИКОДИМА СТАРШЕГО.** *Роман.*

**Михаил Булгаков. МОСКВА, ДВАДЦАТЫЕ ГОДЫ.** *Две повести и пьеса.*

**Илья Эренбург. ТРЕСТ Д. Е.** *Роман.*

**ТИХИЙ АНГЕЛ ПРОЛЕТЕЛ.** *Три повести.*

**Бэла Жужунава. МАЛЕНЬКИЕ ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ.** *Рассказы и повести.*



## Александр ГРИН

Творчество Александра Грина любимо уже не одним поколением читателей. Однако для многих из них явится откровением встреча с фантастическими повестями и рассказами писателя, редко переиздававшимися в последние десятилетия.